

# Апрель

Андрей БИТОВ

Марина КУДИМОВА

Сергей ЕСИН

Борис СЛУЦКИЙ

Анатолий ПРИСТАВКИН

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ

Юлиу ЭДЛИС

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

Владимир ЛАКШИН

Андрей МАЛЬГИН

выпуск второй

1990

# Апрель

ВЫПУСК  
ВТОРОЙ

1990

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
АЛЬМАНАХ

Главный редактор  
**А. И. ПРИСТАВКИН**

Редколлегия:

**Ю. В. АНТРОПОВ,**

**В. И. ВИНОКУРОВ,**

**Г. В. ДРОБОТ**

(ответственный секретарь),

**И. И. ДУЭЛЬ**

(заместитель главного редактора),

**Л. А. ЖУХОВИЦКИЙ,**

**А. П. ЗЛОБИН**

(первый заместитель главного редактора),

**В. Н. КОРНИЛОВ,**

**А. В. МАЛЬГИН.**

**А. А. ЧЕРКИЗОВ**

Художник

**А. Ю. ЛИТВИНЕНКО**



МОСКВА 1990

ББК 84.3(2)7

А77

«Апрель» издается издательской группой «Движение "Писатели в поддержку перестройки"» («Апрель») совместно с советско-британским издательством «ИНТЕР — ВЕРСО».

Все произведения печатаются в авторской редакции. Редколлегия альманаха несет полную ответственность за содержание выпуска.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

**Апрель: Литературно-художественный и общественно-политический альманах. Выпуск второй.** — М.: «Интер — Версо», 1990. — 304 с.

Второй выпуск альманаха «Апрель» составлен из произведений писателей, входящих в «Движение "Писатели в поддержку перестройки"» («Апрель»). В первом разделе — проза и поэзия: повесть Андрея Битова, рассказы Георгия Балла, Фридриха Горенштейна, Юлиу Эддиса, глава из романа «Рязанка» Анатолия Приставкина, стихи Бориса Слуцкого, Марины Кудимовой. Во втором разделе: публицистика — статья Григория Померанца. Критический — третий раздел — представлен статьями Владимира Лакшина, Андрея Мальгина и Виктора Ерофеева. Завершает альманах, традиционно, «Молодой Апрель».

Для широкого круга читателей.

А 4702010201-003 Без объявл.  
Интер—Версо-90

ББК 84.3(2)7

ISBN 5-85217-003-8

© Движение «Писатели в поддержку перестройки» («Апрель»)

© Советско-британское издательство «ИНТЕР — ВЕРСО»

# Содержание

<b>Credo. Сергей Станкевич. Прости нас, Россия!</b>	<b>4</b>
---	----------

## 1.

<i>Андрей Битов. Вычитание зайца. Рассказ</i>	5
<i>Марина Кудимова. Смертью смерть не поправ. Стихи</i>	29
<i>Сергей Есин. Венок геодезисту. Повесть</i>	33
<i>Борис Слуцкий. Не так уж плохо. Стихи. Публикация Ю. Болдырева</i>	87
<i>Анатолий Приставкин. Смерть Сталина. Глава из романа «Рязанка»</i>	90
<i>Михаил Синельников. Музейные вещи. Стихи</i>	104
<i>Людмила Петрушевская. Новый Гулливер. Медя. Рассказы</i>	107
<i>Александр Юдахин. Почтамт-88. Стихи</i>	116
<i>Георгий Балл. Свадьба. Девятая пятница. На машине. Рассказы</i>	118
<i>Елена Крюкова. Из «Книги Любви». Стихи</i>	143
<i>Марк Кабаков. Салага. Рассказ</i>	149
<i>Рудольф Баринский. Император едет в Павловск. Стихи</i>	158
<i>Юлиу Эдлис. Маршальская звезда. Рассказ</i>	160
<i>Тамара Жирмунская. Мне не за что больше держаться. Стихи</i>	173
<i>Леонид Завальнюк. В этом яростном и раздерганном мире. Стихи</i>	175
<i>Фридрих Горенштейн. Шампанское с желчью. Рассказ</i>	178

## 2.

<i>Г. Померанц. Красная книга народов (Заметки 1987—1989 гг.)</i>	207
---	-----

## 3.

<i>Владимир Лакшин. «Один день...» и три года</i>	223
<i>Андрей Мальгин, Юрий Нехорошев. «Толпа сполна хотела расчитаться...»</i>	240
<i>Виктор Ерофеев. Поминки по советской литературе</i>	274

## Молодой «Апрель»

<i>Леонид Костюков. 19,89. Рассказ</i>	283
--	-----

---

# Credo

---

*Сергей СТАНКЕВИЧ*

## Прости нас, Россия!

Мне выпало выступать последним, и я хочу напомнить вам о том, о чем нам напомнили справедливо вчера, — о том, что сегодня — Прощенное воскресенье, время просить прощения.

Я хочу призвать вас сделать это. Пожалуйста, успокоимся, заглянем внутрь собственных душ и действительно попросим прощения.

За десятилетия тотального обмана и самообмана, за потоки пропагандистского словоблудия, затопившие тебя всю, от Востока до Запада, — прости нас, Россия. За кровавые безумства наших слабоумных вождей, за все их разорительные и аморальные авантюры, за миллионы лучших детей твоих, Россия, убитых физически или духовно, за жизни, невозвратимые жизни, растраченные впустую, втоптаные в грязь бессмысленных строек, запаханые в скудные борозды колхозных полей, — прости нас, Россия. За страх, за проклятый страх, мешавший нам сказать аппаратным банкротам, что они — банкроты, мешавший нам оградить нашу Родину от чиновничьей коррумпированной рати, — прости нас, Россия.

Мы стали другими. Смотри, как нас много. Мы пришли сказать тем, кто облечен властью, кто именем народа пытается в очередной раз лишить трудящихся права собственности на заводы, фабрики и землю, на плоды своего труда, мы пришли сказать им, что время бездумного послушания прошло, что власть догмы рухнула навсегда.

За то, что мы не смогли сделать этого раньше, — прости нас, Россия.

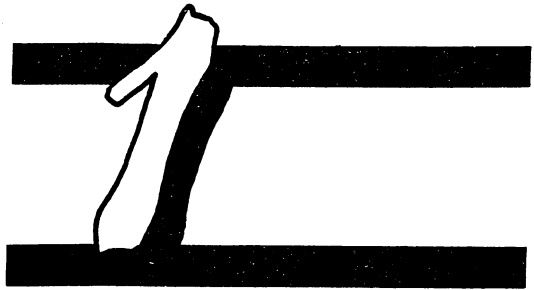
Мы ясно сознаем ту великую цель, которая ведет нас, — создать свободную, процветающую, демократическую Россию.

Мы идем с поднятой головой, и вслед нам с завистью, нежностью и надеждой смотрят миллионы наших братьев и сестер, которые сгнули в адском пламени классовой борьбы, так и не узнав сладкого вкуса свободы и справедливости. Они надеются на нас, и мы не имеем права не оправдать их надежды.

Мы идем, Россия!

Встречай нас.

*Выступление Сергея Борисовича Станкевича,  
народного депутата СССР, на митинге в Москве  
25 февраля 1990 г.*



*Андрей БИТОВ*

---

## Вычитание зайца

Три варианта

---

### I. Фауст и заяц

*(Исповедь графомана)*

Или быстрее кончай, или никогда не давай себе зарок... (Что, впрочем, тоже зарок.) Автор (в данном случае именно я) с самых первых своих нетвердых шагов в прозе твердо себе заявил, что стихов не будет писать никогда и про великих людей не будет писать никогда. Должен сказать, что соблюдать это правило ему не стоило никаких усилий, по крайней мере десять лет. Он просто был достаточно занят. Но через двенадцать лет, правда, не автор, а его герой Лев Николаевич Одоевцев уже писал про Пушкина (самого запретного из всех великих людей), а еще через год, окончив-таки «Пушкинский дом», опять же автор (а не Л. Н. Одоевцев) мог себя застенчиво застичь за сочинением акростиха, посвященного одной армянской даме. Слава Богу, падение дальше не зашло. Отделавшись несколькими посвящениями в письмах и ко дню рождения, автор снова оказался достаточно занятым.

Прошли еще годы. Автор, последовательно пережив Лермонтова, Пушкина (отговорка, что — поэты...), пережил также Гоголя и Чехова и достиг Мафусаилова возраста в русской литературе в сорок пять лет. Историческое время вокруг напоминало вечность. И тут в сентябре 1982 года автор застигает себя в некоей вымирающей северной деревеньке, где время вымерло еще раньше, чем в нем и в окружающем мире. За странным занятием застигает он себя!..

Бессмысленно сидя не первый день над пустой страницей, вошла ему откуда-то ниоткуда, с потолка, скажем, звучная или показав-

шаяся звучной строчка. Он еще подумал, не поразмяться ли стишком, но это было бы волевым падением перед лицом издательской необходимости писать именно ту белую страницу, что была заложена в машинке, и, стиснув зубы, автор сдержался. Но через минуту он все-таки пал и решил быстренько отделаться от навязчивой строчки. А может, и впрямь разомнусь, разогреюсь, а там и проза пойдет, думал автор. Да вот беда, строчки той как не бывало! Остальные полдня пытался он припомнить именно ее. Вот самая досадная пропажа! Можно было книгу написать — так именно в этой строчке все дело. От отчаяния автор ухватился за первую же попавшуюся строку, конечно, никак не равноценную, той не равную, да и не о том (даже о чем та, автор не помнил, да и сейчас не помнит), но уж было все равно. Строка стала вот такая:

Не токмо не закон, но и вообще без правил...

Почему «токмо»? — слабо подумал автор, но уже написал дальше:

Он между нами жил...

Но это же не он, не я, то есть, написал! Это же Пушкин написал! Причем, кажется, не про себя, а про Мицкевича. Поэт, так сказать, про поэта... Выходит, если я ввожу слова Пушкина, то я могу их оправдать лишь тем, что они Пушкину же и принадлежат?.. Тем более они им самим адресованы не кому-либо, а тоже поэту и гению. Выходит, продолжая пушкинские слова, я писал уже про самого Пушкина, на что в жизни бы не посягнул даже в беллетристике, не то что в стихах!..

«Он между нами жил». Нас нет. Он нас прославил.

Почему «нас нет»? От чьего же это лица я выступаю? От лица его современников? которых уж точно нет? На это я никак не мог рискнуть — слишком сложного перевоплощения потребовал бы от меня подобный ход. Тогда, может, «между нами» — в смысле русскими? Как Мицкевич — поляк — между нами, русскими... Но не мог же я в каком-либо смысле сказать, что нас, русских, уже нет? А сам я — немец, что ли? Но писать надо было дальше, и, оставив этот скользкий вопрос, я ринулся дальше, выправляя: «Он нас прославил». Это было в любом случае верно: и в том, если бы относилось к современности — в смысле прославил нацию, и в том еще, уже внутренне испуганно отвергнутом, если бы это было как бы от лица современников. Вот уж кого он прославил, так это их! Из какой еще эпохи знаем мы имена цензоров и начальников тайной полиции, продажных журналистов и светских дам? Ни один писатель не прикрепил к своему имени такого количества историй и имен. Из всех эпох, включая собственную, ни одна нам так не известна, как пушкинская. Как специальное образование есть неперменная полнота сведений в какой-нибудь области, так мы избрали исторический отрезок, чтобы знать о нем максимально все, и в этом смысле Пушкин оказался нашим всеобщим историческим университетом. Зная в каком-то вопросе все, мы легче ориентируемся в вопросе, в котором не знаем

ничего. Гипнотизирует также некоторая бóльшая, чем то, чего мы совсем уж не знаем, отчетливость того, что мы знаем до некоторой степени. Погружаясь в туман и тут же сбиваясь со следа, мы стараемся вернуться и начинать «от печки». С каждым возвращением мы знаем ее (печку) все подробнее. Пушкинская эпоха как раз тем и притягательна (есть, правда, и элемент обаяния) для нас, что мы ее уже отчасти знаем, а остальное знаем настолько хуже, что и прикасаться страшно. Легче все время перекапывать все ту же грядку, что мы и делаем. Мы ее как бы «чувствуем», эту эпоху. И уж очень не хотим из нее выходить. «Он нас прославил». Он нам лестен. Дальше по-прежнему, не руководствуясь никаким смыслом, памятуя, что именно в этом заключен секрет поэзии, который я никогда не мог разгадать на практике, занимаясь постоянным формулированием, — дальше пошло, по-видимому, по одному лишь со-звучию:

Оставил нам...

Но если нас уже нет, то что можно нам оставить?

Нет, нас...

По-видимому, мне очень понравилось это друг под другом: «Нас нет» и «Нет, нас».

«Нет, нас...» — в этом, впрочем, была своя грустная правда: он не просто расстался с жизнью, но еще и всех нас оставил, почти как бросил. Что же он нам оставил? О, это бесконечный вопрос — что он нам оставил. Еще более бесконечный, чем то, что мы из оставленного взяли. Тут и «тайна, которую он унес с собою», и то, что он «наше все», и то, что он есть «человек, который явится нам через двести лет», — тут масса и метафизики, и реального смысла, метафизической, так сказать, реальности. Как это все выразить в двух словах? Я не нашел ничего лучше, как написать:

Плюс измеренье...

Имелось, по-видимому, в виду что-то из неизвестной мне области теоретической физики. Оправдывалось, по-видимому, тут же «поэтическим приемом» столкновения слов и понятий из разных эпох: стихотворение-то я продолжал уже современное... Итак, у меня написано (именно так — написано, к чему я был неспособен, но как бы экспериментально зажмуривал глаза...):

Не токмо не закон, но и вообще без правил  
Он между нами жил... Нас нет... Он нас прославил.  
Оставил нам... нет, нас... плюс измеренье...

Господи! что за каша... Но я ее тут же интерпретировал. Дивный способ! Объявлять получающееся намеренным. «Токмо» как бы шло еще из XVIII века, предшествовавшего Пушкину. Что он явление столь запредельное, даже космическое, что мы со своим умишком на него закона, ни правила не сыщем... ладно... дальше из него...



дальше не просто нескладность, а сознательная заманчивость, означающая особую трудность мысли, мычащую субстанцию, невыразимость отношения к нему, а в конце — уже сугубо XX век, эйнштейновские штучки, почти «минус-пространство». В три строки уместить три века — согласитесь, это не мало. И я вдохновился...

Сундук, чубук, сюртук... —

написал я. Надо сказать, что это только сейчас я пространен, а тогда, вплоть до этого, я написал единым духом и не задумываясь. Думаю, в это нетрудно поверить, но я могу предъявить и черновики... Дописав единым духом, об этот сундук я запнулся. Почему сундук, откуда? (Некстати, но приятно вспомнить замечательные стихи Льва Толстого:

Танцевальщик танцевал,  
А в углу сундук стоял,  
Танцевальщик не заметил,  
Спотыкнулся и упал.)

Так вот я в точности оказался тот танцевальщик. Что за набор такой? И в особенности сундук — предмет тяжкий и непоэтический, как бы и никак уж не пушкинский. Правда, все кончается на «ук», но это еще не оправдание. Поэзия, конечно, должна быть глуповата... Настоящий поэт может еще сто таких слов придумать!.. Правда, я сейчас пробую, и не получается — только индюк и урюк — среднеазиатский крюк... Нет, все-таки придумал! «Мундштук», скажем. Даже лучше чубука, не то что сундука. Но это сейчас, а тогда был именно сундук. Но именно следуя избранному мною методу бесконтрольной поэтической интуиции, пытаюсь изловчиться и оправдать этот сундук, столь непушкинский, выбрал я в «минус-пространство», в котором этот сундук мог якобы находиться. Вряд ли он стоял в городской квартире, но сундук был непременно принадлежностью всякого крестьянского дома, следовательно, дом, в котором сундук, — в деревне, следовательно, в Михайловском или в Болдине. Михайловское мне первым пришло в голову. В Михайловском я никогда не бывал. О, это особая тема, сколько раз я не был в Михайловском! Но об этом следует рассказать позже.

Значит, я переместил поэта поближе к возможному сундуку — в Михайловское, вторично его туда сослав. В Михайловском знаменитый музей, в нем вполне могли бы быть чубук и сюртук как вещи, принадлежавшие поэту. Но своими глазами я не видел, ручаться не мог. Был ли у Пушкина чубук? Как принадлежность кабинета, скажем, типа онегинского — наверняка. Но курил ли из него Пушкин? действовал ли чубук и как он действует, если действует? не путаю ли я чубук с кальяном? Кальян — ведь это с водой, а чубук вроде длинной трубки... и вообще, курил ли Пушкин? Кто-то, мне помнится, рассказывал, что в 20-е годы состоялась даже научная конференция «Курил ли Пушкин?». Докладчики высказали много ценных наблюдений и предположений, но, кажется, к окончательному выводу не пришли. Ладно, он мог и не курить, чубук у него мог быть

просто так, мужская игрушка. Сюртук... он, казалось бы, мог быть с наибольшим основанием: одевался же он, как все люди? — но ведь — деревня! может, сюртука в деревне Пушкин не носил?.. да осень! может, архалук? может, просто кафтан?.. Но все сомнения отпали, когда я довел четверостишие до конца:

— поэта оперенье —

в рифму, стало быть, к «измеренью».

Сундук, чубук — поэта оперенье —

ну ладно, поэт — своего рода птица, известно, что его возносит в выси, сюртук и чубук — аксессуары птицы-поэта, его, так сказать, Господи прости, оперенье. Но сундук-то уж никак не оперенье! Минуту пожила строка взамен:

Носил он съемную одежду — оперенье, —

от страха я перенесся на четверть века назад и там впал в подражания мэтру юности Г. Горбовскому. Типичное испытание экстремальной ситуации со спазматическим цитированием отдаленного стереотипа (кажется, я не употребил ни одного русского слова... дело в том, что я разжился у машинистки бракованной бумагой для черновиков, и на обороте у меня текст диссертации на соискание ученой степени кандидатки философских наук... видимо, тот текст проступает...). Подражание я отверг, в конце концов, мэтр моей юности никогда бы не предположил, что одежда бывает еще и «несъемной» (имелось в виду оперение уже подлинной птичьей, уподобленной обратно одежде, которую птица, в отличие от поэта, снять не может), все отчасти вернулось на свои места, но мебель была переставлена в следующую строку:

Чубук, сюртук и трость — поэта оперенье —  
Лежат на сундуке...

Конечно, трость не кончалась на «ук», что было большой потерей. Зато само наличие трости в Михайловском было уже более обособленным: в свое время она у него там была, точно. Это была железная трость в несколько фунтов весом. Известно, что он бродил по дорогам, бормотал свои строчки и закидывал вдаль трость, чтобы дойти до нее и снова вперед закинуть. Это не Хармс, а воспоминания. Он так тренировался. Он вообще был очень спортивный господин. Не известно, правда, сохранилась ли эта трость, а если сохранилась, то где. Опять же полной уверенности у меня не было, потому что в Михайловском я ее не видел, потому что в нем никогда не был. И не влез эпитет «железная», что оттенил бы эрудицию автора. Значит, лежат на сундуке. Будто он разделся и лег, а это все на сундук сложил. Будто он до самого сна не выпускал из рук чубук да трость.

Вот все, что мы увидим.

Ложились на бочок и Пушкин, и Овидий.

Получалось что? Получалось, что, проскочив в трех первых стро-

ках три века, наш современник посещает домик поэта в Михайловском. Такой обыкновенный человек, обыватель даже, хотя, возможно, и не в плохом смысле слова, скажем, слесарь-наладчик или мастер цеха, деловой, конкретный человек, ничего против Пушкина не имеющий, относящийся к нему с должным почтением, но все-таки далекий от понимания всего значения нашего национального гения. Он приехал на экскурсию. На большом автобусе, по профсоюзной путевке. Вместе со своими товарищами по работе. В магазин они уже сходили. Получалось, что он входит и своим живым конкретным глазом примечает. Возможно, его предки были крестьяне и на многое он здесь взглядывает как бы с генетическим узнаванием. Его, естественно, заинтересовала палка: почему железная? — и чубук — достаточно странной формы. Его также могла заинтересовать одежда: как, мол, тогда одевались? Тогда бы его поразил ее мальчишковый размер... Естественное музейное удивление, что поэт был, оказывается, совсем как человек: ел, пил, ложился спать — ложился на бочок, — это всегда первое, если не самое сильное впечатление: «Вот все, что мы увидим». Мы — это, наверное, от лица экскурсии, к которой вдруг и я притесался, невидимый, сбоку. Прекрасная идея! Это мог быть некто Боберов, такой недалекий провинциал-пушкинолюб, и это он сейчас сочиняет свои беспомощные вирши, а не я, а я, это самое, уже не сам, а его пишу, как он сочиняет... Спасительный Боберов! Литературный герой, спешащий на выручку погрязшему автору, — это ли не союз! — заслуженная награда за творческое усердие. Поглядываю иронически, как посвященный в толпе непосвященных, хочу выделиться в глазах экскурсовода. Образ автора двоился: спасительный для моего невежества мастер совершенно стусебался, как только автор увидел экскурсионную девицу. Только что наметился угол зрения тов. Боберова — так нет, совершенно он не намечался. Потому что в следующей строке из-за приговоренности к рифме объявился Овидий, никак с размышлениями нашего мастера не связанный.

И в следующей строке остался уже опять только я, ловящий взгляд экскурсоводши:

«To be or not to be» — нам не подскажет Гамлет.

Видите ли, этот монолог не выветрился из моих школьных лет! Это называлось «наизусть Шекспира в подлиннике». Это желание в смысле невежества — оставаться в тени, спрятавшись за Боберова, а в смысле эрудиции — выдвинуться, его заслонив, к сожалению, характеризовало уже не только меня, но и поэта, сочинявшего стихи про Пушкина. Он не был виноват.

Старушка за стеной шуршит, муршит и мямлит.

Итак, картинка перерастала в сценку. Домик был заселен. Поэт лег спать, а Арина Родионовна за стенкой еще возится. Эрудит явно побеждал: «старушка» была вычеркнута и заменена Ариной. «Шуршит-муршит» оставалось на совести автора как реликт восприятия недалековатого экскурсанта-мастера, а сверхточная рифма «Гамлет-мямлит» была чистый плагиат из известного советского поэта. Сам

я Гамлета не зарифмую. Но в качестве эрудита смыкался я тут же с моим мастером-наладчиком: вряд ли Пушкин называл няню Ариной, это мы в школе опускали отчество учителей... А он: «моя старушка», «добрая подружка», «голубка дряхлая», «бедная няня» — никак не Арина, и все. Написав единым духом, доблестно не задумываясь, два четверостишия, я приостановился было наконец в раздумье, от чьего лица говорю...

Так, может, я и есть и тот, и тот человек — и слесарь, и эрудит? Что я, мастером в свое время не работал? Перед кем это я за него прячусь или из-за кого это я и для кого высовываюсь? Кому я хочу показаться? Не иначе как Александру Сергеевичу. Вот и весь мотив. Боюсь показаться ему глупым — не глупо ли? Как не покажешься... При Пушкине и Вяземский глуп был\*. Есть и другой мотив, равный и обратный первому, куда более опасный: одновременно с Пушкиным я и тому Боберову, мастеру, может, хочу показаться и тоже «своим»? Выходит, я и есть тот нормальный и средний человек, который одновременно хочет быть и равным, и первым; интеллигентность есть уже нечто постыдное, что нельзя или опасно показать, и мы неумело, а потом и умело сдобряем ее хамством. «Хоть и в шляпе, а такой же хам, как и вы» — находчивый ответ одного дирижера в очереди на такси. Показать «простым», «своим», незаносчивым и не много о себе понимающим — это уже не демократизм, а привычный страх, вошедший в плоть и кровь, огрубляющий душу и неизбежно сказывающийся в языке. В грубости нет иронии, какой бы усмешкой она ни была прикрыта. Усмешка осталась на лице, а слово на бумаге. Какая уж тут ирония... или даже — «ироническая интонация!» К кому ирония: к экскурсанту, к экскурсоводу, к себе, к Пушкину? Ничто не спасет. Ирония тычется, как слепая, утратив адрес. Все та же полублатная, полуиспуганная, полужалкая и воистину фальшивая ухмылка на разве что бритом, на разве что в очках, на разве что в шляпе, но уже не интеллигентном лице... Кто смеется? над кем смеется? Что вы, упаси Господи, чтобы над вами... Где взять силы, чтобы смеяться еще и над собою?

Значит, это все я же. Это моя интонация. Она пробивается сквозь мою же. Я же и интеллигент, и эрудит, и хам, и неуч — все это вместе называется естественной речью. Несобственной прямой... А надо бы — непрямой собственной. Значит, это все я: и заблудший по вине профсоюза экскурсант, и размышляющий о великом гении прозаик, и беспомощный поэт, сидящий в тот момент в нетопленной избе, в ватнике, валенках и ушанке, пытаюсь довериться своей интуиции? И это я же выглядываю с тоской в окно, вижу лужок, трех собак, петуха, двух козлят и такую же избу напротив... Не прощ ли тогда собою и быть?.. Дальнейшие строки дались легче и чище:

Он не хотел вставать. Ему неясно было,  
Как новый день начать. Ему было постыло  
Поутру пробивать в кадушке тонкий лед,  
Из самовара пить и есть все тот же мед.

\* Если прочесть переписку...

И он велел седлать мохнатого конька.  
И лень было влезать. Небритая щека  
Цепляла воротник. И обломился ноготь,  
Что месяц холил он. Но сел — придется трогать.

Пошел, пошел! Конь ёкнул селезенкой,  
И сытый его ход крушеньем пленки звонкой  
Поэта взвеселил.

Стоп! опять заврался. Про коня я опять заврался. Их не видно из моего окошка. Какие здесь лошадки!.. Пятый год езжу — ни одной не видел. Стальной конь — есть. Второй год ржавеет на краю поля. В этом году уже и гусеницы одной на нем нет. Правды о себе мне хватило на восемь строк. Про вставание, про начинать день — про это я знал. И тут даже правда про Пушкина получилась: «В кадушке тонкий лед» — это точно, это у него было. И Пущин вспоминает, как было у Пушкина холодно — Арина Родионовна «прижимала» дрова на топку. Пущин, кажется, тогда навел порядок, и поэт отогрелся. Из самовара пить — это опять был мой самовар, из моего сегодня, я его сюда и приволок. Страшно неудобная вещь в перевозке! Он был в рюкзаке и как раз краном в спину... И мед мой — моего родственника Георгия Георгиевича Ш-та, милейшего господина, у которого я и живу, — которым он меня потчует. Я боялся, что ему попадутся эти стишки и он примет их на свой счет. Почему-то я не полагал, что они просто могут показаться ему плохими... Но Пушкин вполне мог пить из самовара, и мед ему мог надоесть. Про «мохнатого конька» тоже вполне может быть не вранье.

...не велеть ли в санки  
Кобылку бурую запречь?  
Скользя по утреннему снегу,  
Друг милый, предадимся бегу  
Нетерпеливого коня...

Так кто же? Нетерпеливый конь или бурая кобылка? Стало быть, про лошадку я не без оснований. Небритая же щека вызывает сомнение: у меня-то она, да, небритая, и воротник цепляет, а у него всем известные бакенбарды, и даже если он не брился подолгу, что возможно, бакенбарда цепляла за воротник прежде щетины. Ноготь хоть и обломился у меня о клавишу машинки, но холил свой ноготь — он, факт общеизвестный: «Быть можно дельным человеком...» и т. д. Если б он обломился, то досаду бы вызвало... Больше у меня сходного с ним опыта не оказалось, и пришлось снова плести приблизительное про его конную прогулку, но главное, что он уже с коня и не слезал до конца сюжета (который мне еще не был ясен), то есть, раз на него сев, до конца уже оставался всадником (не мною) и уже только Пушкиным, и спрятаться мне было уже не за кого: ни за случайного посетителя музея полу-Боберова, ни за полусебя, ни за себя-себя. Но раз войдя в колею этого полужлоба-полуав-

тора, я все еще не мог из нее выскочить. Как будто я с кем-то невидимым полемизировал, будто над чьим-то плоским восприятием трунил:

...взвеселил. Он гнал во весь опор,  
Под брюхо бья коня сапожками без шпор.

Это «бья» надстраиваемой лесенкой заменялось на «бив» и «бил» и было снова восстановлено. «Бья» — было моим спасением от упреков в недостатках поэтической техники. Мол, так и подразумевалось, мол, не то автопародия, не то пародия на графоманство... Так или иначе, я продолжал прятаться, все больше высовываясь и обнажаясь. Появились «сапожки», намекавшие на миниатюрность поэта, и как бы убедительное «без шпор» (с ними или без них — я понятия не имел, но без — было как-то добрее, ребячливее и гуманнее). Сапожки вывели меня на прямую современной речи:

Размер — тридцать шестой. Рост — метра полтора.  
Окончен «Годунов». Не дале, чем вчера.

Тут я как бы не заблуждался и вел свою линию сознательно. Я все еще играл с чьим-то ублюдочным восприятием и благородно его ниспровергал. Пушкин «современными» глазами, обмеренный нашими размерами... Сапожки, надо полагать, шились. Без размера — по мерке. Я это знал. Не знал я, какой был размер ноги Александра Сергеевича. Малый его рост был для меня поверженным мифом. По свидетельству художника Чернецова, писавшего Пушкина в рост, он оставлял (в пересчете на наши сантиметры) 167, в 1825 году (дата была уже проставлена в стихотворении окончанием «Годунова») такой рост мог быть назван, пользуясь позднейшим словечком Достоевского, «средневысоким». Откуда взялись эти пресловутые 155 см, распространено застрявшие в нашем восприятии, я не нашел источника. Не иначе как желание принизить великого поэта, материализовавшееся в прямой форме. Исключая опять же прикованность к рифме «вчера — полтора», я полагал, что действую сознательно, противопоставляя малый рост факту окончания романтической трагедии.

Лорд Байрон превзойден. На уровне Шекспира.  
Лишь Гёте превозмочь еще торопит лира.

Тут я уже вступал в область совершенно недопустимую и для меня головоломную. Ни с того ни с сего начался как бы поток сознания самого Пушкина. Эти характеристики могли принадлежать уже только ему или только мне. Ни одно обывательское мнение о Пушкине их не содержало. Получалось некрасиво: что Пушкин, мол, сам о себе в таком бахвальном ключе думает... Правда, у него были некоторые основания... Но тем более. Известно, что во всех автохарактеристиках, как письменных, так и устных, Пушкин бывал необыкновенно скромнен (я бы сказал — умен и точен). Но никому не известно, как он мог иной раз подумать. Хотя писать, что ДУМАЛ Пушкин, есть, по излюбленному мною выражению, «вершина паде-

ния». Я настолько последовательно и долго себе этого не позволял, так глумился над любыми чужими попытками что-то в этом роде произвести, так мне было ясно, что сам я никогда до этого не паду, что оказаться вдруг в еще худшем положении... Стихами о том, о чем думает Пушкин?! Я?? Владеющий стихом много хуже Доризо! Это уже было черт-те что.

«Не токмо не закон...» — куда завела меня эта взявшаяся с потолка строчка! А главное, осознав, я не скомкал и не бросил, не только что не сжег...

Вот, однако, о том, мог ли Пушкин подобным образом про себя думать: отделять себя от Байрона, подтягиваться к Шекспиру, поглядывая в сторону Гёте... Конечно, в таких грубых формулах не мог. Но счет свой он безусловно вел, и, кстати, в 1825 году в особенности. Из современников, тем более отечественных, его никто не занимал. Слух о Грибоедове подразнил было... Можно это проследить, даже не чересчур зарываясь в источники. По письмам.

Но писем под рукой нет. Зато в пейзаже объявился рожденный воображением конь...

М-да, Лошадка... Как она сюда забрела?

Приходится посмотреть правде в глаза. Она всегда тут была. Неизбежность текста, приведшая нас к обрыву его, как раз и обозначила Лошадку-правду. Обрыв текста, край его, за пределом которого — знания, которых мне здесь не хватает, Пушкин — который под рукой, то есть и вся манившая меня вдали гипотеза, что «Фауст» Пушкина был писан непосредственно вслед за «Годуновым» и что пресловутый заяц, вылетевший на поэта в канун 14 декабря, сыграл роль того же искушения Судьбы, что и объявление Пуделя перед Фаустом-предшественником (гётевским), — вся эта заманчивая цепь оборвалась, лишь подтянув мой взгляд от рукописи к окошку, чтобы узреть то ли зыбкость гипотезы в будущем, то ли неточность ее отсчета с самого начала, в который раз столкнувшись с коварством красного словца, пробегающего между художественной правдой и правдой жизни прямо-таки с лисьим рыжим проворством...

Именно рыжим... Коня зовут Рыжка. Правда как бы большая, типическая, художественная состоит в том, что его здесь не может, не должно быть, Рыжки, — такая наша деревня типичная, как проблема, символ Нечерноземья. Типичен труп трактора, догнивающий на его месте, как вымерший динозавр. Но правда как бы меньшая, случайная, засоряющая строку, что вот он стоит-таки перед моими глазами второй уже год из четырех, что я здесь бываю. Всегда на одном и том же месте, с восхода до заката, как нарисованный.

Нарисовал его там в прошлом году Николай Николаевич, единственный на три наши усадьбы процветающий мужик, живой упрек то ли общей нашей системе хозяйствования, то ли нам самим. Хоть бы его и не было, с его овечками и пчелами, тоже была бы правда бóльшая. И до того дошло процветание и неправдоподобие хозяина здесь, что завел он, как заврался, жеребеночка на радость приезжающим из города детям, а больше, оказалось, ни для чего, ибо когда пришла пора запрягать, то и выяснилось, что никто в

деревне, ни в соседней центральной колхозной усадьбе оказался не в курсе, как это делается. И это уже не красное словцо, что запряг его единственный раз уже упомянутый милейший Георгий Георгиевич Ш-т, происхождением граф, да и на самом деле... Настолько граф, что его здесь даже евреем постепенно перестали считать за простоту и достоинство. Вот он, проведший малолетство в усадьбе своего деда, курского помещика, еще вспомнил, как запрягать, да и запряг ко всеобщему нашему восторженному недоверию. Но Николай Николаевич, мужик упорный, но туговатый, с первого раза не запомнил, а тут, несчастье, Георгия Георгиевича в больницу увезли надолго. Пришла осень, Рыжку так и не запрягали и упустили веками на то рассчитанное время — Рыжка стал здоровенным жеребцом, так ни разу и не потрудившимся, заматеревшим в безделье, с ним уже и не справиться. Вот и служит он у нас одному пейзажу, до необыкновенности его украшая, сытый, гладкий, как никто у нас в деревне, ибо Николай Николаевич хозяин заботливый, хоть и неумелый. Однако он поговаривает, что сдаст его на живодерню. И уйдет наш бедный пейзаж на мясо, раз уж настолько его нет. Край текста совпадает здесь с краем вида из окошка, краем деревушки нашей и краем западающей за край бесконечной пашни, на краю которой, беспечный и прекрасный, пасется, как нарисованный, наш немыслимый, так ни разу и не работавший, как и трактор, но зато куда более милый сердцу жеребец Рыжка. Уровень листа, стола и подоконника и тот край, что обрывает околицу перед пашней, совпадают в одну линию, как у топографа, так, что именно тут он и стоит, как на обрыве, как на берегу, будто и деревня наша величиной с островок, с недописанный листок, так же не может иметь в этой жизни продолжения, как и этот текст, тут он и стоит в последней строке, в последнем слове, потому что, если продолжить, повиснет уже в воздухе, станет птицей в небе, умчит от меня нерабочий Пегас наш — Рыжка.

## II. Благодарная Россия

*(Пояснительная записка к проекту  
придорожного памятника)*

Странное это дело — отмечать юбилей смерти... Хотя бы и такой круглый, как 150. Как ни скорби, прорывается торжество: мы-то живы! Очередной зарок не писать к этому юбилею пал, как и всякий зарок. Я получаю очередное послание от Боберова... Кто он?

Рассуждая о последних днях Пушкина, мне уже приходилось размышлять о месте примет и суеверий в его жизни, весьма значительном... Меня тогда поразило необычное пренебрежение, возможно, сознательное, внезапно проявленное к приметам, которым в прежней жизни следовал он неукоснительно, именно в роковой день 27 января 1837 г. (см. «Статьи из романа», М., 1986, с. 228—230). В той же



книге (с. 291) упомянут некий корреспондент А. Боберов, приславший мне обширное изыскание о роли дат в судьбе поэта. В это послание входила и небольшая его поэма, снабженная громадным комментарием, освещающим более обстоятельства написания ее, нежели сам предмет. Комментарий этот, однако, не лишен не только точных наблюдений над самим собой и своим творческим процессом, но и некоторых свободных раздумий о судьбе поэта, более гипотетических, нежели обоснованных. Все это в целом достаточно любопытно, но слишком объемно и годится лишь для полного собрания сочинений. Здесь же я рискую предложить читателю лишь самую «поэму» с предельно сжатым комментарием.

В основу «поэмы» положен парадоксальный факт, известный со слов самого поэта. Как, не ведая о предстоящем выступлении декабристов, по некоему (корреспондент мой увлечен парапсихологией) наитию Пушкин срывается, в нарушение всех запретов, из Михайловского в Петербург, причем точно в последний момент, чтобы поспеть к 14-му, но, сорвавшись, тут же поворачивает обратно в силу череды дурных примет, последней и решающей из которых оказался заяц, перебежавший дорогу. Привлекая к своим выкладкам и модный ныне Восточный календарь, сопоставляет он роковые для поэта 1825 и 1837 годы как годы Петуха, между тем рок тайлся, как в черепахе Олега коня, в году его женитьбы, совпавшем с годом Зайца. Оставляя все эти изыски в стороне, от себя скажем, что Пушкину на его жизнь вполне хватило примет народных, от зайца до копейки, нами напрочь забытых, вытесненных суевериями восточными, в свою очередь неусвоенными. Пушкин, по-видимому, не знал, что он Близнец и Овца (впрочем, это еще следует проверить...), но, во всяком случае, не мог бы придавать этому значения как реалиям сознания и судьбы, того значения, которое он, исподволь, придавал преданиям и приметам, народным и родовым, родившись под *своею* звездой и дожидаясь своей *звезды*.

Итак, вот эта «поэма»...

## 1825-й год

Н. М. Г.

### 1. Обзор лирики

ЗИМОЙ: «Письмо любви! прощай: она велела.  
Как долго медлил я! как долго не хотела  
Рука предать огню... пылают — легкий дым...  
Желаю славы я, чтоб именем моим  
Твой слух был поражен... мой талисман, храни  
Меня во дни гонения, во дни...»  
(Посвящено разлуке с Воронцовой:  
«Сожженное письмо», «Желанье славы» новой...)  
ВЕСНОЙ: «Глава... падет... мой незрелый гений  
Для славы не свершил возвышенных творений;  
Я скоро ВЕСЬ умру». (Со строчки сей проценты

Начислим на последний monumentum!

«Нет, ВЕСЬ я НЕ умру...»)

В ту ОСЕНЬ он пророчит:

«Я НЕ умру, — (в письме), — Бог не захочет,  
Чтоб «Годунов»...

(Меж этих двух прозрений

Есть ЛЕТОМ «мимолетное... как гений...»

Мгновенье чудное...)

Лицейское, осеннее,

«Отрадное свиданье», как виденье

То, мимолетное...

Полнее... наливайте...

Стакан!.. «до дна, до капли выпивайте!»

Полней, полней! ты, солнце! ты, заря!

Но за кого? о други, возгоря...

Увы... Ура! наш царь! «наш круг... редее;

Кто в гробе спит, кто, дальный, сиротеет;

Судьба глядит...»

Страданье, мрак, мечта,

Мысль, ревность лиры, мщенья красота —

«Все в жертву памяти» — изгнание, славы блеск... —

Все той же воспаленной девы...

«Мне скучно, бес».

«Что делать...»<sup>1</sup>

## 2. Перед 14 декабря (не ранее 7 ноября)<sup>2</sup>

Фауст: Все утопить.

Мефистофель: Сейчас.

...Вообразим опальный домик...

В нем трость железная и Вальтер Скотта томик;

Перо! гусиное... и детская кровать,

Где, с тем пером, любил поэт поспать.

Какие сны!.. — лишь Гамлет растолкует...

Голубка дряхлая за стенкою воркует.

Он не хотел вставать. Ему неясно было,

Как новый день начать. Ему было постыло

Поутру пробивать в кадучке тонкий лед,

Из самовара пить и есть все тот же мед.

Седлать коня!.. — от праздности несносной

Хотел он ускакать. Но ветер дул норд-остный

И шляпу сдул. И обломился ноготь,

Что холил он... Он сел. Придется трогать.

Конек был не бог весть. Здесь лучше без меня

Опишет сам он резвый бег коня,

Треск, звон и блеск... Они хандру развекют.

Одно бесспорно: всадник был резвее<sup>3</sup>.

Аршин двух с небольшим. Лет — двадцати шести.  
И гений в остальном. У власти не в чести.  
Окончен «Годунов». Не лучше у Шекспира<sup>4</sup>.  
Нет Байрона...<sup>5</sup> Почтенна Гёте лира<sup>6</sup>.

Обрыдло здесь — и осень не прекрасна.  
С Европой кончено<sup>7</sup>. Не пустят. Что ж так страстно  
Себя опережать? На площади «народ  
Безмолвствует» на сотню лет вперед.

Бессмысленно. Выходит первый сборник.  
Друзья обречены. А он... слуга покорный<sup>8</sup>!  
Не выйдет... Почитать им «Годунова»...  
Успеть... к цыганам?.. Начинать же снова!

Пять лет прождал... Пора в бега пуститься,  
Коль до свободы — час и до конца — страница!  
Не «Фауст», а «Кучум» или «Ермак» —  
Поэма долгая — на добрый четвертак<sup>9</sup>.

«Ай, Пушкин! Сукин сын!»<sup>10</sup> Сомкнуться со своими,  
Единственным путем спасая честь и имя?  
В Америку удрать? Жениться всем на зависть?..  
...Ему наперерез слепой стремится заяц!

Вот смелый человек! Без страха и упрека.  
От зайца убежать!.. Нам не постичь урока.  
Он будущее знал... И, соскочив с лошадки:  
— Мне скучно, бес, — сказал. — Одни и те же прятки!

— Что делать, Пушкин? — Будет тебе, будет,  
Сгинь, сатана? а я — как Бог рассудит.  
(Был Гёте жив, и не прочитан «Фауст»...  
Здесь нету рифмы, кроме — «преступает».)<sup>11</sup>

### 3. Памятник

Конец истории о том, как вдохновенья  
Есть способ личности избегнуть раздвоенья...

...Заложат сани, кучер будет пьян,  
Навстречу поп — еще в Судьбе изъян.  
Тут заяц выбежит, и — никаких сомнений! —  
Михайловское — лучше поселений<sup>12</sup>.

Он, как по нотам, повернет коня...  
Так вот кто жил, Судьбе не изменя!  
И бесы ничего поделывать не могли.  
(Я вновь не посетил тот уголок земли...)

Пустынный сеятель!<sup>13</sup> Придет еще пора!  
(Которой так давно прийти пора.)

Отыщут перекрестье тех дорог,  
Где Заяц поспешил к тебе в сто ног,  
Воздвигнут обелиск...  
О, как это красиво!

КОСОМУ — БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ.

<sup>1</sup>. Первое стихотворение представляет собой коллаж из пушкинских, последовательно: «Сожженное письмо», «Желание славы», «Храни меня, мой талисман...», «Андрей Шенье», «К\*\*\*», «Вакхическая песнь», «19 октября», «Все в жертву памяти...», «Сцена из Фауста», — относимых Боберовым к 1825 году, а также из письма В. А. Жуковскому от 6 октября 1825 года: «...посидим у моря, пождем погоды; я не умру; это невозможно; Бог не захочет, чтоб «Годунов» со мною уничтожился», — и из стихотворения «Я памятник себе воздвиг...» (1836). При всем старании Пушкин не подчиняется упорному ямбу коллажиста, и наш автор вынужден прибегать к изменению пушкинской последовательности слов и даже редуцированию слогов (желание — желанье), что, конечно, недопустимо в цитировании. Сомнительны и его оправдания в точности датировки наличием «случайного, куцего» сборника под рукой. Желание сделать «разлуку с Воронцовой» сквозным мотивом лирики всего года привело к колебаниям от 1824 до 1827 года.

<sup>2</sup>. Окончание работы над «Борисом Годуновым» датируется торжествующим письмом П. А. Вяземскому около 7 ноября 1825 года.

<sup>3</sup>. Реалии пушкинской деревенской жизни достаточно относительны. Автор в своем комментарии признается, что ему за свою жизнь так и не удалось навестить священное село. Детали его более прослышаны, нежели увидены, и, скорее всего, черпаются им из непосредственного опыта собственной деревенской жизни. «Конек был не Бог весть» — может оказаться деталью наиболее точной. Цитирую из комментария автора: «Поэзия есть поэзия: “Встаем и тотчас на коня, и рысью по полю при первом свете дня; арапники в руках, собаки вслед за нами...” (возможно, это у соседа было...)или

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,  
Махая гривой, он всадника несет,  
И звонко под его блистающим копытом  
Звонит промерзший дол и трескается лед.

Роскошно! Наверное, в седле, вскачь, он так себя и ощущал, как потом описывал. Но есть воспоминания крестьян о Пушкине, кем-то собранные. Крестьяне, народ хитрый и любезный, все угадывают, что нужно спрашивающему, и вырисовывается тот Пушкин, которого от них ждут: то добрый, то простой. Но вот один, по простоте уже собственной, так вспомнил: «Пушкин? что Пушкин... барин как барин. Кони у него были худые». Можно сказать, профессиональный взгляд, вызывает доверие. А вот и сам Пушкин пишет брату из Михайловского в том же 1825 году и наряду с Фуше, Шиллером, Шлегелем, Дон-Жуаном, Вальтер Скоттом, «Сибирским вестником», вином, ромом, горчицей... «книгу об верховой езде — хочу жеребцов выезжать: воль-

ное подражание Alfieri и Байрону». А вот в другом стихотворении — и то и другое:

...не велеть ли в санки  
Кобылку бурую запречь?  
Скользя по утреннему снегу,  
Друг милый, предадимся бегу  
Нетерпеливого коня...

Нетерпеливый конь и бурая кобылка в одном лице — поэтический кентавр».

<sup>4</sup> «...Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении типов... нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай трагедии Расина...»

<sup>5</sup> «Меж тем, как изумленный мир на урну Байрона взирает...» («Андрей Шенье», 1825), отношение Пушкина к Байрону после написания «Цыган» не могло быть однозначным; его уже раздражало традиционное восприятие его собственной поэзии «в байронической традиции». «...Тебе грустно по Байрону, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии. Гений Байрона бледнел с его молодостью... Обещаю тебе однако ж вирши на смерть его превосходительства» (П. А. Вяземскому 24—25 июня 1824 г.). «Никто более меня не уважает «Дон Жуана» (первые пять песен, других не читал), но в нем ничего нет общего с «Онегиным» (А. А. Бестужеву 24 марта 1825 г. из Михайловского).

<sup>6</sup> Шекспир, Байрон... В 1825 году Гёте — единственный живой, живущий гений, современный Пушкину. Пушкин не читает по-немецки («он знал немецкую словесность по книгам госпожи де Сталь...»), однако даже почти заочно существование Гёте занимает его воображение («но предпочитаю Гёте и Шекспира...»). Гении чувствуют друг друга на расстоянии (и Гёте умудрился переслать Пушкину свое перо, ни разу его не читая).

<sup>7</sup> Имеется в виду, по-видимому, история с «аневризмом», сопутствовавшая работе над «Годуновым»: прошения Пушкина о поездке для лечения за границу, ничем, кроме окончания драмы, не кончившиеся (любопытно, что, взяв эту шекспировскую высоту, Пушкин никогда более на «аневризмы» не ссылается).

<sup>8</sup> «Стихотворения Александра Пушкина», изданию которых посвящена значительная часть переписки 1825 года, выходят в свет 30 декабря, во время следствия по делу декабристов, — замечательная синхронизация!

<sup>9</sup> «Но тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму *Ермак* или *Кочум*, разными размерами с рифмами» («Воображаемый разговор с Александром I», 1824).

<sup>10</sup> Восклицание Пушкина из письма Вяземскому по окончании «Годунова».

<sup>11</sup> Судорога различного рода неотвратимых намерений как следствие непереносимо долгой и безысходной ссылки, разыгравшаяся с

особой силой во время написания «Цыган», как бы сходит на нет с написанием «Годунова», что служит основанием для автора нашей поэмы, с одной стороны, выдвинуть ничем не доказанную, но и ничем не опровергаемую гипотезу об уточнении датировки «Сцены из Фауста», а с другой — осмыслить «роль зайца» в судьбе Пушкина... Представим себе, рассуждает автор, молодого человека, автора одной нашумевшей юношеской поэмы («Руслан и Людмила»), ряда стихотворений, бродящих по рукам в списках, поэм «в байроническом духе» («Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан»), хотя и поощряемого несколькими собратями по перу, но совершенно забытого и заброшенного в глухой деревушке. Какая Европа! какой мир!.. Пропасть между русской и мировой культурой пройдена в нем одном, но никто в мире не ведает об этом, включая и друзей, восхищающихся его даром, но лишь с упреками в легкомыслии и недостатке рвения, не способных еще поставить его не только выше Байрона, но и на одну доску с ним... Между тем этот молодой человек, в таком вот одиночестве, совершает непомерное усилие и выходит на мировую дорогу. Он ОДИН во всем мире имеет представление о том, на что идет и чего это стоит. Написание «Цыган» есть преодоление Байрона: это уже только Пушкин, дальше Байрона. Шекспир — абсолютная высота, «Годунов» — рискованная ставка... Но и Шекспир если не превзойден, то как бы уже не страшен («голова кружится...»). Не характерно ли, что через два месяца он напишет «Графа Нулина» — пародию на Шекспира после «духа Шекспирова»! После «Годунова» (как бы ни оценивал он его про себя впоследствии) Пушкин уже ощущает себя тем Пушкиным, которым лишь потом ощутят его современники, а позднее и мы. Байрон, Шекспир... Гёте! Сколь естествен подобный пушкинский пролет. Гениальная «Сцена из Фауста» может быть предположительно писана между «Годуновым» и «Нулиным» — Пушкин и Гёте уже не только в одном времени, но и в одном пространстве мировой культуры, равноправные корреспонденты (один — в русской глуши, другой — на европейском Олимпе); не в ответ ли на эту сцену пошлет Гёте Пушкину свое перо?.. Итак, сосчитано до трех: Байрон, Шекспир, Гёте, — сейсмическая чуткость к истории возбуждена до предела в душе поэта накануне событий 14 декабря, о точной дате которых он, скорее всего, не может быть никак информирован. Рискованные его намерения любым образом поменять судьбу до написания «Годунова» бесспорно привели бы его к участию в событиях, ибо таким образом поменять судьбу было в его власти, но... «Годунов» — написан, и судьба — преодолена. Пушкин — уже не тот Пушкин, что до «Годунова»: перед ним открылась мировая дорога — его судьба. Сомнения Пушкина-друга, Пушкина-человека, прежнего Пушкина и Пушкина, вставшего вровень с мировыми гениями, Пушкина, которому вести России по открывшемуся пути, Пушкина настоящего, — мучительны в своем столкновении. Когда бы еще всего лишь заяц мог бы повернуть Пушкина в столь важном решении?.. Пушкин до «Годунова» не обратил бы на него внимания и доскакал бы до Сенатской площади, и все было бы... Этот Пушкин повернул обратно и написал пародию на Шекспира, не свернув с мировой до-

роги, которую перебежал заяц. «...Что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? быть может, это охладило б его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить? Лукреция б не зарезалась. Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те...» «Граф Нулин» писан 13 и 14 декабря... Бывают странные сближения. Не более странно и сближение декабристов с зайцем. Но окажись Пушкин на Сенатской... история наша была бы другая. Как была бы она другая, переживи он роковую дуэль.

<sup>12</sup> Несмотря на такую «положительную» роль зайца в его судьбе, Пушкин продолжал необъяснимо недолюбливать этого славного зверька. «Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Черт его побери, дорого бы дал я, чтоб его затравить... нет ямщиков — один слеп, другой пьян и спрятался», — 14 сентября 1833 г. Н. Н. Пушкиной из Симбирска — прямо калка событий 1825 года... Далее злоключения пассажира развиваются: он вынужден поворотить в Симбирск: «Дорого бы дал я, чтоб быть борзой собакой: уж этого зайца я бы отыскал. Теперь еду опять другим трактом. Авось без приключений».

<sup>13</sup> И это не такая уж шутка — наша благодарность как Пушкину, так и зайцу... Писано еще в конце 1823 года: «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды...» — одно из самых горьких, безнадёжных стихотворений.

### III. Заяц и мировая дорога

*(Ученый вариант)*

#### 1.

Знаменитая история о том, как Пушкин совсем было собрался из Михайловского в Петербург накануне декабрьского восстания, но повернул обратно, потому что ему перебежал дорогу з а я ц, правомерно существует в виде анекдота, не обременяя б и о г р а ф и ю поэта. Исследователя занимает больше тот факт, что, повернув, поэт в присест написал «Графа Нулина». Между тем следопыт, распутывая след этого осторожного басенного «зверка», неизбежно обнаружит, что он непрерывен, что в конце его «обязательно окажется заяц» (Ахмадулина). Обнаружит хотя бы то, что «Граф Нулин» начинается пышными сборами на охоту и заканчивается затравленным русаком.

Есть вещи, которые п р о Пушкина рассказывали, есть — которые он с а м рассказывал. Здесь как раз неоспоримо свидетельство самого Пушкина. Никому, кроме него, известно не было, что заяц перебежал дорогу. Разве что самому зайцу. Пушкин рассказывал эту историю неоднократно и разным лицам. М. П. Погодин приводит и конечные слова его: «А вот каковы были бы последствия моей поездки.

Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился слишком скоро мой приезд, и, следовательно, попал бы к Рылеву прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом; вероятно, я попал бы с прочими на Сенатскую площадь, и не сидел бы теперь с вами, мои милые!»

Что значит «с вами, мои милые»? Не прямое ли к нам обращение? То есть мы бы теперь не читали всего писанного им за одиннадцать последующих лет. Невозможная эта перспектива отчетливо (и письменно на этот раз, а не устно) обрисована самим Пушкиным уже за год до восстания прозревавшим ее... «Когда бы я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему: Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи. Александр Пушкин поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством...» Разговор этот, столь счастливо начавшийся, кончается, однако, плохо: «...тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму *Ермак* или *Кочум*, разными размерами с рифмами».

Как бы ни верить в гений Пушкина, наличие «Полтавы» и «Медного всадника» вместо этих сибирских поэм для нас предпочтительно. И через пять почти лет, в болдинскую осень 30-го года, Пушкин находит время набросать для потомства (для нас) заметку о «Графе Нулине», соединяющем обе возможности (Михайловское с Сибирью): «Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть».

Пародировать историю... Заяц, оставшись в канве «Графа Нулина», в заметке не упомянут.

О суевериях Пушкина много анекдотов. Между тем чуткость Пушкина к приметам — не просто суеверие. В поэте проглядывает историк, в историке — поэт. Поэт, осознающий свое предназначение и пытающийся подчинить судьбу исполнению его, и историк, анализирующий неизбежность событий во времени и пытающийся предвосхитить их, используют приметку как инструмент для измерения будущего, обостряя в себе некое шестое чувство (предначертанность). Весь 25-й год Пушкин как бы прислушивается к гулу приближающейся Истории. Конечно, Пушкину до конца жизни не давало покоя то обстоятельство, что он не разделил судьбу своих друзей-декабристов. Он думает о друзьях в Сибири, ищет могилы на Каменном острове (Ахматова). Но обилие примет, повернувших его с пути на площадь, бросается в глаза. Со слов брата поэта, это был один лишь поп, почти на самом выезде из Михайловского. Со слов Осиповых, это уже три зайца и поп, да еще и совет кучера. В пересказе Погодина, это и белая горячка слуги, и два зайца, и поп. Вяземский же, вполне подтверждающий рассказ Погодина, несколько брюзгливо отмечает, что, «сколько помнится, двух зайцев не было, а только один». В этом помножении зайцев любопытно отметить и некоторую путаницу во времени и обстоятельствах их появления на пушкинской дороге, вполне объяснимых и неточностью свидетельской памяти. По рассказу тригорцев, Пушкин узнал о восстании, находясь у них, от их слуги и «страшно



поблденел». Стал он в тот вечер «очень скучен» и «говорил кое-что о существовании тайного общества». И лишь на другой день возникает история с его отъездом и зайцами. По словам же Погодина, излагающего «рассказ, не раз слышанный мною при посторонних лицах», Пушкин прослышал о волнениях еще 10 декабря и, надумав ехать в Петербург, отправился в Тригорское прощаться с соседками — тут-то ему первый заяц и перебежал дорогу, второй — на обратном пути, а там уже и поп окончательно останавливает его. Так что выходит, что Пушкин в сторону Петербурга и от собственного подъезда не отъезжал.

Как бы то ни было, Пушкина никогда не покидает мысль, что он мог бы быть на площади. Закладывая повозку, он знает о волнениях, но ведь еще не знает о выступлении 14 декабря... Этими «зайцами» Пушкин о б ъ я с н я е т с я с людьми, а не о б ъ я с н я е т. Что же, заяц помешал ему или остановил? И сколько тут суеверия, а сколько собственного пушкинского в ы б о р а в этом зайце? Следование суеверию подразумевает человеческую осторожность, в ы б о р же подразумевает решение, то есть определенную степень мужества, возможно, и более высокого, чем выход со всеми на площадь... В чем же мог состоять этот выбор?

Для этого надо попытаться отрешиться (чего мы уже проделать не способны) от Пушкина того масштаба и объема, которых он еще достигнет за предстоящие ему двенадцать лет, и от Пушкина того значения, которое мы ему придали за последующие полтора века, и представить себе хотя бы отчасти Пушкина накануне 1825 года. В тот момент, когда он впервые (декабрь 1824 г.), пусть в иронической форме, вообразил себе свое «сибирское» будущее...

Единственное, что мы можем сказать с уверенностью, что «сибирское» будущее легче себе вообразить, чем то, которое он изберет. Координаты его в 1824-м равны нулю: 25 лет от роду, Михайловское — конечная глушь его ссылки, дальше уже Сибирь, и слава первого русского поэта нуждается в некотором уточнении. О нем судят по «Руслану и Людмиле», а он уже автор «Цыган» и трех глав «Евгения Онегина»; репутация подражателя Байрону, даже русского Байрона раздражает его: он перерос его, а ему все еще предлагают дорости до него, даже тон лучших друзей, верящих в его гений, — педагогическое журение. Ему пророчат цель, которой сами не видят. Видение ссылки в Сибирь и проекты побега за границу сменяют друг друга. Будущее его остановлено извне и готово к взрыву. Похоже, что Судьба вызрела и толкает его на выбор. В этом состоянии он начинает «Бориса Годунова». Три былинные дороги, и он выбирает третью как самую неведомую и самую необеспеченную — высоту Шекспирову. Мало где мы можем поймать Пушкина на усилии; в «драме народной» оно видно. И впрямь нелегко враз вывести русскую литературу на пресловутую «мировую дорогу». Радость преодоления и выполнения задачи прорывается в письме к Жуковскому с мальчишечьей непосредственностью — «прыгал и хлопал в ладоши» (7 ноября 1825 г.).

Байрон, Шекспир, Гёте... Пока ему дают советы, как жить и как пи-

сать, — вот его ориентиры. Байрон пройден, Шекспир достигнут. Гёте?.. Единственный живой гений как раз наименее ему знаком. «Он знал немецкую словесность по книгам госпожи де Сталь...» Нам хочется, по этой логике, датировать «Новую сцену из Фауста» ноябрем, непосредственно после «Годунова». Столько в ней гения и легкости, столько окончательной победы на мировом пути, настолько Пушкин — уже Пушкин, и уже только Пушкин (не Байрон, не Шекспир, не Гёте...), что, право, можно предпочесть пушкинскую догадку о Фаусте самому «Фаусту». Так что Пушкин после «Годунова» и «Сцены...» — это уже не тот Пушкин, что год назад. Перебеги заяц дорогу Пушкину в декабре 1824-го, не остановил бы он его ни от чего, не только от рискованного, но и от безрассудного шага. Заяц, который перебегает дорогу в декабре 1825 года, перебегает ее уже другому Пушкину. Пушкина легко остановить на дороге на Сенатскую площадь потому, что это уже не его дорога. И он возвращается и пишет, в параллель еще неведомому ему, но ошутимо взбухающему событию, уже не «Годунова» «в духе Шекспировом», а пародию — «Графа Нулина»...

«В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? быть может, это охладило б его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить? Лукреция б не зарезалась. Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те.

Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде». Странное сближение Новоржева с Римом, Михайловского с Петербургом... Что было бы, если бы заяц не перебежал Пушкину дорогу?

Не опыт ли с зайцем сказался в «Графе Нулине»?..

Этот заяц, выбежавший на мировую дорогу русской литературы, имеет явную историческую заслугу. Вычислить место, где он выбежал, до сих пор представляется возможным с не меньшей точностью, чем определено было место пушкинской дуэли. Уже лет пятнадцать я предлагаю воздвигнуть в этом месте стелу — памятник Зайцу. Никто не воспринимает мое предложение всерьез. Между тем здесь нет ни иронии, ни насмешки — лишь более зрелое и цивилизованное отношение к Истории. Поворот ума, однажды достигнутый нами в одном лишь Пушкине...

## 2.

Заметка о «Графе Нулине» писана почти пять лет спустя, в его первую Болдинскую осень, поражающую до сих пор наше воображение своею чудовищной производительностью.

Состояние Пушкина во многом «рифмуется» с той его михайловской, годуновской осенью. Он начинает с того, что опять просится за границу; его не пускают и в Китай. Тут опять есть и Сибирь: по дороге он мог бы навестить своих друзей-декабристов. Ни то, ни другое — по-

молвка с Натальей Николаевной, событие, не менее определяющее судьбу, чем участие в декабрьском восстании. И Пушкин опять стремится сделать ВСЕ в преддверии новой жизни, как перед смертью. Не заяц, так холера помогает ему в этом. «Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихии писать». От «Гробовщика» до «Пира во время чумы», выстреливая чуть не в день по шедевр, перемежая «Повести Белкина» главами «Евгения Онегина» и без перерыва переходя к «Маленьким трагедиям». Вот к ним-то и тянется заячий след из 25-го года.

В Болдинской осени 30-го года нас поражает не только количество написанного, но и обилие жанров. Как будто писать подряд как-то все-таки понятнее и полегче, а тут все — разное. Между тем менять жанры — это способ вызволения творческой энергии. Пушкин меняет не только жанры, но как бы и авторов. Ибо Белкин и зарубежный автор драм, и не существуя в реальности, освобождают пушкинское «я», вполне занятое хотя бы дописыванием «Онегина». Пушкин пишет как бы в три руки, иначе такого не наворочаешь. «Иностранность» «Маленьких трагедий» облегчает ему вход в новый жанр. «Иностранность» эта все равно была бы необъяснимой в 30-м году, если бы не была зарождена раньше, еще в 25-м, где и заключен весь его предыдущий драматургический опыт. Еще в «Цыганах», потом в «Новой сцене из Фауста» (тоже перевод с несуществующего оригинала), потом в опыте переписывания шекспировской «Лукреции» на русский лад. Это переодевание, а не перевод. Это переодевание Шекспира в Пушкина, это перевоплощение Пушкина в Гёте — беспорный опыт, приведший к столь естественному воплощению Пушкина под маской переводов из Корнуолла, куда менее ответственных, чем сень Байрона, Шекспира, Гёте. С Корнуоллом уже легко справиться. Опыт «Бориса Годунова» для «Маленьких трагедий» сказался прежде всего в сюжете Марины и Дмитрия, имевшем свою, отдельную как бы от «Годунова» версию. Сцена родилась на скаку (буквально во время прогулки верхом) и так же оказалась обронена, на скаку. Не записав ее вовремя, Пушкин неоднократно сетовал об этой утрате: сцена, писанная заново, вышла, по его мнению, значительно слабее. В первом списке будущих трагедий, датируемом, возможно, началом 26-го года, «Марина и Дмитрий» стоит в ряду с будущими «Скупым рыцарем», «Моцартом и Сальери» и «Дон Гуаном». Мы не знаем, насколько раньше списка родились эти замыслы. Но как-то все это недалеко от того Зайца, обозначившего (пусть формально) состояние «мировой дороги» в творчестве Пушкина. Не только ведь «иностранность» и объем объединяют «Маленькие трагедии» в единство. При видимом разнообразии сюжетов и героев все они рождаются чем-то как варианты. Варианты путей таланта, варианты поэтической судьбы. Будто, ступив окончательно на свою дорогу, Пушкин перебирает эти пути, то ли выбирая из них, то ли переворачивая их для себя. Если «Моцарт и Сальери» и «Пир во время чумы» более или менее ясны в таком прочтении, то «Скупой рыцарь» и «Каменный гость» более косвенны и требуют истолкования. Дон Гуан, правда, тоже поэт, как и Вальсингам. Тяга поэта искушать Судьбу чревата расплатой — сюжет,

осуществленный Пушкиным на практике. «Скупой» (так в первоначальном списке) — по-видимому, вариация на тему притчи о «зарытом таланте»: дар надо раздать, иначе он будет разбазарен, как его ни стереги, причем не сведущим цену таланта потомком. Перебрав эти варианты поэтической Судьбы (и, по-видимому, ряд других) на уровне замысла, пережив их в себе, Пушкин отходит от них вплоть до 30-го года, увлеченный наконец открывшейся свободой. Случай, Судьба и Государство окончательно разводят его с друзьями-декабристами: их виселица и Сибирь — для него конец опалы. Как это все-таки точно в России! День суда над друзьями совпадает (случай ли?..) с выходом (наконец-то, через шесть лет!) первой книги пушкинских стихов.

В «Повестях Белкина» Пушкин тоже перебирает варианты, гораздо более актуальные для него в этот момент, — варианты брака. Все эти повести-невесты: венчания, женитьбы, семейное счастье... Похоже, что Пушкин успевает дописать ВСЕ. 19 октября, рифмуясь все с тем же 14 декабря, он *заканчивает* «Евгения Онегина», ритуально сжигая десятую главу. Не здесь ли, роясь в старых бумагах, набредает он на список «Маленьких трагедий», не здесь ли обдумывает он и ответ на критику «Графа Нулина» и пишет свою заметку о его написании, явно для потомков? Для столь краткой заметки, при столь разбежавшейся руке — чрезмерная правка... 13 и 14 декабря вписываются и зачеркиваются: «Сближения быв [ают] — Сближения случаются — Быть могут странные сближения». Варианты счастливых, перебранных в «Повестях Белкина», — все с героями, далекими от искусства, никак не поэтами. Перспектива женитьбы как поворот судьбы волнует Пушкина — естествен возврат к заброшенным замыслам, осмыслявшим варианты судьбы поэтической. Напрашивается сопоставить повести и трагедии как варианты тех и других судеб (семьи и поэзии). Главное, что Пушкин возвращается к основной линии раздумий рубежа 25-го и 26-го годов и воплощает ее.

«Пиром во время чумы» заканчивается эта осень. Опубликованием «Бориса Годунова» — весь год.

### 3.

В 33-м году пушкинский «цикл» заходит на третий круг. Тот же гнет неосуществимых замыслов, то же желание вырваться. Но даже для фантазий выхода нет: Пушкин женат, у него дети... ни заграницы, ни Сибири. Он едет в Оренбург (все какое-то подсознательное приближение к Сибири, к друзьям...).

Интересно, что, несмотря на столь важную роль зайца в его жизни, Пушкин не испытывает приязни к этому «зверку» (наверное, еще и потому, что никакой заяц уже не способен переменить его участь...). Вот он описывает жене из Симбирска: «...выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Чорт его побери, дорого бы дал я, чтоб его затравить. На третьей станции стали закладывать мне лошадей — гляжу, нет ямщиков — один слеп, другой пьян и спрятался». (Как и в 25-м...) Дальше

следует описание перипетий с возвращением назад в Симбирск. И опять: «Дорого бы дал я, чтоб быть борзой собакой: уж этого зайца я бы отыскал». Символично, но заяц как бы не пропускает Пушкина в Азию. Вспомнил ли Пушкин *того* зайца?

Наташа! Там у огорода  
Мы затравили русака.

(«Граф Нулин»)

Но впереди — еще одно Болдино. Там «Медный всадник», «Пиковая дама»... Жить опять можно.

Жизнь без вариантов. Жена, дети, мундир... Потребность единственно возможного побега — творческого — становится хронической, ежегодной.

В 36-м побег этот особенно жестоко сорвется, безвыходность особенно обозначится. То, что раньше вело к замыслам побега, приведет к дуэли. «Причины к дуэли порядочной не было, и вызов Пушкина показывает, что его бедное сердце давно измучилось и что ему хотелось рискнуть жизнью, чтобы разом от нее отделаться или ее возобновить» (А. С. Хомяков — Н. М. Языкову). Мысль Пушкина в 36-м все чаще обращается на Восток, в сторону Сибири, он будто отворачивается от Запада. Взгляд его упирается в края империи — Камчатку и даже Америку. Даже в его «Памятник» забредет неведомый Пушкину тунгус, из письма Кюхельбекера, не иначе.

А что? Не дай Наталья Павловна пощечину графу Нулину, может, история тоже поменяла бы ход?.. Не перебеги заяц дорогу... поспел бы Пушкин к Рылееву 13 декабря? И был бы Пушкин, автор «Ермака» и «Кочума», с бородой лопатой, как у Трубецкого или Волконского, в дружеском бородатом кругу, пахал бы да учил... сибирский долгожитель, реабилитированный в 56-м вместе с Пушиным... *Голос врага* (Булгарин): «Корчил Байрона, а пропал, как заяц». *Голос друга* (Матюшкин): «Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев! Как мог ты это допустить?»

## Смертью смерть не попрал

Смертью смерть не попрал,  
А загнулся — так это зовется.  
Словно вечный капрал,  
Не дождался, увы, производства.

Тут недодали. Там —  
Воздадут по делам, как известно.  
Бессловесным скотам  
Все же легче: они бессловесны.

В нашем случае — кто ж виноват?  
И зависит декорум  
От того, сколько был вороват  
Бег во тьме по кокорам.

Не постился, прелюбы творил,  
Зуб имел на богатого кума,  
Говорил, говорил, говорил  
И не думал, не думал, не думал.

Оправдания нет...  
Ну а если возможна утечка,  
И в Новейший завет  
Новый мученик вставит словечко:

— Я ли, Господи, жил —  
Клоун сразу и белый, и рыжий!  
А ведь не наложил  
Рук на горло себе! А ведь выжил!

\* \* \*

— Неужели вы это едите?  
— С преобладающим аппетитом едим!  
— Так бегите! Чего ж вы сидите?  
— Да куда? Хорошо же сидим!  
— Неужели вы носите это?  
— Неужели нам это нейдет?  
— Но должна быть какая-то мета...  
— В смысле — «цель»?  
Так вперед и вперед!  
— Ну а как же углы, боковины?  
— Там одна только рухлядь и грязь...  
— А отмаяли хоть половину?  
— С ветерком — будь на то наша власть...

\* \* \*

За великую честь  
Почитаю и ранг пустосвята!  
Я не знал, что Ты есть,  
Но с рогаткой не вышел на брата...

Нить в иголку продень,  
Вышей крестиком поле Творенья...  
Для иных Судный день —  
Знак вниманья и жест примиренья.

И сажает Создатель цветы,  
Вызолачивает воротцы,  
Ибо кто, как не ты,  
Человек, греховодник мой кротций!

\* \* \*

Не знаю, как у чудей и мерь,  
А на святой Руси  
Закон бытия троичен:  
Не верь,  
Не бойся  
И не проси.

С первой заповедью не спешу  
Я расквитаться, но  
Уже не боюсь и не прошу  
Никогда ни о чем давно.

И у свободы так мало прав,  
Что и в епитрахиль  
Въедается лагерный устав  
И лагерная пыль.

Располагайся, грянувший хам,  
И под себя гребь!  
Но точен будь, ибо даже там  
Не сказано: не люби!

И будешь сыт и пьян в соплю  
Ты за свое фуффло.  
И если я кого и люблю,  
Так это тебе назло!

\* \* \*

Господи, избави от позора —  
Контролера или ревизора,  
Очи их от жертвы отведи!  
Переброшу сумку из «болоньи»,  
Стукну по компостеру ладонью —  
Вдоль салона брызнет конфетти.

Почему бессущностно и зыбко,  
Если в фальшь не ставится ошибка?  
Знать, стряслось такое на веку,  
Что напрасен в перстне дар Изоры,  
Что застыли даже светофоры  
В изумленно-скорбном начеку.

Умилясь законностью основы,  
Я проеду восемь остановок  
У мемориалов на виду.  
Я сама приду, коль захвораю:  
— Помогите, братцы, умираю!..  
Но никто не верит, что приду.

\* \* \*

*А. Еременко*

Теплом несет из заовражья,  
Тайга оттаяла на треть.  
А наше дело доходяжье —  
Чинарь сосать и пузо греть.

И тары-бары-растабары  
Пускать начальнику вдогон...  
Кто жил на эти гонорары,  
Уж тот ничей не эпигон.

Нас диалог вести по фене  
Подначивают паханы —  
Мы правим лезвие на вене  
И ничего им не должны.

Не до конца переломались  
И потому не в кураже,  
Но в эту масть не поднимались  
И не поднимаемся уже.

## Прогулка

По переулку имени борца  
Ученый сын ведет дебильного отца.

Сын допускает смутную вину.  
Отец пускает в бороду слюну.

По переулку кружит листвобой...  
— В маразме можно жить, —  
сказал Толстой.

Какое это счастье — по прямой  
Идти не в богадельню, а домой!

И, тьфу-тьфу-тьфу, на то он и маразм,  
Чтоб жизнь не представала без прикрас.



Отец смеется и на все плюет,  
И сына своего не узнает.

\* \* \*

Матушка-загогулина,  
Сколько же недогуляно!  
Матушка-отчебучина,  
Сколько недополучено!

Словом, тайком затверженным,  
И языком отдавленным  
Плачу, как по отверженным,  
Я по твоим отъявленным.

Матушка-червоточина,  
Сколько понаворочено!  
Матушка-живоглотина...  
Родина моя, Родина!

\* \* \*

Никого человечней тебя, человек,  
Не встречала под небом целинным.  
Так в глазах и стоит жизнерадостный грек  
С эротическим апельсином.  
Тучный римлянин, к юноше тянущий длань,  
Ражий скиф, скотоложец и пахарь,  
Мещанин, на окошке растящий герань,  
Полочанин, въезжающий в Тмутаракань,  
Честный немец, тачающий прахорь.

То в погоне за славою, то за строкой,  
Воскликая: «О Мать-природа!»  
То с дорожной клюкой, то с железной киркой  
Так и вижу тебя, сумасброда.

Приручаешь особенно крупных зверей,  
Копошишься в Божественном лоне...  
Никого — симпатичней тебя и мудрей,  
Безответней и одушевленной!

И кому ты на свете понятен, как мне?  
И кому ты такой еще нужен!  
В самодельной могиле, в бумажной тюрьме  
Я люблю тебя! Будь моим мужем!

\* \* \*

Край осыпается там, где стою, —  
Верую, Господи, в ревность Твою!

Не доливаю души сулею, —  
Верую, Господи, в радость Твою!

Греюсь в геенне и маюсь в раю, —  
Верую, Господи, в участь Твою!

## Венок геодезисту

Повесть

---

Как причудливо, и в принципе отнюдь не случайно, сопрягает память отстоящее от нас на годы и сиюминутное, сегодняшнее. Я далек от мысли, что это рулетка, калейдоскоп, поворачиваемый неверной рукой. Куст татарника не случайно оказался в литературе символом такого сопряжения. Господи, и сколько раз мы убеждались, что придумки литературы правят нашей вольной и подневольной жизнью.

С чего же начались эти наваждения? Почему в свое время, как сонные, отдыхающие рыбы, лежали эти воспоминания на дне памяти тихо, смиренно, даже не шевелили плавниками? Значит, время все обострило, подвинуло на подвиги приробевшую, обленившуюся душу? Но не могло же все в памяти двинуться, сорваться с уютных и принайтовленных мест только от рогульки, от сухой яблоневой ветки, посеченной топором? А впрочем, впрочем...

Этот караван впервые появился на Рижском взморье осенью.

Лето выдалось архитяжелое с катаклизмами на работе, изнуряющей, обезвоживающей жарой и семейными скандалами, спровоцированными денежной нехваткой, возрастом, который давал себя чувствовать, сварливостью и упадком сил, непонятной, щемящей грудь тревогой, — да и что еще можно было ожидать от високосного года?! А в конце лета, в последних числах августа, как гром: у Вадима, старшего брата, определили рак. Это тоже целая горькая эпопея: боже мой, наша знаменитая, хваленая и рекламно-бесплатная медицина.

Я гоню от себя лишние подробности, пытаюсь уйти в другую, уже чисто гражданскую боль, но что поделаешь, если искренность и вся совокупность деталей и моих ощущений этой невыносимой поры — все это и есть сюжет повести.

Во мне есть, наверное, что-то кандауровское (из Юрия Трифонова это). Я понимаю, что живу не совсем правильно, но жизнь мне представляется полем битвы, а каждый день — сражением. Мне иногда кажется, что я раб в Древнем Египте, с утра до ночи поворачивающий огромное колесо с привязанными к нему черпаками. Прикреплен к жизни. Каждый день надо поворачивать, бить в него, как писал классик Трифонов, «до упора».

Нет, все-таки для кого медицина? Кто попадает на эти роскошные зарубежные томографы, на дорогостоящий анализ крови, кому везет-не-везет с операциями на позвоночнике и сердце? Господи, да пусть лучше не попадает никто. Пусть лучше, как в раю, все чисто, сильны и здоровы. Да, конечно, кое-кто из самых простых

людей проникает в эти очаги «самой-самой» передовой, почти американской по оснащенности медицины! Ну а представьте, что между отчаянно жесткими подозрениями рентгенолога и следующим исследованием, когда необходимо при помощи довольно простенького прибора заглянуть внутрь человеческой утробы, чтобы подтвердить или отринуть диагноз и выработать план лечения, а коварный паучок тем временем, быстренько перебирая лапками, распростирается внутри, разоряя и сжигая внутренности, когда еще что-то можно было сделать, предпринять, спасти, хотя бы отсрочить, но в районной поликлинике между первым исследованием и вторым, подтверждающим, проходит так много времени — очередь! — что паучок уже успевает перебежать барьер, за которым этого паучка уже невозможно загнать в клетку.

Как она убога, эта наша хваленая и якобы бесплатная медицина! Убоги, конечно, не руки, которыми она творится, а та обстановка, в которой она прозябает, пытается действовать, идти вперед и быть милосердной. Уже много позже, когда брат метался от боли, перелезал с одной койки в четырехместной палате на другую, по мере того, как эти койки роковым образом освобождались, перетаскивал свое белье, одеяла, простыни, он обнаружил одно поразительное проявление ее нищенской бедности. На одной из подушек стоял штамп с датой еще военного периода. Почти пятьдесят лет назад, полвека! Сколько же на этой подушке умерло, испутив дух, людей! Сколько последних слов и последних вздохов слышала она! Каждое перышко в ней напоено знанием и печалью. Но как за сорок с лишним перетерлись, превратившись в некую труху, пропитанную кашей знаний, пота и слез, все эти перышки. А испорченная сантехника, а теснота и духота в палате!

Тогда — «до упора» — я выложил, чтобы устроить Вадима, наверное, в лучшее, головное медицинское научно-исследовательское учреждение, где «специализировались на желудках». Пришлось закрутить единственные, уникальные, неповторимые связи, которые практически берег для себя, включить каналы, по которым можно было обращаться только один раз, только единожды. Это было как схватка, как ближний бой десантников в темноте. Но как же попадают туда все остальные?! Какие случайности и какие связи спасают простого человека?

А может быть, все по-прежнему разделено на богатых и бедных? Или так: на простых и управляющих. На простые, плебейские роды и роды сановные. О, эти сановники от народной власти! И первые, зарабатывая собственным, в поте лица, трудом на воскресниках, вносят эти свои копейки на строительство разных медицинских центров, а вторые в этих центрах лечатся? И лечатся их родственники, жены, дети и тещи.

Или не рыпаться, все предоставить судьбе? О, как мудро в свое время поступила наша с братом мать, отказавшись и от операции, и от уточняющего исследования. Моя колотьба только в одном сыграла свою роль: Вадима распорол маг самой высокой квалификации, носитель истины в последней инстанции, может быть, в самом

высоком святилище, распорол — от подвздошной кости на груди до лобка — и, потеряв интерес, предоставил ученикам приводить в порядок и слегка, косметически, штукатурить фасад — дело было безнадежное.

Пока надо было проявлять чудеса дипломатии, обзванивать знакомых, искать связи, зацепки, высчитывать степень заинтересованности людей во мне, а следовательно, и их готовность помочь в беде, пока надо было пробивать, координировать, добывать, пока можно было отвлекаться сбором информации о зарубежных чудодейственных средствах, тешить себя надеждами, отодвигать по извечному инстинкту самосохранения неизбежность и трагичность происходящего — все было еще сносно, почти привычно, еще впереди маячил «шанс», надежда, вариант чуда — «в этой болезни, как ни в какой, случаются чудеса», но когда маг сказал прямо, определенно и за его словами стояла и реальность, и мертвая пустыня, которую увидело в потаенной глубине его око, и потухший профессиональный интерес, когда он сказал: «Ох, эти блатные, а я ведь мог кому-то принести реальную пользу», — вот тут... Что же случилось тогда со мной?! Почему у взрослого мужчины такие слезы? Да разве слезы о чем-нибудь говорят? Даже плохие актрисы иногда умеют плакать на сцене когда угодно и сколько угодно. А тут будто душу разломали надвое. Жалко себя? Обидно, что этого дела — даровать, вернуть жизнь, отнятую судьбой, — ты не можешь, не дано тебе выбить, умолить, изменить бешеный пасьянс клеток. Испугали неизбежные подсчеты, сопоставления, ведь я младше брата всего на четыре года. Значит? Значит, ты — следующая на мушке у судьбы. И нельзя сказать, что очень уж любимый брат, единственный — да, но даже иногда не верилось, что нас родило одно чрево, одно лоно. Образ жизни, манера думать, привычки и стереотипы брата — все разное. А если поглубже, поточнее... Поточнее? Тогда — брат раздражал, претендовал на общую духовность, претендовал на активное родство. Да мы в одной комнате больше трех-четырёх часов пробыть не могли!

Только раз за последние три или четыре года поехали ко мне на дачу вдвоем. Да и то это совместное путешествие произошло не из-за душевной необходимости — правил прагматический расчет. Там пожарили мясо, а перед этим долго копались по хозяйству, пилили дрова, убирали дачу после летнего семейного разгрома, потом сели за стол, выпили, и тут впервые пролетела какая-то искра, что-то общее забрезжило, законтачило. Когда уже в Москве возле метро Вадим вылезал из машины, то сказал: «Впервые по-человечески поговорили». И это было правдой, действительно впервые в том, происшедшем на даче разговоре возникла теплота и какое-то неведомое прежде ощущение братского единства. А может быть, это закон жизни: любовь всегда несчастлива и всегда приходит слишком поздно, когда уже нет сил любить?

Но летом, после слез, истерики и рыданий, сотрясающих тело и так сладко напоминающих детство, после этой роковой операции, вдруг опять появилась надежда. Это эфемерное существо всегда появляется, когда его очень сильно ждут. Надежда появляется от

надежды. Возникли какие-то знахарки, лекари, мобилизующие иммунную систему, уже отправлены были приватные записки могущественным друзьям в Токио, Париж и всесильный Нью-Йорк с просьбой о чудодейственных новейших препаратах, и эти препараты вроде уже куплены и через таможенные досмотры начали свое движение к больному. Да и тот разрез от подвздошной кости до лобка, произведенный для тотальной операции, не был совсем бесполезным. Лечебное заведение, куда удалось поместить Вадима, считалось — не по внешним признакам, не по сантехнике, белью, качеству питания, удобствам в палатах, вентиляции — одним из ведущих, а может быть, «по желудкам» и головным в стране. Местные виртуозы знали, что делали, да и, видимо, в их аптечном арсенале и методиках тоже кое-что имелось. Во время этой тотальной операции, воспользовавшись огромным, позволяющим маневр разрезом, они обкололи опухоли, которые уже нельзя удалить, прорастающие и протаранивающие внутренние органы, препаратами химиотерапии, и все это внезапно и чудодейственно помогло. Уже через неделю после того, как у Вадима срослись рубцы и он — до следующего (через месяц) сеанса чудодейственной химиотерапии — вернулся домой, его, как говорил его сын Андрюша, было не оттащить от кастрюли. Ах, эта надежда, легкомыслие рассудка перед реалиями, позволяющая даже на трагическое взглянуть через розовое стекло. Но тут же возникло ухудшение, снова больница, энергичные врачи. Колебание стрелки уставшего манометра.

Как наивны все же представления человека о самом себе. Как склонен он недооценивать свои возможности, силу, душевную крепость. Я мысленно всегда предполагал, что способен, словно водолаз-глубоководник, вынести любые перегрузки. Мы не слабаки, наши души закалены в космическом огне времени, инстинкты посажены на замок и вытренированы разумом, как псы, прошедшие школу служебного собаководства. Мы давно разделили дело, неизбежные законы жизни — и собственные эмоции. Гей, взволнованные роботы доблестной поры! Ан, нет! В битве с судьбой до упора, когда, сжав зубы, подчиняясь логике рационального, пытаемся мы отвоювать позиции, мы, оказывается, тоже несем свои потери. Керамзитовая и кислотоустойчивая оболочка современных интеллектуализированных роботов кое-что пропускает. В общем, пока Вадима оперировали, выписывали из больницы, клали снова, пока брезжила надежда, я позабыл о некоторых встречах, которых добивался, поехал в обратную сторону по улице с односторонним движением, потерял бумажник, забыл на почте, заполняя квитанции на подписку, очки, оставил, уходя из дому, ключи в дверях, несколько раз на ночь не закрывал машину, а уже о не взятых в магазине сдачах, когда покупаешь литровый пакет молока и кассирша через весь зал истошно кричит, пытаюсь вернуть девять рублей тридцать четыре копейки или не пытаюсь вернуть, — об этих случаях нечего было и говорить. Вокруг начали поговаривать, что журналист и писатель сбрендил, да и сам я, железный и керамзитовый, почувствовал: в моей собственной психике происходит что-то необратимое.

И тогда жена — она женщина, что называется, современная, привыкшая держать мужа под своей властной рукой, — сграбастала меня и на десять дней определила в Дом творчества в Мелужи под Ригой. Вернее, она сама вынуждена была уехать в отпуск — все у нее рассчитано: когда сдавать в издательстве книжку, когда верстки, когда разбрасывать камни, когда собирать урожай, когда эту книжку писать, чтобы не опоздать со сдачей, в общем, у нее тоже была экстрема, положение безвыходное, последний рубеж, — отбыла. Но перед отъездом, не спрашивая у меня, купила мне билет на самолет туда — 4 ноября и обратно — 10 ноября. Поставила перед фактом. Сказала: «А в Доме творчества деньги за твоё проживание и питание я внесу сама. Не карауль — все равно судьбу не укараулишь». А может быть, она, женским, провидческим чутьем понимая, что мне еще впереди предстоит, заставляла меня взять передышку? Но так или иначе, всегда, якобы устраивая чужие дела, женщины заботятся и о себе. А может быть, она и права: я не перенес бы того, что потом случилось, хотя другие же переносят все смерти самых близких и дорогих людей!

В первый же день пребывания в Мелужи я и увидел караван.

Это иллюзия, что можно от чего-то уехать. Нити, соединяющие с родным человеком, не рвутся, незримые, телепатические связи восстанавливаются, как затягивается след человека в болотной жиже: пройдет немного времени — и снова напряженная и гладкая поверхность. Так и в этот раз — освобождения от внутренних обязанностей не произошло, постоянно живущая душевная боль за Вадима преследовала меня и здесь, на побережье. Чувство свободы, как, впрочем, и всегда, появилось лишь во время недолгого перелета до Риги. Пока ехал на автобусе на аэродром, пил кофе в буфете, регистрировал билет, сговаривался с таксистом, искал Дом творчества, пока обустроивала меня жена и сразу же попыталась «про запас» — почти без моего желания — покормить. Женщины кормежку мужчины считают своей главной обязанностью.

Я ведь и сам полагал, что нельзя постоянно находиться в некоем экзистенциальном напряжении. Грешно и себялюбиво предаваться печали и предугадывать судьбу. Может быть, за эти несколько дней, что меня не будет в столице, все и образуется. Вадим пойдет на поправку, и значит, и значит, будет спасено от ужаса предстоящего и несколько моих дней. А потом?! Ведь есть естественный ход и черед жизни, когда мы по одному, в узко отворенную дверь спускаемся на самый нижний этаж нашего бытия. Бытия, бытия, потому что крепки мы своими могилами.

И вот первые часы в Мелужи, это был словно выдох после длинного и утомительного бега. Боже мой, оказывается, кроме собственной и братовой боли вокруг простирается бесконечный и разнообразный мир. Как он, этот мир, велик. Море, чайки, иная архитектура, береговой песок, белесое марево на горизонте. Может быть, справедливо сказано в Писании, что надо заниматься живыми. Ну зачем же я замуровываю себя в этой боли и свожу все свои помыслы к больничной палате, доставанию черной икры, которая

у этих специфических больных обладает некоей магической и целебной силой, к добыванию лекарств, переговоров с врачами. А как же я сам, моя собственная работа, мой взгляд? О, благодатное, целебное и исцеляющее взморье.

Мы с женой гуляли по пляжу, утрамбованному накатом волн. Дралась чайки, деля скудную добычу. Интересно, где они умирают? В волнах, над морем? Или, как и рождаются, где-нибудь в береговых расщелинах? Может быть, на лету отказывает сердце и птица через зеленые волны, распутив мокрые крылья, медленно падает на дно, во мрак. Видел ли кто-нибудь трупик чайки, навеки уснувшую птицу на земле?

В могучем сосняке, растущем на дюнах, поскрипывал ветер. Оттуда, с земли, где притаились дома поселков, иногда доносился наперченный запах сгоревшего каменного угля и сырой растопки. А со стороны примороженного моря пахло холодной прелью. Да что же мы видим в своих утлих городах?! Как неверно и несправедно текут наши суетливые дни. Какое счастье и прелесть вот так идти вдоль берега, и отблеск заката навсегда врезается в твою память. А что мы унесем, кроме этой памяти, с собой в могилу? Так, значит, как можно больше впечатлений? Как обжора, вбить в себя картины экзотических лагун, разрушающихся храмов, тропических рош, перевернутый — Южное полушарие — полумесяц, разливы сибирских рек. И запомнить, запомнить, а потом так с собою и унести. А бессмертная душа, разве ее выдрессируешь жить по скучным законам логики? Как она, с ее атеистическими привычками, вредит доблестному телу! Да ты что, дура, своей выгоды не понимаешь?! Все кончается твоим собственным бытием. Еще не доказано, что мир существует «вне». Чувствую — значит существую! Тогда чего лезешь, жизнь — она очень коротка, и ты не на учениях по спасению утопающих. Отметки тебе никто не выставит и похвальной грамоты не вручит.

Ничтожное крохоборство эгоистичного интеллектуала! Ты ведь все знаешь наперед! И меру своего сострадания, и невыносимую боль, и невозможность любоваться закатом, когда даже умом предполагаешь, что где-то, за тысячу километров отсюда, на больничной койке мучается родная душа и родное тело. Если бы ты об этом не знал! Но ты знаешь и только для окружающих можешь делать вид, что ничего не происходит: ты ровен, спокоен и мужествен. Вот и вернулось! Самолетные скорости лишь на время рвут эти непонятные связи. Чужая боль догоняет, воссоединяясь с собственной болью и умножая ее. Чьи же ладони сейчас так крепко сжали сердце? Не убежишь от себя. Вот так, а теперь надо найти в себе мужество не испортить чужого отпуска и чужой работы. «Тебе не кажется, дорогога, что вон то облако над трубой котельни напоминает ласточкино крыло?»

И в этот момент из сосняка на дюнах, не торопясь, позванивая колокольчиками, подвязанными под шею, вышел небольшой караван верблюдов. Три верблюда, привязанные друг за другом, шли величественно, брезгливо пожеывая губами, реальные до сумасшествия.

Отчетливо бросались в глаза ковровые яркие переметные сумы, мягкие седла и нарядная, в бляхах и кисточках, упряжь. Того гляди появится и Юрий Сенкевич. Здесь, на балтийском пляже, это была особая форма миража. Некая иллюзия воображения, когда картина пропечатывается лишь на сетчатке глаз. Особая, «сухая», безалкогольная форма белой горячки. Но самое поразительное, что на этих верблюдах сидели до боли знакомые всадники. Три героя, умопомрачительные в своей характерности, как персонажи Леонида Гайдая — как Трус, Бывалый и Балбес, но только герои из моего собственного кинофильма. Может быть, главные, судьбоформирующие мою жизнь. У них уже давно были свои, из собственной мифологии прозвища. Здравствуйтесь, красавцы! Но только почему они появились здесь и что предвещало это появление? Что объединило их, действовавших на разных страницах моей биографии? Что за отчаянная заноза в подсознании выпестовала этот порыв? С мягкого седла на спине дромадера поблескивал очками румянощекий и упитанный, словно булочка, Барчонок. У него есть и другая кликуха — Искусствовед. Сытая, пятидесятилетняя булочка. Такой издалика румяный, такой добродушный и доброжелательный, такой ласково-славный. Но я-то недаром сидел с ним несколько лет стол к столу, в одной комнате, я-то знаю, какой снулый, судачий взгляд за этими круглыми разночинными очками.

А за ним, за Искусствоведом, на следующем верблюде ехал Судья. Эдакий в глазах общественности чистосердечный и чуть пассивный Дон-Кихот. У нас тоже по этому поводу есть своя довольно несхожая с общественным мнением характеристика. Милый бессребреник-сухарь кое-что себе позволяет. Ну а третий — легендарный Трус, а по-нашему — Телевизионщик.

Но караван, как видение, уже ушел, надо переходить к ласковой и вежливой действительности.

— Да, дорогой, я тоже полагаю, что это облако похоже на ласточкино крыло.

Начнем с Барчонка? Искусствоведа — к барьеру.

Я задаю себе вопрос: не черная ли и неблагоприятная зависть, мать или сводная сестра многих пороков, заставляет меня все время вспоминать это румянощекое лицо Сашеньки Усольцева? Да в чем он виноват? Не увлекательные ли это игры судьбы постоянно сводят нас? Как же ворожат ее грохота! Но если зависть, то к чему: к сытому детству с манной кашей, несмотря на войну, и с пончиками на сливочном масле вопреки всеобщей бескормице? Не за наш ли счет — вот в чем вопрос! Но ведь зависть к не зависящей от нас раскладке генов — плохая зависть? Да мало ли портреты чьих отцов висели по праздникам на Центральном телеграфе! Так ли уж обязательно водружать ответственность за отцов на всех детей? Но есть нечто надгенетическое в самой линии поведения Барчонка, в этом осторожном, размеренном лисьем шаге, с которым Барчонок шагает по жизни. Да мало ли кто не торопясь шагает? Разве ты, вояжер



Рижского взморья, сможешь что-нибудь доказать? Разве, кроме своего зыбкого ощущения внутренней недоказуемой правоты, сможешь бросить что-нибудь на стол, как вещественное доказательство?

Разве примется в доказательство, как несколько лет ты сидел с ним стол в стол в редакции «Племени молодых»? Что из того, что ты мог рассмотреть подробно его лицо, складки фамильного жирка на молодой шее, бисеринки пота на верхней губе — это от старания, когда он, приоткрыв рот, «упрощал» статьи всех авторов и сотрудников. Упрощать, выпрямлять стиль, делать все ясным — это был принцип. И ты всегда поражался, откуда эта стариковская, осмотрительная мудрость. И, конечно, знал ответ, потому что ежедневно входил в дверь, на которой была начертана его громкая фамилия, естественно, повыше твоей — зав. отделом. Мудрость, осмотрительность и осторожность — это действительно впиано с манной правительственной кашей.

Пожалуй, определено — теперь уже можно в сторону отложить детские обиды и анализ провести с холодной головой, — определено, соображал ты повеселее своего зав. отделом, а писал посвободнее и поэнергичнее. Тебе даже казалось, что свои замечательные и многодоказательные статьи этот юный столоначальник, толкаемый поперек своих сверстников незримой рукой, высекал пером, как шахтер в забое пласт угля. Будто слышалось, как изнывало и скригело стило под тяжестью абзацев. Может быть, так на старых жюльверновских и стивенсоновских парусниках скрипела в бурю мачта! И еще, читая эти абзацы, в которых ничего не было от молодости и чувства, а лишь унылый, стариковский академизм, вставала веселенькая картина безбрежной правительственной квартиры, отцовский кабинет, превращенный в рабочую комнату молодого театроведа и журналиста, со старомодной кожаной мебелью, в которую падаешь, как в колодец, с сонной тишиной в коридорах, отключенным телефоном: тс-с! Сашенька работает! Какие тени сновали по этим коридорам! А может быть, действительно, имущему прибавится? Раб обязан принести жемчужину господину. Ты хорошо помнишь, как господин сидел в крошечной, почти ведомственной газетенке и, естественно, — фамильная черта — руководил в крошечном масштабе нашей доблестной культурой. Он уже сделал в этой газете свой первый шаг. Да и мы, его сверстники, соученики по университету, как-то не удивлялись, потому что мы уже были пристроены, в молодом задоре презирали административные газетные должности, будто без них так легко пробиться. Писать, писать и только писать. Ну а Александр, если уж он так — общее мнение — бездарен и к настоящему писанию не имеет склонности, пусть потеет в редакции и вычитывает гранки, заявляет материалы и выколачивает у шефов командировки пишущим и одаренным людям... Каждому свое. Он сидел, потел, ласково отдувался, делал все, чтобы подзабылся зловещий для культуры смысл его фамилии, и кто бы мог подумать, что столько точности и разумной дисциплины окажется в этом балованном дитяти, возвращенном на правительственных подмосковных сливках. Все как-то подобрили к нему и, кажется, забывали грозное

имя, которое он носил, имя одного из ближайших Подручных. Только изредка, глядя на него, кто-нибудь из его сверстников вспоминал по портретам лицо отца нашего Саши, шептал спасительную формулу, изобретенную в то, сашиного папочки время, и поражался мысли, что этот аккуратный редакционный сиделец над гранками зачат от семени одного из наиболее ловких монстров трагической эпохи, чьим именем даже был назван один из российских городов. Подождите, подождите, кто же это придумал термин «нерусские национальности»? Ты, мой милый автор, мог это и позабыть, тебе простится, а вот сынок из громкой династии забыть этого не мог. Этот термин надо было отмывать ежедневно. Недаром все тяжело замешанные либеральные статьи об искусстве доблестного сына сплошь, до тошноты пестрели словами «этика», «мораль» и «нравственность». Интересно, стал бы либералом гипотетический сын Малюты Скуратова?

Да, да, слово «либерализм» тоже произнесено не случайно. В то удивительное молодое лето жизнь была на подъеме: все казалось достигаемым и осуществимым. Еще был жадный вдох после XX съезда партии. Все надо было вобрать, прочувствовать, изведать. И как только успевалось! Книги, выставки, концерты, фильмы. И, конечно, именно та знаменитая художественная выставка самых последних дней минувшей оттепели в Манеже. Ах, эти наивные живописцы! Что-то не только от унылого, казенного реализма эпохи монстризма, в экспозиции проскользнула некая воля, стремление и возможность к поиску новых форм и новых ощущений. А значит, вопрос: так немыслимо быстро откликнулась доблестная и правдивая пресса на это культурное явление по собственному вольному пошибу или в силу тяги к либерализации? Пожалуй, только частными стараниями — все газеты немедленно откликнулись небольшими зондирующими репортажиками. Зондаж оказался удачным. Начальство, вообще слабовато разбирающееся в искусстве, пока молчало, тем самым провоцируя редакции на дальнейшие либеральные акции. Но кто же предполагал, что по поводу этого рядового явления культуры — выставки чуть-чуть современной — выскажется еще и сам Хозяин! Кто ожидал, что веселый неожиданный Хозяин оставит свои кукурузные успехи и заботливо взглянет на интеллектуальное поле. Ах уж эти интеллектуалы от забоя и от сохи! Да, да, это все произошло и случилось накануне выходных дней.

Ты, доблестный будущий писатель и скромный летописец вихнутаго века, только что побывал на модной выставке, почти без дела забрел в редакцию к своему одутловатому, как тюлень, однокашнику. Но ты еще не знал, даже не мог себе представить, что на следующий день под вечер Хозяин с суровым доглядом посетит эту выставку и она ему не понравится, а еще через день утром, как на зло, вызывая естественную ярость самого Хозяина и самоспровоцированный гнев его лизоблюдов, все газеты выйдут с хвалебными — о, аллилуйшики от либерализма! — статьями на эту выставку. Кто мог такое предположить?! Мог ли ведать об этом маленький журналист, возомнивший себя будущим писателем?

Ему необходимо было лишь продемонстрировать новые, склепанные по американскому образцу порточки и отсветить перед родовитым тюленем своим раскованным видом, загорелыми руками, попросту сладко, коли повезет, потрепаться. Университет в биографии был слишком недалече, и в мироощущениях бывших однокашников еще, казалось, преобладало равенство.

В кабинетике молодого газетного бюрократа никого не было: заваленный черновиками и тасовками стол, папки, справочники — молодой начальник блуждал в административных лабиринтах редакции. И тогда раскованный и свободный человек решил занять себя чем бог подаст, неспешным чтением. Газетные гранки — пусть гранки. И молодой гений вперся по-юношески любопытным взором в папку загонных гранок. Не очень-то, правда, этичный поступок — изучать чужие редакционные тайны! Верхней статьей в этой папочке лежала статья о выставке знаменитого официального либерала. Значит, и в тебе, милый гений, еще в юноше, жило уютное чутье конформиста, позволяющее знать, что будет ругать начальство, а что будет хвалить? У сына, внука и племянника лагерников — интуитивное знание духа эпохи? Или ведовство социального психолога, умеющего из незначительных газетных дефиниций вывести результат? А в общем-то, нечего особенно гордиться: всегда нетрудно предугадать нехитрую игру идеологии, система ее и строго охраняемые ценности реконструируются весьма легко, а дальше срабатывает чистая логика. В общем, когда, попыхивая, как радостный морж, заведующий отделом культурных новостей маленькой молодежной газеты вернулся в свой кабинет, его университетский товарищ не без доли радостного садизма изрек: «Санечка, а мне, дорогой, кажется, эту твою хваленую выставку будут ругать». И не больше. Согласимся, и здесь уже прозвучала некая издевка: хоть ты и начальник, но — дурак!

До чего занятно для везунков ворожит время. Впрочем, карьерист, и сын карьериста, должен быть начеку всегда. Кто бы мог подумать, что так по-снайперски точно поступит увальень Санечка! Это генетическая точность аппарата. Да и кто бы другой принял легкомысленное, шепотное мнение сопляка всерьез! Мало ли что треплет языком разомлевший, самовлюбленный от молодости, прыти и собственной мнимой дальновидности вчерашний школяр! Но кто до конца ведает тяжелую артиллерию наследственности? Почему несмышленный щенок, какой-нибудь юный сеттер или терьер, взятый первый раз на охоту, сразу же делает стойку над притаившимся в гнезде чирком? Кто натаскивал, кто его учил и прививал навыки? Этот неопытный и не овладевший охотничьей грамотой пес знал все изначально и повиновался своему внутреннему умению, унаследованному от неутомимых охотников-родителей. Это из мира животных. Но удивительно, как быстро сформировались на уровне инстинкта охранительно-бюрократические навыки у человека. Сашенька, сын знаменитого и беспощадного идеолога-бюрократа, дедом все же имел ярославского темного крестьянина. Так откуда тогда такое чутье и поразительный охотничий нюх? Как быстро

у молодого розовощекого парнишечки могло сформироваться глубочайшее чувство осторожности и важнейший бюрократический навык — п е р е ж д а т ь. «Никаких убеждений!» «Никакого риска!» Долой все острые углы, непроясненные ситуации и сомнительные моменты. Если левизна — знамение времени, то это вовсе не означает, что ради нее стоит ломать собственную шею. Она, эта левизна, тоже ведь только предмет взаимовыгодной торговли. А шея пригодится. Господь Бог, создавая человека, не предусмотрел запасных деталей. Видимо, с колыбельки Сашенька усвоил, что нет ценностей выше и дороже, нежели его благоденствие. В его играх, в отличие от спорта, иногда важнее даже, чем победить или участвовать, вообще не явиться на соревнование. Эдакая заочная демонстрация прозорливости и силы. В повседневной жизни бюрократа риск совсем не благородное дело, а инстинкт безопасности сильнее страха брани и стыда. Брань-то, она на вороту, как известно, не виснет. В общем, сразу же после ухода из редакции будущего журналиста и писателя Сашенька проделал с точки зрения газеты невероятное: из уже подписанного к печати номера снял эту непроясненную статью. А вдруг? Прошел через брань типографии, через неодобрение редактора, через презрительные гримасы метранпажей, курьеров, шоферов, корректоров и уборщиц, которые, конечно, быстро узнали, из-за кого на несколько часов задерживается номер. Через все это он прошел, тупо и бесчувственно улыбаясь. И он выиграл.

Припомним и результат. На следующий день их величество Хозяин страны и демократии посетил вернисаж, а вышедшие в несчастное утро этого дня газеты со своими торопливыми восторженно-либеральными статьями оказались в чудовищном противоречии с вечерними высказываниями универсального интеллектуала и знатока. Можно только очень осторожно представить, какой принципиально-подобострастный скандал разыгрался в высоких интеллектуально-управляющих сферах. Какой смертельный недогляд! Надо немедленно реагировать. Подать сюда всех Тяпкиных-Ляпкиных! Несовпадение мнений извращенной от свобод общественности и по-крестьянски целомудренного полуграмотного Хозяина было расценено как страшнейший идеологический выверт, специфическое извращение и патология интеллигенции. Так, значит, долой этих гнусных фрондеров? Совершенно справедливо. Под корень этот цвет нации и заодно всех этих строчивших бойкие статейки журналистиков, всех этих не соблюдавших бдительности и невинности начальников — долой! Незаменимых у нас, как известно, нет!

Вся эта картина восстановлена была уже позже. А тогда этот юноша в штанах американского кроя не только не гордился своим извращенным идеологическим чутьем, а даже как-то не воспринял всерьез минувшую ситуацию. Результат для него был как бы само собой разумеющимся: если недавний однокашник и университетский приятель внезапно на волне идеологического погрома взлетел, внезапно поменял крошечное место на большое, стал начальником в одной из самых знаменитых в стране газет, то кого же ему звать и приглашать, чтобы поддерживали и страховали, как не своих,

на кого же, как не на своих, надеяться?! А все оказалось до чрезвычайности простым, даже элементарным: «небдительных начальников» разогнали, потому что «бдительным» начальникам важно было в этот момент проявить свою лояльность перед главным начальником, Хозяином и интеллектуалом страны. На освободившиеся места обьявили свежий набор. Вот так Сашенька и стал заведующим отделом в знаменитой газете. Мы, Александр Усольцев Второй! Это у нас фамильно-ярославское — руководить! Бдительного человека поставили на дело самое, в пожарном отношении, опасное — на культуру и искусство.

Определенно с тобою, милый друг, судьба играла в очень интересные игры: сидели на работе стол в стол, чтобы каждую минуту ты мог, подняв глаза, увидеть молодое розовое лицо, с годами все более и более походившее на знакомое по детству, по портретам на фасадах Библиотеки Ленина и Центрального телеграфа, упитанное лицо члена Политбюро, «сгоревшего» в подручных у Усатого Хозяина. У вас был даже общий телефон, стоявший где-то в приграничье так, что его можно было стягивать то на один стол, то на другой. Судьба ничего не делает зря. Сто раз в день, слыша в телефонную трубку: «Будьте добры, позовите Усольцева», — ты сто раз в день задумывался: «Боже мой, какая знакомая фамилия?! Что-то она с детства вызывает, вызывает у тебя в памяти?» И сам себе, передавая трубку цветущему ровеснику, отвечал на вопрос: вскоре после войны ты ездил с матерью в недавно перед этим переименованный из старинного боярского Петушанка в новый, социалистический Усольск. Мать возила тебя на свидание к отцу в лагерь, лагерь так в просторечье и назывался — Усольский. Даже шире — там был целый букет лагерей, потому что поблизости строили плотину, — Усольские лагеря.

Какое же заклятое, несправедное слово было произнесено нашим с братом отцом, что оно так отразилось на его детях? Сколько детских переживаний, юношеского ложного стыда — пока в 56-м все не встало на свое место; из Прокуратуры Союза пришла четвертушка листа бумаги с печатью, подписью, служебным грифом и одним желанным словом: «реабилитирован». Наконец-то был уничтожен зияющий вечной опасностью пробел в автобиографии. Ведь автобиографии писались по определенному, не такому уж глупому стандарту. «Я, — имярек, — родился в...» Первая строчка ни у кого никогда почти не вызывала сомнений. Ведь все когда-нибудь и где-нибудь рождались. Но уже следующее предложение: «Мои родители: отец — ...» После этого тире многим надо было хорошо подумать, потому что тире как испугительную жертву требовало не только дату отцовского рождения, но и ответов на вопросы: где он? что он? чем занимался? и, если занимается не своим делом, то за что? и по какой статье? Согласимся, это не малый груз, который вынуждена была нести детская, а потом юношеская психика. В обществе свободных граждан ты должен был

публично признаться, что ты раб и сын раба. Или по-другому: в обществе, где каждый день надсадно говорили о свободе и путях, которые открыты перед молодыми, ты должен был постоянно осознавать, какие пути закрыты перед тобой. Каков груз для детских плеч? Брат был на четыре года старше, может быть, по нему этот заряд официальной любознательности ударил сильнее? Может быть, действительно, все наши несчастья, недостатки, болезни и боязни вырастают из детства? Впрочем, нам с братом обоим судьба крепко поддавала после ареста отца. Какой детской инфекцией не болел я в детстве и отрочестве! В каких передрыгах не побывал мой вечно неблагополучный брат! О, крестники сталинизма! Но разве за себя свожу я счеты с судьбой?

Всю жизнь, с детства, неблагополучие стояло над головой брата, как полярная звезда над Северным полушарием. Он был старше и, видимо, обжигающую горечь социальной несправедливости осознал острее и раньше. А может быть, его драки, грубость, юношеская дружба со шпаной — это неосознанная форма социального протеста, вызов чужому детскому, пусть и сомнительному, благополучию. Сколько прелести и неосознанной социальной мести — набить морду барчонку. В этом случае мы с братом инстинктивно пользовались разной тактикой. Я — тихоня, не привлекать к себе лишнего внимания, вперед к поставленной цели, но обочинкой, сторонкой, скорее силой разума, нежели отвагой кулаков. В моей тактике — выждать, произвести глубокую разведку, заставить противника покопаться в собственных недостатках. Я — мастер компромисса, никогда не рвущий коммуникаций даже при самой крупной ссоре. Брат — другой. Может быть, это отцовское, мужское воспитание. Психология, вскормленная поступками? Он ведь хорошо помнил отца; я — когда его арестовали — почти нет. Во мне больше от матери и теток с их крестьянскими: «не высовывайся», «не болтай», «береги копейку». Брат острее ощутил и контраст: он был сыном директора военного завода, а стал сыном врага народа. Ему, наверное, надоело, что в школе, во дворе ему тыкали этим в нос: «безотцовщина», «яблоко от яблони», а может быть, и не тыкали, а еще хуже — по до з р е в а л и. Так пусть лучше подозревают в ином. Может быть, отсюда тяга к военной приклатненной шпане, все эти подворотни, курево, выпивки, конфликты со школой, а потом и с участковым.

Очень смутно сейчас я представляю себе молодость и отрочество брата. Но в нем и тогда уже был элемент рискованного самосожжения. Все на распыл! И, в свою очередь, это, конечно, привело к определенным последствиям. Звезда беды всегда светится над лучшими.

Опять не берусь диагностировать заболевания или высчитывать степень риска. Но высказу предположение: могут ли без последствий окончиться для человека напряжения духовных сил, затоптанные внутри себя, загубленные переживания, трагически ощущаемые обида и несправедливость? Я даже не представляю, как брат выкарабкался из обрушившегося на него, сразу после ареста отца, инфекционного менингита. Казалось бы, эти, такие разные, события нельзя сравнивать. Разве можно сравнивать газовое облако и шелест

дождя? Но разве мы знаем, как тяжелые коварные болезни приходят к людям? С чего начинаются? Мы только догадываемся.

Я хорошо помню, как умерла наша с братом мать. Вместе до приезда врача мы пытались откачать ее, когда внезапно остановилось сердце. Я всегда был для него младшим и маленьким, хотя маленькому уже было под сорок. Он заставил меня держать ей голову, следя, чтобы не запал, закрывая горло, язык, а сам двумя руками ритмично давил на грудную клетку. Тогда же я понял, у меня в сознании, испорченном профессиональной наблюдательностью, пронеслось: вот так же, ритмично и с силой нажимая на грудь, не паникуя, потому что на слезы нет времени, а сосредоточенно выполняя долг, брат действует не впервые. В поле, в своих геодезических экспедициях? Кого же он так деловито откачивал? Где приобрел этот свой трагический опыт? Что я знаю о своем родном брате?

А на следующее утро брат пропал и появился только после похорон матери. Запил? Не хотел ее видеть в гробу, чтобы в его памяти она навсегда осталась живой? Что ты понимал, наблюдатель, в этой душе? Но ведь проще всего было говорить о безответственности, черствости и безволии. И о какой воле можно толковать, коли еще в юности мозг человека был подвержен такому страшному заболеванию?

Любовь, ненависть, жалость или ревность ведут человеческую жизнь? В юности кажется — что любовь, а ближе к старости отдаешь предпочтение жалости. Но ведь и ревность не последний козырь при сдаче в покер текущих дней. Кое-кому кажется, что это чувство самое сокрушительное, потому что в нем намешаны, как в микстуре знахаря и чернокнижника, наиболее страшные снадобья. Толченый мозг лягушки? Растертый в порошок трут из веревки повешенного? Три капли крови младенца? А если немножко любви, но самой сильной, сжигающей, — капля ненависти, унция милосердия и много коварства? Это и есть гремучая смесь, называемая ревностью.

Знакома она тебе, доблестный рассказчик? Во всех многочисленных проявлениях и в самом сокрушительном: я ревновал мать к родному брату. Господи, покойники уходят, а чувства, которые они вызывали много лет назад, остаются, остаются с живыми.

Значит, тогда со своей дворовой компанией брат зашился, запутался, и по уличному кодексу, действовавшему тогда, во второй половине послевоенных сороковых, его ожидала какая-то весьма суровая кара. Ему — лет пятнадцать. Он вместе со своим приятелем придумал выход из создавшегося положения. Они бегут в Мурманск, поступают на флот. План становится известен маме. Приезжает Николай Андреевич — друг отца, он потом станет нашим с братом отчимом и впервые — человек он тонкий, деликатный, старого, еще дореволюционного замеса — показывает свою волю, силу, мужскую дерзость. Братик, кажется, схлопотал по шее. Нас с братом закрывают на ключ в квартире, Николай Андреевич с мамой едут на вокзал: брату будет взят билет в Саратов, у Николая Андреевича там директором геодезического техникума работает его еще гимназиче-

ский друг. Брат станет геодезистом. Брат, кажется, доволен таким исходом событий, по нему не заметно, чтобы он стремился вырваться и изменить свою судьбу. Ну а как же ревность? Должен сказать, что маленький мальчик, ставший в дальнейшем писателем, безумно, патологически ревновал свою мать. Но это был очень хитрый и коварный ревнивец. Может быть, он с детства знал основной постулат вора и убийцы: любое преступление должно замысливаться втайне! Ревность его сжигала. Ход с юнгой в Мурманске его устраивал: брат под боком у торгового или рыбного флота не пропадет, площадка для единоличной любви — любить и быть любимым! — освобождается, правда, к тому времени смутно вырисовывались некоторые претензии Николая Андреевича, но уж это был противник не опасный. И вдруг из-за решительных и совсем не деликатных действий этого воспитанного осколка прежнего режима будущее блаженство срывалось!

Сколько у нас, у каждого, есть в наших биографиях моментов тайного стыда. Через годы, обращая очи себе в души, мы замечаем, что, ныне честные и порядочные люди, мы не всегда вели себя безупречно. Чаще всего нас некому и не в чем упрекнуть, но ведь разве самые тяжелые грехи совершаем мы не в своих помыслах? Разве самые жестокие наши проступки не в наших мстительных мечтах? Разве в сердцах мы не кричали или не кричали нам: «Чтобы ты...»? И не призывали ли гипотетические страшные кары на головы наших недругов? Но ведь мы еще давали мстительные советы, не вовремя «проговаривались», злобно не хранили принадлежащих другим тайн, мыслили о людях дурно, не имея к тому оснований. Ревность ли нас к этому подвигала? Разнообразные, не лучшие чувства. А ревность, уже приготовившаяся одна владеть предметом своего страстного обожания, тогда дала брату коварный совет. Ревность, она была очень начитанна: она предложила бельевую веревку, по которой легко можно было спуститься с четвертого этажа, и форточку. И свою, естественно, братскую помощь. Ну а если бы веревка оборвалась и он разбился? Он ведь тогда мог и не стать геодезистом?! И кто бы тогда через двадцать с лишним лет откачал в геодезической экспедиции речника, практиканта в партии у брата, неожиданно оказавшегося сердечником? И кто бы в этом мире, в нашей семье осуществлял миссию простого, откровенного и праведного человека? Разве на специалистах по психоанализу зиждется этот бранный мир? Эти специалисты его лишь аранжируют и воссоздают, а строят и создают праведники с корявой и подчас незаметной в контексте всего обширного человечества судьбой.

Поступок этот, отмеченный лишь одной по-братски предупредительной фразой, до сих пор в извилистой судьбе рассказчика, видавшего многое, кажется ему самым страшным. По аналогии сюда очень хорошо ложится библейская притча. «Каин, а где твой брат Авель?» — «Я не сторож брату моему». А если не сторож, то что бы тебе сейчас осталось, Каин, вспоминать о брате! Ну ладно, пока не будем множить эти разрушающие воспоминания...



Воистину, в одном справедлива к писателям проклятая критика: худо обстоит у творческой интеллигенции с положительным героем. Верно, худо, но если бы кто-нибудь ведал, как неизмеримо труднее писать этого положительного героя, нежели выворачивать наизнанку мздоимца или бездельника. Да уж куда там, если не могу описать жизненный подвиг родного брата. Современное добро без его героического оперения трудно поддается художественному воплощению, ускользает, превращается на листе бумаги или киноэкране в благость.

Позже, когда брата хоронили в жуткий для середины ноября, пронизывающий мороз, можно было только удивляться тому, как много, несмотря на совсем неблагостный его образ в миру, собрала его смерть совсем незнакомых для его родни, каких-то посторонних и непонятных людей. Какие нити соединяли их с покойным? Ну, предположим, моей соседке по даче он как-то вырыл погреб. Ну, поставила она ему в знак окончания работы пол-литра, и после этого они разошлись, безумно довольные друг другом. Пришла. Пришел с двумя уже взрослыми детьми бывший практикант, которому где-то в горном распадке, на жаре делали искусственное дыхание. Ну почему такое огромное количество явилось еще и других неведомых мужчин и женщин? Откуда он их знал? Как скрестились их жизни? Какой незабываемый след оставил покойный в их судьбах? Но какая же глухая, наотмашь, зависть ударила, как только промелькнула эта, в общем-то, обыченькая по тривиальности мысль. А я? Какие похороны будут у тебя, книжный червь? Единственное их преимущество, что состоятся они за государственный счет. И в лучшем случае, если повезет, соберут хранящийся в подвале, разобранный на щиты катафалк и в малом зале или в фойе клуба литераторов водрузят на него гроб для товарищеской скорби. Неуютный сырой гробик, обтянутый красной революционной материей. Сколько раз бывал на подобных похоронах, где огромным усилием воли пытаешься сосредоточиться на чувстве печали, на невозвратности, на добрых делах, книгах и личности покойного, иногда даже выжимаешь вполне искреннюю слезу, но как крепко держит за шиворот суетное, как отвлекает оно от проблемско настоящего, тягуче-сладкого настоящего в нашей духовной жизни.

Сколько, оказывается, можно сделать для себя полезного во время традиционного горького прощания. Скорбное выражение лица — как пропуск — позволяет на этих бюрократически-траурных бдениях подойти почти к любому. Мы, дескать, все члены одной корпорации скорбящих! Но, подойдя к старшему и влиятельному скорбящему, можно заявить о своей лояльности и преданности этому руководящему лицу, выразить восхищение его последней книгой — и это не забудется при Балете социальной подчиненности, — подчеркнуть особую сердечную расположенность, а главное, «внезапно» обнаружить истинные отношения, иерархию, степень уважительности, а также «отсветить» в обществе и, если тебя недостаточно знают и помнят, на следующем социальном этапе постараться втемяшить, вбить в чужое сознание свой облик, персону

и свою приобщенность. О, как быстро мы, живые, забываем про покойников, еще недавно считавшихся кумирами. А если «полукумирами»? О, это товарищество кандидатов в лидеры и гении! Сколько в вас холодного, душенного эгоизма! Все забывается быстрее, чем высохнет типографский шрифт на некрологе. У изножия гроба суетливая ярмарка мелких тщеславий. Так, значит, нет настоящего горя? Отчаяние — следствие провокации и метафоры киноискусства? И проводы к вечному порогу, красные глаза, мокрые платки или заледеневшие в воспоминаниях лица — это ритуальные действия вроде брачных плясок журавлей?

А как же тогда воспринимать этих старающихся казаться незаметными на поле чужого, наверное, как им казалось, более сильного горя, как быть с этими неизвестными людьми, которые даже виновато, что вот они, одногодки, сослуживцы и соученики покойного брата, еще живы и так здоровы и краснолицы, гуськом, один за другим вышли из траурного автобуса, увозившего всех из крематория, вышли возле дома, в котором — уже когда-то, хотя только вчера, позавчера, — жил мой брат, и сначала бочком за бойлерную, потом к воротам, бочком, бочком... Не помешать, не напроститься на поминки...

Да, конечно, на наших литературных похоронах многое по-другому. Пытливый взгляд фиксирует, кто в почетном карауле, кто говорит речь, кого именно вдова или распорядитель позвали на поминки. Да, поминки в закрытом кабинете писательского клуба не ахти какое удовольствие: меню известно — закуски, рыбка, грибки, икорка, традиционные блины, — как говорится, не очень-то и хотелось, да и времени уходит масса, — но как обидно, когда тебя не зовут, отвергают, значит, не верят в исключительность твоего отношения к покойному, в искренность твоего пребывания на этих похоронах, в скомканный платок в руке, но ведь еще и лишают быть в компании, приобщенно переброситься парой-тройкой нужных слов, за поминальным столом во время трапезы договориться и о своем кровном. Правда, после этих поминок, уже дома, сразу, быстрее под горячий душ: что, торопишься смыть переедание за счет усопшего или недовольство своим заискиванием, воспоминание, как лебезил и говорил лишнее?

А этих, которые в своих потертых демисезонных пальтишках, соратники и соработники брата, в стоптанных сапожках, в спортивных не по возрасту шапочках, — догнать их удалось только у ворот: удрученная кучка пожилых людей с как-то по-кукольному недоуменно разведенными руками, направляющаяся к троллейбусной остановке. И сразу брызнули слезы умиления. Не хотят никого беспокоить: у вас, дескать, родные, а мы по-свойски, геодезисты люди полевые, без фасона, а мы по-свойски в гастроном и к кому-нибудь на квартиру, помянем, вспомним... Искренние, без тени позы или обиды. Простые люди, простые нравы, простые отношения. Но правят свои обычаи, крепко держатся своих нравственных норм. И все же завернул — плечиком, плечиком удалось, как гусей, погнать к подъезду. Негоже, усопший будет обижаться. Ведь сорок дней витает над

землей, прощаясь с миром и прислушиваясь к голосам живых и к их суду, душа, а уж потом прощается, улетает, парит поверх хрустальных орбит. И вот когда входили в подъезд, снова так ясно увиделись перешептывания на моих собственных похоронах, вопросы, сколько и чего осталось, и совсем не увиделись лица моих личных друзей. А может быть, в нашем полузавистливом мире их и не бывает? Как же сильно тряхнула совесть полузабытая детская зависть... Он ведь был из нас двоих лучший!

Какой же это шел год? Пожалуй, война закончилась, но еще существовала пропускная система, и — хорошо помню — в милиции, во дворе, раздавали пропуска на выезд из Москвы, вынимая их, вложенные в паспорта, из белой наволочки. Сколько, оказывается, людей, несмотря на стесненные обстоятельства, хотели передвигаться, ехать. И каким мужественным человеком была моя мать: вместе с двумя детьми отправиться на свидание к заключенному! Позор самого момента подачи заявления, позор возможного отказа на свидание с «врагом народа» и само путешествие на правах людей какого-то далеко не первого сорта. Но из наволочки — все-таки кто-то недосмотрел — не вынули отказа, и мы долго плыли по Беломорканалу, через шлюзы, мимо грандиозной скульптуры Сталина, плыли на пароходe, на открытой палубе; было холодно, из гальяна нехорошо пахло, проплыли торчащую из воды колокольню — удивительное воспоминание детства!

(И все же за длинную человеческую жизнь даже самые сильные воспоминания потихоньку угасают. Все забыл, утихомирился, но два года назад во время отпуска проплывали с женой по тому же каналу и вдруг услышали по судовому радио название пристани — «Переборы». Переборы. Пе-ре-боры. Пере-боры. И тут же я ужаснулся: как же я мог забыть!? Это именно та пристань, до которой был взят билет из Москвы. Пристань под Усольском.)

А вот как поднимались на берег по деревянной — это не воспоминания, это уже воображение, — по деревянной лестнице, как шли по глинистому шоссе к лагерной вахте, как разъезжались по осклизлому грунту ноги, в одной руке у мамы чемодан, а в другой, красной от напряжения, на запястье, авоська — нет, все это воспоминания «на ощупь». А вот подлинное: коридор с выходящими в него дверями, эдакая сельская гостиница, но у порога часовой. В комнате, куда нас запустили, было тепло не московским батареечным теплом, а печным, с легкой горчинкой пережженного кирпича и отслаивающейся побелки; из окна — земля без травы. А в комнате две койки, застеленные серыми одеялами с положенными на них стопками простыней и полотенец. Мама стоит у стола и разбирает сумку. Руки у нее дрожат, брат сидит на койке и болтает ногами. Мы ждем отца, в коридоре все время звучат шаги, кто-то ходит, гремит ведром, и вдруг брат вскакивает и кричит: «Папа!» И тут же открывается дверь — отец! Как брат сумел в этом топоте за стеной выделить незаметные шаги зека? Или подсказало сердце? И какой же здесь был удар для младшего брата! А может быть, и для матери? А вечером было так по-библейски счастливо и покойно. Над столом

висела все та же лампочка, обернутая газетным листом с темным на одной стороне прижаром, какая-то полунарядная, полунущенская снедь лежала на расстеленном полотенце. Из темноты выступали весело-печальные лица и руки, запачканные едой и жиром. Ветхозаветная трапеза, а может быть, Мария кормит свою разросшуюся семью по пути в Египет? На этом, собственно говоря, можно и поставить точку. Это был последний, хотя и за колочей проволокой, день семьи. Так вместе мы уже никогда не сидели. Время ведь способно распилить на кусочки любую верность. Возвращение отца, болезнь и смерть мамы, вызов юного геодезиста из экспедиции. Где оно, это счастливое и радостное детство, фундамент юности и жизни? Совершенно справедливо: никто не забыт и ничто не забыто. А как назывались эти гуманно оснащенные комнатками и домиками свиданий лагеря? Повторим. Да, они уже названы по городу, с которым рядом приютились, — Усольские. И так, один серьезный маленький мальчик, обжигаясь и перебрасывая с руки на руку, чистил горячую картошку под самодельным из газеты абажуром, а другой в этот момент... Ах, не хватает воображения, чтобы придумать, как же чисто и культурно проходит детство у другого мальчика-сверстника. Какая прелесть родиться сыном члена Политбюро и секретаря обкома! Отдельная детская с настольными играми и книгами, строгий режим под контролем врача из спецполиклиники, дача на берегу моря с вежливой, «любящей» прислужгой и меткой охраной.

Кто, интересно, подписывал ордер на арест, решение горкома об исключении из партии бывшего директора завода, который, радостно смеясь, как фокусник, как жонглер, перебрасывает горячую, сваренную на плитке картошку с руки на руку?..

Я совсем не отрицаю, что отношусь к тебе с предубеждением, мой замечательный сверстник! Но здесь не только судьбы отцов, но, боюсь, и нечто большее — точное знание о себе. Ложь, конечно, всегда одна, но ведь существует и смиренное понятие: «ложь во спасение». А если не во спасение, а, согласно семейной традиции, ради жирного, с маслом и белорыбицей, куска хлеба? Какое дурное впечатление производил один из великих князей, братьев или кузенов последнего царя, когда вывесил над своим домом красный флаг. Естественно, когда уже свершилась революция. Не «до». Да, вот и опять возникает тихая, как вечерняя песня, мысль о нравственности. Может быть, нравственно иногда и промолчать?

Ах, как хорош сверстник на экране телевизора в какой-нибудь команде публицистов! Как по-мальчишески не сдержан, взволнован, с каким гневом и страстью поддакивает любому, кто вспоминает сокрушительные дьявольские времена. Как гневом пылает его ушлое крестьянское лицо в круглых очках! Эдакий крестьянский Марат! Только очень уж торопится этот розовощекий, искренний Марат примкнуть и откреститься. А ведь хорошее это слово — вот так и слова, казалось бы, навсегда ныряя в глубинные пласты словарей, вдруг, через пятьдесят или семьдесят лет, всплывают

на самую разговорную, актуальную поверхность, снова начиная выражать глубинную суть духовных движений, — хорошее современное слово «открестился», так точно выражающее жизнь без настоящей исповеди и полного покаяния. Как зарядка, как сорок поклонов, чтобы не затекал солями позвоночник, и смешное всенародное крещение лба. Уже и тип людей выкристаллизовался, для которых телевизионный экран — эдакая паперть, где можно откреститься, рвение выдать за смирение, слова за покаяние и списать неотмоленные грехи. Проповедь нашего румянощекого Марата с современного электронного амвона всегда производила впечатление «отвлекающего момента», мгновенной и ожидаемой реакции подозреваемого человека, когда он торопится первым закричать: «Я не воровал!» Будет, дорогой младший Усольцев, мы-то знаем, как у вас обстоит дело с органическим восприятием искусств. Мы-то знаем, кто у нас не по умствованиям моды и выгоды, а по велению души «правый» или «левый», «либерал» или «ретроград». Знаем, что слыть «либералом» — модно всегда, но платят лучше «ретрографам». А если детская привычка к бутерброду с белорыбицей и семейный навык: правая рука не знает, что творит левая?..

Меняется ли с годами человек? Бесспорно. И разве не стал почти совсем иным мой ныне высокопоставленный друг? Румянец остался, но юный канцелярист приобрел некую степенность, сохранив выгодную, коммерческую деревенскую простоватость. Эдакий увалень, вооруженный университетским, не самым простым образованием и знаниями современного социалистического делопроизводства. И все же не изменился этот герой! Какие бы ни говорил он замечательные слова, какие бы зажигательные ни излагал идеи, для знавших младшего Усольцева с юности это была лишь ловкая словесная эквилибристика. Не мысли, а лишь предложения, не идеи, а подлежащие, сказуемые и дополнения. Он всегда актер, говорящий слова по случаю. Сын временщика, пытающийся изо всех сил и при новом «царе» попасть в фавор. Хотя бы не выпасть из числа придворных, сохранить динамику уже добытого идеологическим отче, сообразить, словчить, чтобы суметь постоять у тех же с кондиционным овсом кормушек да еще подольше подержать возле этих кормушек своих, взлелеянных на незаконном распределении общественных фондов потребления, собственных народившихся гладкошерстных жеребят. Рожденные и обжаренные на чистом сливочном масле скакунчики! Можешь сколько хочешь раз публично призывать к народной совести и камлать об исторической справедливости, друзья и соратники юности, мы-то помним, как начинался этот вития, что стоила его любовь к прогрессу и интеллигенции. И здесь совсем не мелкая мстительность разных детских судеб, не зависть к помидору, который ты, сверстник, ел в военном январе, заставляют исстрадавшееся воображение вытаскивать тебя на пустынный балтийский пляж. Ату! Ату, недруг! Как роскошен ты в бедуинском бурнусе, расшитом разноцветным бисером и с шерстяной аппликацией, как величественно восседаешь на ковровом седле дромадера — завоевал все же лакомое место, хозяин жизни! — как звенят навешанные на сбруи мед-

ные бубенчики, и сбоку приторочен роскошный ящик. Идеологический шут и карманник эпохи?

Сводить ли с тобой счеты? Комментировать каждый поступок интеллектуала против «этики», «совести», «здорового смысла», «истории» или так любимой тобой «нравственности»? Горестно, видно, что мир стремится сохранить худшие экземпляры человеческого стада. Отстрел лучших и душевно чистых. Может быть, направление эволюции — к подлости и лжи? Ну да ладно, мы отпускаем тебя, сытый и румяный ангел прогресса, и только одно маленькое воспоминание. Искупительная жертва пусть будет возложена на алый ширпотребовский гроб геодезиста, лишь с золочеными рожками бычок из гекатомбы — крошечный эпизодик из нашей юности, эпизодик с небольшой заметкой в газету. А следовательно, об инстинкте искусства и об инстинкте успеха.

Немного, конечно, не больше знаменитого «не верю!» Станиславского — не верю, когда читаю статьи этого наездника на верблюде, не верю, когда он разглагольствует перед телевизором о перестройке, не верю, когда думаю, что именно он делегированной ему обществом властью оценивает десятки и сотни художников. Да, только это «не верю!» и крошечный эпизодик с переписанной этим гибким гением за ночь статьей я и могу выложить как обвинение. Вот только когда это было, а следовательно, каков был политический фон, на котором бурно кипела художественная жизнь? Века есть. Брат в тот год вступил в жилищный кооператив, и «состоялось решение» на его поездку в Сирию. Шестидесятые были уже на исходе, эра либерализма покатила к закату.

Ну а почему же ни один сын большого, малого или среднего начальника никогда не покупал себе за свои деньги квартиру?! Почему? Неужели им всегда будут воровать боги?!

Как он умел, этот взрослый и очень самостоятельный человек, радоваться малому! Бог ты мой, разрешили самому, за свои собственные деньги построить жилье, чтобы в этом жилище жить самому и растить ребенка. Слава тебе, господи, многочисленные сытые чиновники, в выездных ведомствах полгода решая, наконец-то дали согласие, чтобы брат мог поехать в Сирию. Моральный облик, политическое лицо, биография, наличие «заложников». Разрешили! Либералы. Заработать деньги на эту самую квартиру, получать за сделанную работу не по нищенским внутренним расценкам, а как принято платить там, в «гнилом месте». И то ему не все, бедолаге, отдадут на руки, на нищенские сувениры, на нищенскую эту самую кооперативную пятиэтажку, а лишь ту часть заработанного, меньше которой платить вроде бы совсем неудобно. О, родина, ты уже за холмами! Он радовался, чуть ли не кого-то в пояс благодарил! За что? За то, что в его биографии есть строка, сформулированная не его поступками, а судьбой его отца. Смилоствовали, позволили! Разрешили ему в жуткой библейской пустыне, замotanному от песка, зноя и ветра по глаза разным тряпьем, с обожженной от солнца кожей, не видя никаких великих памятников, даже не ведая о разных там античных Пальмирах и средневековых Крак-де-Шевалье, вка-

ливать в тупом ожесточении, как он привык с детства, вкалывать и вкалывать, как верблюд! Вот он чему радовался. А может быть, именно страшные эти три года загранки, перетрясшие его организм, в дальнейшем и привели к болезни? И еще он радовался, что ему как-то удалось устроить застолье перед отъездом, отвальную и собрать родню. Было лето, арбузы, помидоры, молодая, с чуть начинающей дубеть кожурой картошка, холодное болгарское вино «Гамза» в плетеных бутылках, а я сидел, как дурак, у себя дома, в чистой рубашке и уже с галстуком, и ждал, когда же наконец подъедет жена. А у нее в редакции ее маленького киножурнальчика тем временем сдавали очередной номер. И здесь, как ни странно, все было завязано на нашем университетском друге Усольцеве.

Видимо, на отцовском примере он понял, что быть начальником — это, конечно, хорошо, но творческим человеком, иметь хоть какое-нибудь имя — лучше. А в его возрасте заработать имя можно было лишь двумя способами: или писать хорошо, от бога, или писать много, мелькать, мелькать, чтоб имя впечаталось в общественное сознание, как некий эталон приобщенности. И вот наш Усольцев — с некоторой ухмылочкой, с неискренним самоуничижением, приговаривая: «Да вы что, ребята, да я ведь просто, в отличие от вас, гениев и будущих светил нашей советской словесности, только прирабатываю, только пописываю», — приговаривая жалостливые слова, тем временем уже ведь был маленьким начальником и, следовательно, — ты мне — я тебе — мелькал везде, где только мог.

Нет, нет, будь честен, судия, хоть сам перед собой. А разве все не мелькали? Разве все не грешили, все не писали под диктовку, потакая просвещенным желаниям редакторов? Все служили, и у службы были свои жестокие правила. Но не когда была возможность выбрать работу, не когда налево брали заказ в других печатных органах. Всегда в этом случае была возможность выбора и отказа. Ведь писалось для души. А ведь тогда в фильме о корректорше у него была альтернатива. Выступаю как свидетель. Скорее через меня, через мою жену, по благу он получил этот заказ, эту престижную работу, и здесь у него был прекрасный шанс блеснуть своим хваленным либерализмом, тем изысканнейшим свободомыслием, где даже его подпись — для знающих людей! — под рецензией на новый фильм уже создавала добавочный эффект. И юный либерал быстро, в срок написал очень левую рецензию, но тут, как всегда, центральный орган выступил с некоторой критикой фильма. У него была возможность отказаться, положить рецензию в стол до лучших времен. Но тогда нарушился бы конвейер. И, принеся рецензию в редакцию, выслушав замечания, Усольцев, поохав и попеняв на плохие времена, сказал, как всегда, смущаясь: а может быть, я быстренько, тут же перепису рецензию? Только можно эту рецензию подписать псевдонимом? О, карточная быстрота смены впечатлений!

— И все же мне кажется, что это облако похоже на ласточкино крыло.

На втором верблюде, разукрашенном, словно свадебный драматер из «Тысячи и одной ночи», примостилась, покачивая полупрозрачными щупальцами, некая огромная актиния, многорукий спрут, ядовитое существо, разбросившее во все стороны свои роковые конечности. Но этот фантастический образ будет неполным, если не сказать о круглых занятых мордочках на кончике каждого такого гибкого хлыста. Улыбающийся подсолнух. Некая, при первом взгляде даже симпатичная мордашка на источающей яд ветви. Много ветвей, много мордашек, каждая из которых обладала одним свойством — была непохожа на соседнюю. И вот эти старые, молодые, грустные, коварные, вопрошающие, умильные, скорбящие, елейные, раздумчивые, простоватые и собранно-знающие мордашки на полупрозрачных щупальцах, как корешки луковицы, угнезденной весною на кухне в стакан, — все они управлялись из мягкой и студенистой субстанции, ибо все сходились к непомерному телу этой актинии-спрута. Сходились к огромному мешку, даже как-то свешивающемуся по обе стороны натруженного верблюжьего горба.

Этот студенистый мешок, бурдюк, дающий силу и жизненную энергию шустрым, меняющим выражение лиц головкам, потрясал и будил воображение больше, чем все остальное, увиденное в день ветреного заката на балтийском берегу. Бурдюк-склад, бурдюк-Тускарора. Ненасытная утроба со ртом в виде створчатых ворот.

Через тяжелые, набрякшие тяжестью питающих их соков, через осклизлые, покрытые пупырышками и влажными полипами складки этой утробы просвечивали невероятные предметы, еще, видимо, не до конца переваренные чудовищем. Здесь были автомобили всех марок, шариковые ручки, антикварная мебель, резные восточные столики, черепаховые браслеты, стоптанные ботинки и золотые украшения, блоки детского питания, сверхмодные джинсы и кожаные пальто с облупившейся краской, косметические наборы и кооперативные квартиры, сигареты «Кэмел» и автомобильные брелоки, бутылки с виски и чековые книжки, видеоманитофоны и рекламные пепельницы, порнографические журналы и пластмассовые обои, бидоны с оливковым маслом и многое, многое другое... И все это качалось в желудочной взвеси, перемешивалось, словно асфальтовая масса, пузырилось и непрестанно увеличивалось в объеме. Невольно думалось: неужели все это заграбастали и добыли развеселые мордочки и неужели все им необходимо и все это они за жизнь прожуют и утилизируют? И сразу вспоминались страницы золотого чтения любознательной юности, главы «Занимательной математики» увлекательного Перельмана. На умных картинках в книге были нарисованы огромные составы с хлебом, зерном, ящиками с колбасами и бидонами молока — все огромное, немислимое, как Монблан, изобилие, которое за свою жизнь поглощает человек. Но, оказывается, сколько еще потребляет другого! Оказывается, сколько ему еще хочется и сколько ему надо!

Да, это все опять школьно-университетские воспоминания. Зависть к неосуществившемуся у одного и случившемуся у другого.



Но было ли нужно это первому? Хочется? Зачем? Разве унесешь с собой в могилу что-либо, кроме жизненных впечатлений?

Беседы в перерывах между лекциями на балюстраде перед входом в Коммунистическую аудиторию, совместные игры в футбол на стадионе возле общежития, встречи в читальном зале библиотеки. Но сначала имя, жизненный прототип, поднявший из недр воображения ужасное чудовище. Коляша Чураков, мещанин, как говаривали прежде, не вкладывая в это слово никаких, кроме социальных, дополнительных оттенков, из Подмосковья. Русская мордашка в крапинках веснушек, похожая на подсолнух! Заснеженный домик на полудачной станции, печь, топящаяся дровами, вода в колонке на улице, длинный ежедневный путь в университет в холодной электричке. Так хотелось поскорее выскользнуть, избавиться от этого мира удобств во дворе и сумок с продуктами. О, медалист из талантливого Подмосковья! Как быстро из мальчиков в дешевых курточках выросли солидные, известные стране люди. Знаменитый международник. Откуда что и взялось? Как быстро развеялся сон юношеского романтизма! Так недавно это было или давно? И всегда была какая-то определенная гордость за сверстника и однокурсника. Упорный, как следопыт, Чураков стал мерилем неординарности и удачливости всего курса. Да, конечно, изменил чистой науке, да, был немножко слишком льстив и чуть больше переживал из-за любой оценки. Но ведь он первым отзывал на всю страну: «Наш специальный корреспондент Николай Чураков ведет свой репортаж из нового целинного совхоза». «Едем мы, друзья, в дальние края». Ну и черт с ним, что изменил, каждому, в конце концов, хочется тепла и удачи, человек ищет, где лучше. А Коляша уже вещает из Улан-Батора (о, если бы кто-нибудь из живущих сейчас молодых граждан отдаленно представил себе, что для предыдущих поколений пятидесятников и шестидесятников была граница?! Марс!), а Коляша уже из Чехословакии, а потом с наступлением эры телевидения уже не только «говорит», но «показывает» из ГДР. Мы ведь, все его однокурсники и давние знакомые, особенно и не вслушивались в то, что он говорил. Вроде некая международная полуложь входила в правила игры. Когда лгали другие — это было гнусно и неинтеллигентно, а своему подвирать, конечно, не очень хорошо, но можно. И она подвирала, эта сначала молодая романтическая мордашка, похожая на подсолнух, а потом мордашка и постарше, похожая на обглоданный мосол. А может быть, ассоциация с подсолнухом связана со стремлением цветочка всегда поворачиваться лицом к солнцу?..

Как дорого может обойтись для всех сограждан эта укоренившаяся привычка одного всегда впитывать в себя золотые солнечные лучи!

Интересно, если бы кто-нибудь подчитал, во что содержание одного телевизионного говоруна и комментатора обходится советскому государству? А, в конечном счете, во что обходится сей комментатор советскому налогоплательщику или еще точнее — народу! Коли все это правильно и точно скалькулировать, то, наверное, — ахни, наивный налогоплательщик! — дороже, чем прокорм и вооружение парашютно-десантной дивизии или какого-нибудь полка связи

с его драгоценной электроникой. И дело здесь не в прожорливости, прогонистости этого бойкого говоруна или в автомобильно-дачно-магнитофонных амбициях его семьи. В конце концов, и царь нильской воды крокодил, и воспитанник тропических болот гигантский удав могут заглотить лишь только то, что может поместиться в их собственном просторном брюхе. Но по сравнению с телевизионной рептилией аппетит этих коварных пресмыкающихся гадов не в счет. Это мелочь. И казенные, за госсчет перелеты их превосходительства комментатора или их величества телевизионного обозревателя через океан и провоз их скарба, домочадцев, багажа и даров — тоже ничто, один валютный дым по сравнению с результатами коротеньких зарисовочек, репортажиков и соображений, которые они внедряют в хрупкое общественное сознание. О, эти верные оруженосцы страхов и подозрительности! О, эти фонарики, так удачно подсвечивавшие пресловутый «железный занавес»! О, этот скорбный хор! «Не ходите, дети, в Африку гулять»! Мы, несчастные, живем в этих жутких западных, восточных и африканских странах, умираем от отвращения и страха, но — живем! Ого-го-го! Мы призываем к простоте и отчужденности от смурного общества потребления, но — потребляем. Мы скучаем по дорогой родине, но попробуй хоть за волосы нас вытащи, рабов долга, из этого отвратительного западного, африканского или восточного далека! Ни-ни-ни!

«За волосы» — вот и точка отсчета, вызвавшая в памяти балюстраду в университете и ярость после последней встречи в Процветающем Восточном Королевстве. О, каков негодяй! Какая дрянь! Почему так плохо слова передают негодование, оглушительные перебои сердца, схвативший за горло гнев. Какая дрянь! Черт с тобой, лупи свои хлебные репортажи о кризисах и забастовках, снимай урожай с недомыслия и вульгарного социологизма, но быть добровольным с т у к а ч о м?.. Вредить и запугивать во имя лояльности, дабы прослыть идеологом и специалистом? Предавать и гадить даже не ради собственной жизни, не ради того, чтобы выжить самому и чтобы выжили твои дети, а во имя добавки, чтобы был не только хлеб, но и непременно белый хлеб со сливочным маслом и черной икрой, да еще и подавался этот хлебушек на серебряном узорчатом блюдецке? Наш специальный корреспондент оторвался от страны, чьи интересы он представляет в Тридевятиом Царстве, он не усвоил, вечный доброволец, что так уже не поступают. Даже в темных прожженных кругах сволочей это немодно. И все это он, просвещенный и свободный журналист, затеял, чтобы приползти в посольство к такой же, как и он сам, такой же мрачной, еще не выкорчеванной, оставшейся от прежних времен, перекрасившейся, но тайно, под одеялом, молящейся прежним богам, такой же, как и он, доживающей за счет налогоплательщиков более сытную и более свободную жизнь, к такой же приползти, как и он, гнусной морде, к жабе и подбобостранно и нижайше сообщить, что предотвратил! Что же ты предотвратил, наш университетский друг и товарищ?! Какое ЧП вселенского или государственного масштаба?! Ты предотвратил посещение двадцатью людьми, среди которых не было ни одного моло-

же сорока пяти лет, посещение некоего спектакля, некоего шоу, которое, конечно, детям до шестнадцати лет смотреть, может быть, и не рекомендуется, но на которое в силу его традиционной и модной заштатности сгоняют туристов со всего мира. На которое ходят строем семидесятилетние высохшие американки с подсиненными седыми волосами и ниткой ядерного жемчуга на жилистых, как у боевых петухов, шеях. Кого ты уберег? Писателей, крупных журналистов, идеологов, которые всю жизнь привыкли трясти на идеологических грохотах сыпучие идеологические материалы. И зачем же ты сотворил это, Каин? А бедному Каину уже, оказывается, давно шестьдесят, и его в любой момент могут вытрясти на пенсию из этого ужасного климата, из этой ужасной страны, где он самоотверженно портит здоровье и отчаянно тоскует по березкам, вытрясти и отправить на благословенную родину, где он будет стоять в очереди за «Отдельной» колбасой Останкинского мясокомбината и в кастрюлке из молока и кефира делать домашний творог. И никакого тебе садовника, чтобы полить сад у домика, и никакой приходящей по утрам, чтобы убрать виллу, горничной. Ах, как этому защитнику социализма не хочется в родной и реальный социализм. Вот он и поперся к жабе, к гнусной морде, чтобы заручиться, чтобы в сознании старого, опытного и изощренного посольского кота возникла мысль о незаменимости, чтобы, когда возникнет — не дай бог! — мнение о замене специального корреспондента и пенсионера более молодым и энергичным претендентом... Да. Да, писатели, журналисты и идеологи, вас продали и положили не за понюшку табаку, за некий резной столик, за пару штанов, которые, может быть, удастся купить, если специальному корреспонденту повезет остаться в ненавистой стране на лишний день. Разве не стоит эта оказия предательства?

О, многоликая медуза, о, многорукая прелестная актиния!.. Теперь начнем все по порядку. С группы туристов, заплативших огромные деньжищи за право видеть сказочную Страну Чудес, заоблачное Нагорье, где, как известно, проживает живая богиня и расположено неподалеку Процветающее Восточное Королевство. Оно тоже входило в этот увлекательный маршрут. Конечно, все это весьма дороговато, и, наверное, с годик каждый из этих любознательных вояжеров старались на хлеб намазывать масло слоем потоньше, но ведь в гроб-то с собой, как известно и как уже было сказано, можно унести только впечатления! И каждому, конечно, хотелось впечатлений побольше, как у всех в группе, плюс еще эксклюзив, и были поэтому разные международные звонки из Москвы, и в чемоданах ехали немудреные подарки для «своих» в виде караваев почти не черствеющего «Орловского» хлеба, «Столичной» водки, рыночного засола сала и закутанной в десяток целлофановых пакетов атлантической селедки. И за этой аппетитной селедкой, за лакомым салом появлялись потом в гостинице, в столице, где остановилась туристическая группа, Процветающего Королевства счастливые «изгнанники», тоскующие по родине и ее немудреному столу. Соотечественники явились за дарами. Но ведь долг красен плате-

жом. Здесь уж каждый ошастливленный страдалец отдаривался как мог, но чаще всего, приезжая за даром или посылкой в каком-нибудь немислимой красоте лимузине с восхитительной музыкой, а то и телевизором на борту, с кондиционером и еще тысячько комфортных удобств, непривычных для наших неизнеженных тел, и вот на этом-то лимузине в индивидуальном порядке развозил в качестве ответной услуги любезный соотечественник своих доброхотов и почтальонов по самым дешевым рынкам, магазинам и другим культурным достопримечательностям. Вот и актиния проросла внезапно в гостинице одним из самых доброжелательных личиков, скромной мордашкой бывшего соученика и однокорытника. Ах, какие встречи, какие встречи! Однокорытник приехал по зову одной милой дамы из группы, привезшей ему селедочно-водочный дар, а встретил, оказывается, товарищей по альма-матер. Но все оказалось не так просто. Позже, когда разразился скандал и последовавшие за ним объяснения, когда наш третий, тоже оказавшийся в группе однокорсник — обозначим его так — Эдик Соловьев, — так вот, когда он, этот однокорсник, бросил «доносчик и стукач», то в пылу этой совсем не студенческой ругани уже другая голова актинии с резким лицом шулера и карточного бойца закричала: «Мне говорили, что эта группа неблагополучная...» И осекся.

— Какая группа? Кто тебе это говорил?

Но сначала были объятия в вестибюле роскошного отеля. Изумление портье перед объятиями и поцелуями старых мужчин, перед покровительственными похлопываниями по плечу. Ну почему такая эстатическая радость во время встречи, в сущности, малознакомых людей? Синдром юности? Синдром соотечественников? Потом из чемодана была вытащена глубоко запрятанная чекушка. И были воспоминания об альма-матер, об общежитии на Стромынке, радость. Тогда-то и был помянут разговор перед Коммунистической аудиторией. Вернее, этих разговоров было два. Один — сразу же после пятьдесят третьего года о наследии литературы двадцатых годов — это были удивительные для подмосковного мещанина разговоры: вот, дескать, где настоящая ценность и парение духа. И здесь с ним не согласился член комсомольского бюро курса и недостаточно гибкий воспитанник эпохи. Этот сынок еще не реабилитированных родителей отстаивал универсальную громогласную лирическую мощь первого поэта эпохи. Здесь, у балюстрады, в перерыве между лекциями сражались новое свободомыслие и традиции. Эти две тенденции развел звонок на лекции, но ведь диалог был продолжен, когда мещанский сын пришел в комсомольский комитет просить характеристику под возможное распределение в ТАСС. Но сегодня имеет право на жизнь и возникшее сомнение: а может быть, эта составленная и подписанная характеристика ушла в иной адрес? Тогда же, в развитие диалога, у обоих собеседников произошла эволюция в мировоззрении. Время либерализовалось, но оттепель почти откапала, и, видимо, во время студенческих каникул и поездок на малую родину метеорологические наблюдения были проделаны весьма точно. Молодой, заканчивающий универси-

тет горожанин в своих привязанностях двинулся к гражданской поэзии 20—30-х, а вот выросший на скудных подмосковных пышках молодой специалист склонялся в литературе к народному, национальному началу. Ну что ж, весьма похвальная ориентация, но ведь когда перестало капать с сосулек, то это было менее опасно, нежели баловство с судьбой славянки Ахматовой и еврея Мандельштама. Но характеристика была подписана, и через несколько лет, после стажировки в центральном аппарате, юный почвенник укатил в свою первую длительную зарубежную командировку.

Тогда в роскошном — мерки наши, почвеннические — номере зарубежного отеля, где на сверкающем антиквариате (или псевдоантиквариате) журнального столика стояла купленная в Москве с бою чекушка и на какой-то там «Дейли» валялись обрывки астраханской воблы (блат), был для затравки помянут этот первый разговор у балюстрады, потом скромные возможности кое-что купить на русском языке у местных букинистов, помянуты давние московские друзья, враги, судьбы, были предложены услуги давним друзьям по знакомству с окрестными распродажами. Хоть уже и почти чужие люди, но встретились, поизображали и поимитировали молодость, ведь впереди осталось у каждого так немного.

Но только видимо затосковавший на чужбине человек, душевно прилепившись к группе соотечественников, никак не хотел отлить. Сосцы Родины? Он вдруг проделал такой же сеанс — антиквариат, чекушка, вобла — с другим своим однокорытником, именно с той дамой, которая везла ему посылку, с другим человеком из туристической группы, чьи пути когда-то пересеклись с его. Доброжелательность и привязчивость бывшего почвенника были столь велики, что он, забросив свою прямую работу, начал ездить вместе с группой осматривать буддийские храмы, вечерами смотрел, сидя на полу, неумело скрестив ноги и по-стариковски кряхтя, концерты (он смотрел это и наслаждался в сотый или сто двадцать первый раз!), фольклорные группы, он привлек к братанию с соотечественниками даже свою жену, видимо, памятуя библейскую заповедь, что дух и тела супругов неразрывны. Эта пара — в отличие от несколько усохшего супруга, жена Наташа была женщина рыхлая — в порывах добросердечия бралась за все: консультировала покупки по электронной аппаратуре, по искусственно выращенному жемчугу, по модной в том сезоне «варенке», по ценам в Соседней Стране, ценам в столице Восточной Развивающейся Страны, по ценам в комиссиях Москвы, Ленинграда, Сочи. Все как-то понимали, что им, этой сверхактивной чете, видимо, до чертиков надоели свои, намозолившие взгляд посольские, вот и общаются, как в омут, напропалую. Поэтому вся группа не только пользовалась их услугами, но и терпела легкую, но с каждым днем делающуюся все заметнее назойливость. Ведь всему приходит конец, и из столицы туристский путь, жирно умащенный в кассах «Интуриста», лежал еще южнее, где рекламный проспект обещал «три дня на море» в курортном раю.

Лишь сутки все блаженствовали без этой любознательной пары.

Но уже на второй день, проехав на казенной машине пятьсот километров под тропическим солнцем, бескорыстная чета оказалась в той же гостинице. Вот это любовь к соотечественникам! Только самые опытные и знающие из туристов уже тогда, наверное, подумали: какое, интересно, расточительное учреждение содержит эдаких работников, как щедро эта организация на бензин, на оплату гостиницы и командировочные и, видимо, совсем не требует от своих служащих работы. Ведь даже для того, чтобы передрать парудругую информации из местных газет и выдать их за собственные, тоже нужно время. А все остальные, менее проницательные, удовлетворились самым банальным: «А мы без вас соскучились, — слаженно закивали супруги, — вот и прикатили».

Ну а, действительно, зачем? Было только одно приемлемое объяснение: страстная любовь соотечественников к халяве. Упорная пара, припарковав машину на гостиничную стоянку, присосалась к коллективу, как овод к уху быка в полуденный час. В туристском автобусе, оживленные и несмущающиеся, они ездили на экскурсии, на пляж, на катерке — где двадцать, там и двадцать два — через залив, смотрели — ах, ах! — в иллюминатор, вделанный в дно катерка, на жизнь подводных обитателей, лежали под тентами и на лежаках, даже умаслились казенными, предлагаемыми расторопным гидом, хорошо изучившим русский характер с его страстью к неумности, средствами против солнечных ожогов.

Создавалось ощущение, что они от чего-то сверхопасного всех оберегали. От какой-то коварной занесенной руки. Ничего не было сказано впрямую, но картина получалась мрачноватая. И страна-то «очень трудная», и «все здесь на виду», и «русских обязательно пасут», и надо быть осторожным, а лучше всего «делай, как я». Но только к вечеру бдительный доброхот обычно смертельно напивался. И вот здесь у него иногда спадала маска. По крайней мере, когда одна наша спутница, совсем уже не молодая, доброжелательная и большая, как слониха, во время коллективной вечерней прогулки по этому самому крупному бардаку в мире вдруг на что-то удивленно выдвинулась, полупьяный командир вдруг неожиданно выверился: «Ты рот-то не разевай, а то больше никогда и никуда за рубеж не поедешь». Но и в пьяном виде он сказал это шепотом, на ухо, и, к сожалению, достоянием группы эта сентенция стала уже потом, а тот раз слониха по-девичьи поплакала втихомолку. Психоз был посеян, в группе оглядывались, кто нас все же пасет, но никакого пастуха поблизости видно не было.

Отдавали ли мы себе отчет в этой буффонаде? Скорее, нет, был такой легкий надоедливый зуд, как после парикмахерской, когда мастер не до конца смахнет кудри и несколько волосков попадут за ворот. Наконец и это неудобство завершилось, добровольные пастыри уезжали в Столицу. Но это было еще не прощание, это была лишь большая перемена. Пастыри обещали через день, когда самолет перенесет путешественников, минуя Столицу, за тысячу километров на Север Королевства, что именно там произойдет новое свидание. И все же дружная пара просчиталась. Может быть, они торопились поско-

рее сообщить старой гнусной морде, как они предотвратили и насыпали на хвост этой вечно готовой на смуту творческой интеллигенции немножко восточного перца? Супруги все же очень давно не были под сенью шереметьевских берез. А на расстоянии это большое, называемое перестройкой, из тропического далека, показало им лишь заурядной политической кампанией, одним из мероприятий, которое, конечно, рано или поздно закончится и тогда, как уже бывало неоднократно, все пойдет по-старому, все снова будут разделены на идеологически выдержанных овнов и злокозненных козлиц. Время набирать очки. А эти очки что дают? Они дают возможность купить в утеху столичной комиссионке лишний резной столик, лишний день счастливо посидеть в тропическом нездоровом кондиционированном изобилии. А может быть, подвел опыт? Раньше все подобное сходило. Это ведь только одна безответная слониха, порывав в гостиничную подушку, могла смолчать. Советский, казалось бы, навсегда запуганный человек уже превращался в человека.

Определенно, все эти случившиеся неудобства, все эти неловкие волоски за рубашкой и хвостовство, и халявость, и вечернее аристократическое пьянство ему были бы великодушно прощены, на них даже не было бы обращено никакого внимания, но зачем перед отъездом пастырь еще провел усмирительную акцию?

Даже как-то не совсем верится в эту старомодную лояльность в ущерб другим. Да и принимает ли сейчас, как валюту, хоть какая-нибудь самая заковыристая организация это ложносвятое предотвратил в оплату бензина и командировочных по чужой стране расходов? Может быть, здесь был рядовой бизнес? И весьма немалую сумму, которая полагалась за коллективное посещение всей группой знаменитого, но морально некондиционного шоу, по-братски разделили два джентльмена, организовав такую модную ныне совместную международную компанию? Джентльмен из Москвы и джентльмен из тропиков? Что касается джентльмена из тропиков, то он, конечно, сильно рисковал.

И все же джентльмен из Москвы этого не понимал. Вот она, губительная привычка, когда много лет подряд все сходит с рук. Она детренирует. Иначе осмелился бы он через три дня явиться уже на другом конце страны в ту же группу к табльдоту? Или он думал, что ошалевшая от счастья, потому что ее просто выпустили за границу, интеллигенция, уже не способна заниматься дедукцией? Вот оно, растлевающее влияние пресловутой гласности.

Когда вечером на территории самого крупного и известного в цивилизованном мире бардака было объявлено, что вместо запланированного шоу состоится лишь индивидуальная прогулка по веселой и живописной набережной, интеллигенты сразу почувствовали, что пахнет знакомой тухлятиной, надели на милую перепуганную даму-руководительницу их не совсем обычной группы. Блюдя привычную секретность и неведомые идеологические интересы, запуганная Чураковым дама храбро сражалась, но здесь были асы, многие годы оттачивающие свое зубодробительное мастерство на пресс-конференциях. Даму-руководительницу тоже можно было понять.

У кого она могла перепроверить подsunутые ей сведения? К кому в этой буржуазной Тьмутаракани обратиться за справкой и советом? А все к этому же полупьяному и злобному черту, который для нее в данный момент воплощал в себе и привычный надзор за всеми и всем, и посольство, и веление высших сил. А если этот джентльмен и соотечественник говорит, что, исключительно желая лично ей и всем добра, он, он лично, но, конечно, но, приватно не рекомендует, что могут быть непредсказуемые инциденты и провокации? Что же здесь делать бедной даме, все-таки это хоть и плохонький, но наш, советский человек, знающий хитрую местную конъюнктуру, он-то ведь напрасно не посоветует! Значит, имеет полномочия.

Хорошо, что в тот вечер вся группа отправилась на прогулку по набережной, а не купаться. Море бы зашипело и вышло из берегов. В этой ночной прогулке простой советский человек, отвыкший за последние годы стоически воспринимать несчастья и удачи как тупое веление судьбы и научившийся вопрошать в этих случаях не только свой несовершенный разум, но и начальствующего оракула, — в этой неприкаанной прогулке по набережной, полной роскошных магазинов с недоступными ему товарами, публичных домов с девочками и публичных домов с мальчиками, шествовавший мимо умопомрачительных ресторанов с кухней всех стран мира и ресторанными ценами, как на алмазной бирже в Антверпене, во время этого шалляй-валяйничания этот самый простой советский человек многое обмозговал, сопоставил и дотумкал. И он мстительно, как охотник в засаде, принялся ждать табльдота через три дня. Для этого человека это, может быть, был тот самый первый раз в жизни, когда он посмел прямо, наотмашь, сказать, когда уже не так страшно было сказать.

Какой же голове и что мы тогда, простые советские люди, «выдали»? Во-первых, самой наглой и самой нахрапистой. Это была такая самоуверенная наглость, которая ни разу в жизни, видимо, не получала отпора. Через несколько дней, когда туристы от сладко-тропической набережной переместились в зону орхидей и словновых заповедников в предгорьях, когда новые впечатления начали вытеснять воспоминания об обидах и гнусностях — но не вытеснили! — в холл гостиницы в утренний час, когда все в сборе и собираются разъезжаться по намеченным туристским маршрутам, от входной двери просунулась эдакая неунывающая и бесстыдная головенка и, чуть ли не роняя сладкую слюну от лживого умиления, сообщила: «А вот и я, друзья, соскучился, привык. Может быть, мы с женой уже и не можем без вас?» Головенка, в своем самомнении и помысливша не решившаяся о том, что может получить отпор. Ах, этот Коляша Чураков с самонадеянно протянутой для дружеского рукопожатия рукой!

О времени есть смысл судить не только по декларациям и публичным заявлениям, а иногда и по собственным психологическим реакциям. Смотришь, пяток лет назад мы все и предательство, и безобразия дружно сжевали бы, и разжиревшее, наглое зло,



самодовольно испытывая знаки уважения окружающих, привычно расселось бы в первом ряду партера. Но реакция самая показательная — инстинкт. Соотечественнику не подали руки. В этом, может быть, была даже какая-то избыточная жестокость: он сунулся к университетским друзьям, но один отвернулся, другой принялся завязывать ботинок, третий демонстративно начал почесывать себе пах. Интересно ли, что случилось дальше? Пожалуй, нет. В познавательном смысле, конечно — солидарность жуликов! — любопытно, как на помощь первой голове, самоуверенной, кинулась другая, наглая, как рыночная торговка, и потребовала объяснений. Она их получила. Требование объяснений — на них раньше никто никогда не отваживался — это тоже была ошибка из прошлого. Во время этих «объяснений» коллективным разумом многоголовой актинии было сплетено несколько небольших оправдательных историй. И что туристическую группу, дескать, кто-то пас из иностранных разведок. И что возле тех сладких набережных внезапно появился американский флот и разгульные американские матросы, страстно любящие всякие клубничковые развлечения, дескать, скупили все билеты на все что ни на есть шоу. В полубормотании была высказана даже версия, что могли быть нежелательные инциденты между этими беспутными матросами и советскими дисциплинированными туристами. Все это бормотала — распределение обязанностей согласно обстановке! — голова ласковая, печальная, напрасно обиженная, эдакая пионерка, у которой незаслуженно отобрали мячик.

Сколько сил, изворотливости, лжи, унижений человек должен испытывать, чтобы владеть и не отпускать то, что ему не принадлежит по бесспорному праву. Какая нужна изобретательность, чтобы не подпустить к кормушке конкурента, и какая уверенность в собственной безнаказанности, всеобщей глупости и циничной неизменности порядка, чтобы дурачить по телевизору целый народ! А ради чего? Ради лишнего резного столика, бутылки охлажденной «Смирновской», распределителя, закрытой поликлиники. А может быть, именно ради их поразительных ценностей в неизменном мире социализма и стоит посылать всех подальше? Что сделало диагноз моего брата необратимым? Промедление в полтора-два года. Он все жаловался, жаловался: то не было талончика на рентген, то был болен участковый врач, то не было специалиста по последнему, решающему исследованию. Но в поликлиниках, к которым прикреплены шустрые, вещающие из-за рубежа информаторы, всегда все на месте и всегда все наличествует. Там бы этот пожар распознали, когда загорались лишь первые веточки. Насторожились бы при первой же обязательной диспансеризации. Вот такие возникли мысли о несовершенстве здравоохранения и порядка. Но возникли они позже, а не в те минуты скандала в зарубежном городе.

А не ездим ли мы в эти самые зарубежные города, чтобы решать там свои насущные проблемы? По крайней мере там они становятся очевиднее. На чужой почве очевиднее становятся движения в наших душах. Свобода — ведь это тоже пожар. Когда

вспыхнет, ее не так-то легко снова загнать в вонючие клетки неволи. В общем, эпизод с многоголовой актинией был тогда уже закончен, но только что случилось с нашим третьим университетским приятелем? Человеку, оказывается, надо лишь единожды почувствовать себя хозяином своей судьбы и лишь раз оседлать собственные страхи. Потом пойдет. Это, оказывается, такое мучительно-сладкое наслаждение, что забыть его, единожды вкусив, невозможно.

Дело нашего Коляши Чуракова было проиграно. Наш третий университетский приятель, милый интеллигентный тюфяк, который вечно говорил «извините, пожалуйста», когда ему наступали на ногу, вдруг обрел слово. Без эвфемизмов, по рабоче-крестьянски, именно он произнес роковые слова: «добровольный стукач», «предатель» и «шпион». «Ты ожидай здесь нашего решения, дорогой Коля, — говорил этот интеллигентный муравей, вдруг почувствовавший себя орлом. — Мы ничего не забудем. Мы даже проверим, подходил ли к этим берегам американский флот. Мы узнаем в Москве, давал ли тебе кто-нибудь поручение следить за нами. Мы даже спросим у твоего прямого начальства, откуда у тебя столько свободного времени».

Как здесь зашевелились щупальца актинии! Какие гримасы и извивы!

«Мы знаем, Коленька твои недюженные возможности и умение крикнуть «пожар!» там, где ничего не горит, но, — продолжал наш друг, — никто тебя, гадину, не боится, помни, если с кем-нибудь из нашей группы что-нибудь роковое случится, скажем, на таможне, если что-нибудь случится, пока мы не пересечем Садовое кольцо в Москве, помни — будешь виноват только ты».

Так почему же тогда идет этот караван? Почему так весело гримасничают рожицы и так огромен и сыт мешок с барахлом? Животное производит впечатление веселого и здорового. Победно шествующего по пути побед и свершений. Расталкивающего ближних и дальних, теснящего своих и чужих от кормушек и от достойной и мудрой жизни. А просто с присущей русским людям незлопамятностью мы тогда поговорили, постращали, искренне решили довести все дело до конца и, прилетев в столицу нашей родины, обо всем забыли. Не мстительный мы народ! А может быть, пожалели жену, сидевшую и переживавшую в машине, детей этого негодяя, для которых из-за этого инцидента с их ушлым батькой тоже могла покачнуться и рухнуть жизнь, и самого этого старого седого барбоса, которому нет никакого прощения. О, безответственность доброты!..

Как же появляются, из какой морской сказочной глади, словно богатыри, возникают эти химеры? Какие еще перелицованные отходы давних обид, страданий и мыслей лежат в основе этих фантомов? Почему столь извращенно-уродливо оказалось явление третьего лишнего наездника? Какой нелепый Кентавр, отвратительный симбиоз: верблюд, между горбами которого наподобие чудовищной бородавки вращено тяжелое судейское кресло. Живое и мертвое. Теплое и не-

подвижное. Огромное кресло, эдакий мореный трон из дуба с подлокотниками и роскошным многоколосным гербом. Сидалище вершителя и толкователя. Значит, под этим гербом свершалась... Под этим гербом, самоуверенно втесав руки в подлокотники, сидела величественная и спокойная, как Будда, полная сознания своей правоты, истинности и знаний, сидела некая справедливая фигура. А чем не Будда?! Бритая до паркетного блеска голова, казацкие вислые усы и могучий торс молотобойца. И все же, и все же... Как прозрачны и невинны мотивы нашего виноватого воображения. О, дайте мне такой нелепый фантом, покажите эту жалкую, как театральная маска, химеру, брызжущую и источающую воспоминания, и я расскажу вам все основные болезни несчастного детства и завистливой юности воспоминателя.

...Иногда, глядя на все происходящее, мне приходит в голову, что моя мать умерла вовремя, не разрушив в себе до конца некоторых иллюзий. А может быть, даже и в смерти родители остаются верными детям? Не сумев завещать наследства, «вещей» — о нет, не ропщу! — не сумев создать своим детям безмятежного детства, они оставили тебе, романист, как бесценный дар, свои биографии. Не сумев заложить, как им обманчиво казалось, площадку под фундамент своим излетным, последним годам, они старались в старости поступать так, чтобы, не дай бог, родные, дети излишне не обеспокоились, не почувствовали от их уже полуистлевшего существования убитка и урона. Когда дни мамы уже были сочными, когда такой же страшный, как и у брата, безжалостный диагноз был доведен судьбой до голой очевидности, пришлось на работе брать внеочередной и текущий отпуск, потому что в семье некому было ухаживать за больной. Началось однообразное, как отчаяние, и утомительное, как молотьба, стыдное для молодого мужчины: поднять, отнести в туалет, умыть, обтереть, накормить, сходить в магазин, снова накормить, сделать укол, вызвать врача, посадить, положить, повторить укол, помыть посуду, проветрить комнату, перестелить постель — каждый день, словно в подземелье, на каторжных работах. Но это своя каторга. Родная каторга, и дай бог, чтобы она длилась как можно дольше. Пусть тяжело. Невыносимо. Но если б даже до окончания века так было! Но за несколько дней до истечения отпуска начались панические думы: так ведь продолжаться не может, что же делать дальше? И мама умерла в тот день, когда надо было это решать — «что дальше?» Отмучилась, освободилась? Или освободила родных и близких?

В то страшное время, когда, согласно всем новейшим теориям, — а старые и новые теории звучат приблизительно так: все от нервов — закладывались и завязывались ее страшные болезни, когда внезапно арестовали отца, сразу же нашлись какие-то удивительные, предприимчивые люди, люди, предъявившие права на квартиру, в которой мы жили. Последовательность такая: арест, квартира, менингит у брата. И только мама с ее неизбывной верой крестьянки, в тридцатые «оптимистичные» годы получившая юридическое образование, но практически нянчившая нас с братом и никогда не работавшая по своей

специальности, а значит, сохраняющая первозданную наивную веру молодой жрицы в святость таких слов, как «свобода», «равенство» и «справедливость», и веру в спасительность теории, могла в ее положении жены репрессированного начать сражение с этими удивительными, предприимчивыми людьми на зыбкой почве юридической практики. Это был наивный Парцифаль, ведущий за Грааль бой с драконом. Но самое главное, что она отчасти и победила. Семью репрессированного, как следовало бы, исходя из практики, не выкинули на улицу, а по половинчатому решению суда предложили переселить в гипотетически предоставляемую жилотделом «равноценную» площадь. О, это мифолого-гипотетическое право получить в городе, в войну, что-то равноценное. Хоть что-то! И все же, когда мама получила вместо двухкомнатной квартиры в центре со всеми удобствами одну восемнадцатиквадратнометровую комнатку у ВДНХ в коммуналке, соседствующую через временную стенку с коллективным туалетом и умывальником, это была ее личная колоссальная победа, по своим результатам сравнимая с победительными битвами Цезаря и Суворова. Сыграли ли здесь роль ее молодые юридические знания и некоторое знакомство с правовым крючкотворством? Вряд ли! Тогда не было известно как термин словосочетание «юридическое право», но порхало, как пароль, словечко «блат». И прошибить его, взорвать или хоть частично напугать этот блат и этих — слово тоже из того далекого, полузабытого лексикона — «блатмейстеров» могла только невинная и безответная вера истицы в слова «закон», «социалистический», «советский», в слова «справедливость», «равенство», «обращусь в ЦК», «напишу товарищу Сталину». В несвободной стране по неведению эта молодая женщина чувствовала себя совершенно вольной. Вера в силу слова, в его вечно справедливый и универсальный характер, в единство и неколебимость реалей, стоящих за ним, была видима у нее, дочери иллюзий, сильнее, нежели взгляд на повседневную практику. Ее даже не смущало свежее звание «жены репрессированного»: «Это недоразумение, закон разберется». А уж коли «дети за отца не отвечают» — она билась за детей. И в этой битве изловчилась и сумела победить. Ведь альтернатива могла быть такой — высылка из Москвы.

И все же в этой битве, видимо, произошло некоторое крушение иллюзий. Ибо все-таки что-то грозное законом было сказано и «сын репрессированного» впервые в своей жизни оказался в суде. Сына не с кем было оставить? Общеобразовательная экскурсия? Или психологическая фигура — «мать с малолетним сыном» — должна была кого-то разжалобить? Разжалобить, разжалобить! Нужно было получить небольшую отсрочку. Ведь многомесячный процесс шел с переменным успехом, и в систему правовых представлений ребенка попал и судебный исполнитель, который по решению суда должен был выселить истицу из квартиры, даже без предоставления ей «равноценного жилья». Сына в тот раз поразила небольшая комнатка — как тесная сцена в деревенском клубе, — обставленная дубовой мебелью — стол и три кресла. Сцена называлась «зал судебного заседания». Кресла были с высокими

желтыми спинками, на которых были высечены гербы. А в зале, куда мать с сыном только заглянули, разыскивая судебного исполнителя, висела торжественная и пыльная пустота. Так, значит, эхом этой пустоты стало несправедливое решение о выселении? Но не надо забывать, что малолетний сын, как и любой ребенок, обладал стремлением связывать в своем сознании разные логические явления. Вместо слова «демагогия» он знал, вернее, острее чувствовал слово «несправедливость». Значит, это высокое дубовое кресло с государственным гербом признает право на «равноценную жилплощадь» и все же выселяет, не дождавшись, когда истице дадут эту «равноценную». Что-то оно лицемерит, это кресло! Если оно — высшая справедливость и высший закон, то почему же объявляет те права, которые не дает и которые желает защитить? Тогда у сына не возникла мысль, что именем этого кресла и источаемой им справедливости он обречен на иное детство, нежели толстяк, которого он впервые встретил в университете через десять или двенадцать лет. Но как не чувствовала всего этого истица? Как сумела пронести это чувство веры в справедливость юридической терминологии через всю свою жизнь? Ах, презумпция невинности добрых и цельных душ! И умерла, когда, как сейчас говаривают из деликатности, «время стагнации» разворачивало свою преступную хватку.

С креслом все ясно. Теперь определимся с маэстро. Пока известно только одно: за довольно длинную череду уже прожитых автором лет, прямого контакта с креслом — впрочем, от суммы да от... чего там? — прямого контакта с этим юридическим троном не было места. Значит, «совмещение» маэстро с креслом произошло по хорошо известным законам, и плясать надо от по-детски понятого чувства справедливости. Все та же компенсация. А маэстро опознан сразу.

В отличие от двух других предыдущих наездников — это «старший товарищ». А может быть, в журналистике и в идеологии, в этих страстях человеческих, изложенных на бумаге, он существовал и работал всегда? Птица Феникс. Ведь в этом чертовском печатном деле есть фамилии, которые так на слуху и так подробно известны, но когда каждый читающий пытается вспомнить, что же стоит за этими фамилиями, то не может, — пшик стоит, одно повседневное грубое отсвечивание. Но этот-то наездник был не таков! Еще задолго до того, как впервые пылливому мальчонке запала в память эта лихая запорожская внешность с бритой головой и казацкими, под Гиляровского, усами, эта веселая и многозначительная фамилия Звонарев уже давно втемяшилась в его память. Она как-то даже ассоциировалась с идеей твоей личной, студент, защиты, с идеей справедливости и добра.

Люди и фамилии, которые существуют всегда? Они начинают мелькать, когда ты так молод! Но выясняется, что уже мелькали, когда еще твои родители ходили в рубашонках до пупа. И, главное, на протяжении жизни минимум двух поколений подобный мелькатель производил впечатление некоей приобщенности, осведом-

ленности из самого сокровенного источника, защитника и толкователя народного волеизъявления. А, впрочем, когда в 37-м году народ волеизъявлял свой восторг по поводу расправы над бывшими вождами и бывшими теоретиками, что означало это?... Что справедливо было народное чувство? Что народное чувство было перевоспитано и извращено? Что имелись какие-то лихие организаторы этого народного чувства? Но все это вопросы досужие, пустого умничания. А ведь действительно под газетными статьями из Верховного ли суда, под захватывающими репортажами из Прокуратуры Союза, под раздумьями о правовом государстве стояла фамилия для всех привычная и всеми вроде бы почитаемая. Ибо писано-то этим Звонаревым все от имени их величества народа, и каждый расстрел, каждый гласный приговор, каждый раз, когда коротили каких-нибудь в этих судах мздоимцев, врагов, фарцовщиков или зарвавшихся литераторов, то главная-то причина в том, что плохие эти подсудные люди заедают, отталкивая от хлебного или промтоварного прилавка, простого советского человека.

Правда, во времена лихого и горячего студенчества автора и романиста ореол этой народной справедливости и трибунала несколько померк. Среди газетных вырезочек, дневниковых записей и других интеллектуальных сувениров собственной жизни в специальной папочке появилось несколько листиков, пожелтевших с годами, связанных с одним ярким политическим судебным процессом над неким зарвавшимся литератором, происходившим в наше время. К литературе и ее делам у автора всегда была склонность. Под этими вырезочками стояла все та же неистребимая в сознании поколений фамилия, и гнев был прежний, крутой и искренний, и имелась зажигательная аргументация от народного блага, но вот материал статейки был достаточно хорошо известен собирателю вырезок, потому что зарвавшийся литератор не только клеветал и печатал свои гнусные клеветы под псевдонимом в зарубежном Зазеркалье, но и преподавал в университете, а следовательно, хранителю папочки и бывшему студенту был лично известен.

Как нелегко писать о народном благе, когда имеешь дело с размышляющим читателем!

И был в прошлом общественной жизни страны еще эпизод. В пределах центральной газеты — несколько статей с привычным гневом и спровоцированным пафосом. Написали — прочли — забыли. Но в итоге кого-то расстреляли, ибо суд, пренебрегший одним из основополагающих принципов правосудия — закон не имеет обратной силы, — опирался на статейки, которые привычно воспринял за народное волеизъявление. В результате этого свободного волеизъявления двух человек, как уже было сказано, расстреляли, а советскую юридическую науку вытолкнули из какого-то мирового юридического альянса. Были еще в этой чудовищной истории поразительные в своем бесстыдстве детали, но к чему читать нелюбимых и неуважаемых авторов? О, если бы ведать, до каких чудовищных компромиссов доходит иногда совесть даже вполне порядочного человека.

Так, значит, пропуск еще в двадцать лет и из студенчества — в зрелость. Эдакий спуск на парашюте из времен веселого народного премьеры через усыпанные маршалскими звездами, иностранным бронзулетом и нумерованным золотым оружием в застойные болота «славного» двадцатилетия — пейзаж битвы одной предприимчивой семьи и их оборзевшей своры! И прямо затычным прыжком — в доблестную перестройку. И вот тут бывший студент, слушавший курс этики у литератора, не умевшего помалкивать, когда совесть втаптывалась в навоз текущей конъюнктуры, и заплатившего за это лагерями и изгнанием, и вот этот бывший студент подал руку почти персонажу картины Репина. Тому самому персонажу, что с усами и бритой головой, хохотуну над отдельными выражениями челобития к их басурманскому величеству турецкому султану. Значит, забылись газетные вырезки, статьи юридического гнева и суетливые поиски правового сознания?

А может быть, не следует с таким максимализмом относиться к людям?! Мир состоит не из праведников, а из блудящих и кающихся грешников. Почему бы не допустить искренности покаяния? И у толстого сына, когда он, вскормленный на казенных сладких сливках, воспитанный в беззаботности за свое будущее, потому что в свое время дал себе труд родиться от нужного родителя, ни разу не раздумывавший в юности и, наверное, в зрелом возрасте тоже над проблемой, чем позавтракать и как заплатить за квартиру, потому что в кованых сундуках, собранных на поле невинной идеологии, прикрывавшей мерзости режима, хватает, быть может, и на сегодняшний день. Так почему бы не допустить, что вполне искренне он, толстый, заспанный сын кремлевского Подручного, запевая первым военную песню, действительно будет открывать белые пятна истории, выводить всех на чистую воду, клеймить позорные годы и засвечивать стукачей? Разве он сам когда-нибудь стучал или позволил себе труд быть непорядочным? О, мы тут натолкуем о чести, достоинстве и правде! Так иногда птичка уводит охотника от своего гнезда. И не отвлекает ли этот правдоискатель нас, жертв времени, от ревизии некоторых статей энциклопедий, названий городов, пароходов, могил и громких дел своих крепко служивших предков? А может быть, искренне и глубоко покаялся и любитель «мерседесов» и резной восточной мебели? Он-то уж заслуживает безоговорочного прощения, как бывший разночинный бедняк, которому вдруг улыбнулось бытовое счастье. Кто был ничем... Так, значит, грабь, тащи и предавай?.. На каких только виражах истории мы потеряли совесть? И разве предательство друзей и сограждан, совершенное ради собственных детей, ради излишка и пирога с вязигой для них, кровных и сердечных, извинимо? Одним дали лишнее, у других отняли законное. И как этот, отвыкший от собственной страны соотечественник публично клянется в верности перестройке! Но как в душе лелеет мысль, что она окажется перестрелкой... А если бы не поменялись времена? Разве закончилось бы все простым непосещением некоего скабрезного театра? Но ведь раньше такой невинный

упреждающий донос во время зарубежного вояжа означал бы партийное и служебное разбирательство, трепку нервов, в лучшем случае клеймо «невъездной», а ведь в запасе были еще меры — перемещение на какой-нибудь мизерный рядовой пост, крушение дела жизни и собственной карьеры. А скольких за свою служебную жизнь этот «востоковед», приобретая право считаться особо ценным, лояльным и незаменимым кадром, сколько их за свою жизнь заложил! Догадывается ли кто-нибудь из этих невинных жертв об истинном стукаче?! И значит — теперь все забыть? Начать сначала и позволить по-прежнему несправедливым судьям вершить свой несправедливый приговор?

Дался тебе этот судья! Бог с ним, присно и навеки. А потом, почему писатель присваивает себе прерогативу судить? Как насчет погруженности в заботы суетного света? Ведь истина выявляется, только когда Аполлон призывает творца к своему жертвеннику. Писатель же норовит осудить всю действительность. Не слишком ли? Откуда такая немыслимая амбиция? Может быть, есть смысл жить только своей печальной и грустной жизнью? А они будут крутить жернова правосудия? По какому праву? Значит, верблюд пролезет в игольное ушко? Царство божие будет принадлежать богатым, как здесь, в этом брэнном мире, им принадлежало золотое поле жирных дней. Не должно быть этого! Отвод дается не суду, а его составу. Камень должен бросать не тот, кто без греха — таких и нет вовсе, — а те, у кого грехов меньше. Неправый суд — это знамение любого времени. Но почему судья, наживший авторитет и важность при несправедном управителе, хочет судить другое, справедливое время? Ищите белые пятна, но тогда в ней, прошлой жизни, не ищите в этих белых пятнах себе оправдания и не вещайте на каждом углу, что раскаиваетесь в днях прошлых. И ты, судья, с флагом идущий в авангарде нового правового государства, не ты ли в свое время первым по велению земного господина извращал и насилывал это право? Значит, с каждого времени свой бесстыжий налог?

О совести взыскую! Ну а коли взыскуешь, больше «шерше» в собственном дворе. В конце концов, разве кто-нибудь мешал «совести народа» сохранять свои убеждения? Разве насильно была подана для приветствия рука вечному судье? Разве обоим деятелям в просторном редакционном коридоре было не лестно — встреча двух либеральных деятелей культуры? Символическое рукопожатие левых сил. Значит, были забыты пожелтевшие листочки? Предан учитель, доживающий в эмиграции. Старейшина журналистики и знаменитый автор правоведческих статей поздравил модного беллетриста, возжелавшего стать публицистом. Ах, ваши исповедальные романы замалчивали? Вам что-то недодала наша веселая критика быстрого реагирования? Вам хотелось отсветить перед самой рампой? А может быть, не только из личных, но и гражданских побуждений была написана статья о перестройке в сферах культуры и сферах юриспруденции. Сначала вроде для себя — домашнее лечение от комплекса неполноценности, потом для чтения друзьям и близким, но



время шло и довольно резко догоняло эту остроту, и тогда статью захотелось напечатать в большой газете. И, как всегда, на редколлегии сшибка мнений прогрессистов и ретроградов, просачивающиеся в публику слухи об этой битве и внезапное известие, что решающую поддержку в пользу статьи беллетриста оказал мудрый и старый, как Пан, судейский с бритой головой и казацкими усами. Перед этим известием разве могли выстоять какие-нибудь моральные или этические обиды! Но правда, «запорожец» сам первый подошел к беллетристу в редакционном коридоре с поздравлениями. И беллетрист, который еще вчера фантазировал, какой коварный рассказ можно было бы написать с участием «запорожца» в качестве прототипа, вдруг расплылся, расчувствовался и тоже сунул свою руку...

Из окон комнаты Дома творчества в Мелужи, с седьмого этажа, открывается пейзаж, который мне не может надоесть никогда. Теперь уже никогда. Тянет меня, оказывается, последнее время на Рижское взморье. С высоты — море, свинцовая Балтика с окалиной белых барашков, бесконечные пляжи, дюны, сосны. Памятник — ландшафт.

Я люблю создавать собственные памятники и памятные места, о которых знаю только я сам. В 1953 году за Ялтой, в Байдарских воротах, — помню, во время съемок фильма «Аттестат зрелости», где в главной роли снимался совсем юный Василий Лановой — погиб альпинист Вася Гусейнов. Эпизод похода десятиклассников в горы в фильм не вошел; гроб с телом Васи Гусейнова отправили на его родину в Баку. Но вот каждый раз, когда я бываю в Ялте, когда наверху, подальше от пристани и курортных набережных, в рабочей части города я вижу у больницы желтый куб морга, возле которого мы тогда толпились со своими скромными цветочками, я неизменно вспоминаю этого славного парня. Ах, Вася, Вася... Тогда, мальчишкой, я сказал себе: «Увидишь этот желтый дом — вспомни об альпинисте».

Теперь у меня по всей стране стоят такие, известные только мне памятники. У Чистых прудов дом, где жил Валера Безродный — геолог, погибший от разрыва сердца совсем молодым в поле, в экспедиции. На проезде Русанова в Свиблове кооперативная башня, где в крошечной квартире на пятом этаже в самое тяжелое время жил Василий Шукшин. Это еще сколько ждать, пока и на этом доме повесят мемориальную доску! А над вывеской «Главное управление культуры» на Неглинной улице на третьем этаже окна — это зона памяти Юрия Визбора, барда, поэта, актера, друга. Воистину, человек жив, пока существует память о нем. Да и где же чаще витают мысли уже давно немолодого человека, если не среди тех, кто никогда не сможет произнести никаких слов? В былом и в воспоминаниях продолжают вершиться поступки и споры.

В тот трагический день, когда умер брат, из окна в Мелужи виделся тот же знакомый пейзаж: дюны, сосны, барашки на море. Я часто думал: «Господи, может быть, я сумасшедший или в моем сознании угнездилося некоторое извращение, связанное со смертью». Дня не проходило, чтобы не вспоминал знаменитое пушкинское «Брожу ли я вдоль улиц шумных». Дня не проходит, чтобы не подумал я о последнем успокоении человека, не пытался примирить себя с неизбежным — «...грядущей смерти годовщину меж их стараясь угадать...», — чтобы не провел маленького внутреннего аутотренинга — подготовки себя к самому последнему пределу. Картина получается довольно живописная, а в центре ее — мое лицо в жалких рыночных хризантемах. А как безутешно плакал в детстве, когда впервые понял, что и мне — мне! мне! — придется умереть. Но вот недавно встретил обжигающую мысль Льва Николаевича Толстого, который говорил, что день, проведенный без раздумий о смерти, — день, выброшенный из нравственной жизни человека. Может быть, — эти раздумья и дают нам силы для милосердия, сострадания, понимания ближнего — все лучшее, что есть в человеческой натуре?

Может быть, тот «братин» день так крепко запомнился, потому что был еще и праздничным? Помню его весь до минуты, с того, как почистил зубы, спустился в столовую на завтрак, слушал по транзисторному приемнику репортаж парада с Красной площади. Мы шли с женой вдоль моря по утрамбованному волнами песку, приправленному ледяной крошкой. Под ногами хрустели тысячи мельчайших раковинок, выкинутых на берег. Домики, из которых уже ушла жизнь. Шептал приемник о дивизиях и калибрах вооружения — обычная торжественная радиосуматоха. По-праздничному было покойно и сытно. И — никаких предчувствий. Правда, накануне ночью я плохо спал, под утро — болело сердце. Тогда же сквозь сон и подумалось: наверное, от жары в комнате. Болело от другого: душа принимала от другой души прощальные сигналы.

Я ничего не подумал дурного, когда дежурная в вестибюле — мы вошли после прогулки — спросила мою фамилию. И сразу же сказала, что хочет сначала переговорить с моей женой. Значит, расстроился я, у жены на работе, в газете, наверное, какие-то непорядки, срочные дела, отзывают ее, голубушку... А оказалось, все совсем другое... Внезапно, скоропостижно...

Респектабельный коллега моей жены, собственный корреспондент газеты, в которой она работает, он, естественно, в Риге обладает огромными связями, с билетами помогать мне не стал, отговорился, отделался — впереди у этого искателя истины был праздничный стол, и вообще, я понял, что совсем не старый этот человек новейшей формации играет по неопытности только в одни ворота. Он еще не понимает, как мал мир и как тесен мир искусства, еще встретимся, он гребет, чтобы было выгодно и покойно себе. Ехал я чуть ли не на подножке, в общем вагоне, ни с кем не разговаривал и подумать как следует имел возможность. Именно в поезде обожгла меня справедливая мысль: как же мало за жизнь имел радостей

мой брат! Ну, выпивал, ну, был гуляка. Из первой и единственной своей заграничной командировки привез дорогой магнитофон «Грюндиг» и ночами слушал пленки.

Потом, после похорон, на поминках, глядя на простой, почти нищенский быт покойного Вадима, я подумал: как мгновенно после смерти хозяина из его вещей уходит душа. Еще недавно настольная лампа была не только старой лампой, но и милым воспоминанием детства, историческим напоминанием. Потому что именно эта лампа стояла до войны на столе у отца, а такая же — по фотографиям — на столе у Генсека Сталина. Кто теперь из семьи брата будет помнить это? Разве найдутся желающие? Досадливый хлам, который в лучшем случае, как лом цветных металлов, можно будет сдать в утильсырье. Но ведь и многие предметы, которые любила и берегла наша с братом покойная мать, после ее смерти тоже превратились в сор жизни, и не без нашей, наследников, помощи. А ведь перед самой своей кончиной, когда наступило умиротворенное предвидение конца и боль на время отпустила, она обвела взглядом свою комнату, туалетный стол, диван, фотографии в рамках по стенам и сказала: «Постарайтесь, ребята, сохранить подольше, как было при мне». Дрогнула эта стойкая душа. Будто надеялась, что ее дух будет витать, сохраняя свою призрачную, берегущую ее гнездо и птенцов силу в этих стенах, подпитываясь для своих отважных полетов видом и родным запахом этих стен, обстановки, соприкасаясь с привычными вещами. Да разве что-нибудь сбережешь иохранишь, если живая жизнь требует расширения своей свободы и пространства. Как быстро почти все рассыпалось, расплозлось и разлетелось неизвестно куда. Вот так и личные вещи брата. Все, что составляло его быт и заполняло домашний досуг, вдруг буквально на глазах начало превращаться в прах, свалку старых и никому не нужных вещей. Когда через полгода после похорон я позвонил племяннику с просьбой отдать мне настольную лампу, то он, даже как-то не смущаясь, сказал: «Мы ведь теперь меняемся, вот все старые вещи и отвезли, отправили на дачу».

— И лампу?

— И лампу.

— Ту самую, темно-зеленую со знаменами на абажуре?

— Ту самую, старую.

— И пластинки отправили?

— И пластинки. А тебе они разве, дядя, нужны?

— И чурбачок?

Конечно, эти старые граммофонные пластинки теперь лишь звучащая рухлядь. И даже проще — шипящая. Но ведь все это хранилось в семье лет шестьдесят, еще со времен бамбуковых иглок и пышных граммофонных растроубов. Тогда эти шипы казались совершенством звукозаписи, но глуховатые призрачные голоса — над ними млели наши тетki, возможно, что-то из этих записей слышал наш дед, арестованный в 1937 году на станции Морозовская под Воронежом, где он был начальником паровозного депо, сгинувший в лагерях. Именно этим голосам, этому сгущению и

божественному упорядочению звуков внимала моя мать, родная бабка дорогого и просвещенного племянника. Это голоса из могил. Истлели связки, между которыми формировались эти звуки, потухли и исчезли взоры, а голос все бьется. Может быть, в нем последнее прибежище души?.. И ведь на глазах чудесного здоровячка-племянника мой брат, особенно когда был в подпитии, перебирал и слушал это порядком истершееся, в царапинах и трещинах, звучащее богатство. Иногда, в такие минуты душевного своего восторга и парения, он звонил мне часика так в три-четыре ночи, настойчиво будил и лаконично говорил: «Послушай». На другом конце провода телефонную трубку подносили к проигрывателю. Как хотелось мне спать, как он раздражал своей плебейской, как казалось, меломанией. Но! Иная, совершенная жизнь, иное время шуршало и вздыхало в трубке голосом Вяльцевой или взволнованным серебром замечательного русского тенора Виноградова. Хотелось поскорее отделаться от интеллигентствующего полуночника с его претензиями на тонкость; словно разбуженные хищники, злобно шипели домашние, помянув «сумасшедшую родню», слышались универсальные стенания: «По ночам никому не дают покоя». И вот тогда же, спросонья, когда ум еще сладко ленится, меня постоянно преследовала одна и та же мысль: «Надо бы съездить к брату на один-два вечера, посидеть с ним, послушать его пластинки, его экспедиционные байки, ведь изо всего этого замечательный получится рассказ». Но на такое тихое и спокойное «расплетение» граммофонных голосов, запутанных в хаотической братниной коллекции, как сбитые в моток нитки для вышивания, времени не находилось. Теперь уже и не найдется! А сейчас все это не имевшее цены для него богатство хранится где-нибудь на чердаке или в сарае. Еще как «полунужное». Выбросить и неприлично перед памятью покойного, и опасно, боязно — а вдруг! — а вдруг эта таинственная загробная жизнь все же существует и когда-нибудь «там!» станет неудобно и стыдновато при встрече. А может быть, молодые и не думают вовсе так усложненно? Все это на чердаках и сараях еще полежит, дряхлая и покрываясь пылью, лет пятнадцать — двадцать, а потом уже мой внучатый племянник, сын моего племянника, всю эту древнюю рухлядь, высвобождая жизненное пространство, пустит в распыл, и окончательно рассыплется, исчезнет целый мир. А не Атлантида ли внутренний мир каждого человека?

Еще брат с детства любил и увлекался железом. Стамески, отвертки, тисочки, молотки... В эвакуации, в «родовом» гнезде матери, деревне Безводные Прудища, чтобы брат выпрямлял гвозди, не крушил железо по деревянным столам и лавкам, ему выделили как рабочее место для слесарных и прочих работ невысокий прочный чурбачок. Сколько на этом чурбачке было расплющено роскошных медных пятак, чтобы потом, прорубив в пятаке отверстие и все время на оселке расширяя его и причеканивая поверхность, сваять медное блестящее кольцо (среди деревенских женщин гуляло поверие, что коровы лучше отдают при дойке молоко, когда пальцы украшены этими самодельными драгоценностями, и десятилетний

брат был самым модным и единственным деревенским ювелиром), сколько на чурбачке было выковано и отточено из стамесок и бросовых кусков рессорного железа самодельных ножей и финок, сколько было согнуто и нарезано из проволоки коварных, болезненных, а порой и опасных пулек для рогаток!

Чурбачок этот, отпиленный от старого яблоневого ствола, стал для брата какой-то фетишизированной игрушкой, и после возвращения семьи из эвакуации и чурбачок тоже вместе с нами оказался в Москве. Брат положил любимый чурбачок вместе со стамесками и распилами в рюкзачок и сказал, что без инструментов никуда из деревни не поедет. Крутенький был мальчик! Это уже много позже брат, рукодельник и искусник, на память себе и потомкам отрезал от чурбачка тонкий и плоский спил, отшлифовал, покрыл лаком, так что засветились годовые кольца. Какая же долгожительница была эта яблоня!

Возникла ассоциативная связь между двумя событиями или пред-метами: яблоневый чурбачок, спил — и сразу же перед глазами старый порушенный сад. Можно, конечно, разбаловавшись, дать затянуть себя в бесконечность, в ассоциативный омут, когда и жизнь будет восприниматься как ряд бликов на стене, а можно усилием воли выключить сладко дурманивший проектор, когда одна картина сменяет другую. Отдельные картинки, портреты, пейзажи можно свободно тасовать, но их нелегко придумать. Где вся дорога от Москвы до Рязани? Поезд, станции, погрузка, разговоры о войне? Где путь от станции до деревни? Пыль, подвода, высокое сельское небо? Нет этого ничего. Но вот в самой деревне несколько весьма разработанных и полных сюжетов. Во-первых, огромный, похожий на большую костистую лошадь дядя Егор. Какой-то «юродный» родственник моей матери и мой, следовательно. Не очень, видимо, тогда и старый, лет пятидесяти, но со своей длинной и раздвоенной, как у Салтыкова-Щедрина на портрете Крамского, бородой, он показался мне Мафусаилом. Двоюродная или даже троюродная моя сестрица Томилка — у нее две косицы льняного цвета, обшелушенные летним загаром лопатки, а все остальное — лицо, глаза, выражение — постепенно вытеснено из памяти и замещено этюдиком детской мордашки к репинскому «Крестному ходу в Курской губернии». Именно с Томилкой связано для меня новое: мука-наслаждение ходить босиком по убранному полю, по стерне, беготня, свобода, огород, морковь с грядки. И еще, конечно, для маленького горожанина оглушающе нов деревенский быт. Русская печь, крошечное оконце в избе, впервые в жизни увиденный живой огонь, весело играющий с соломой на загнетке кузнеца, раскालенные куски железа, колокольня в соседнем селе Огуреве-Почкове и другая, безхозная, пустая и холодная изба, в которую мы переехали осенью от дяди Егора. Я полагаю, что в общей житейской тесноте и скученности хорошо было только нам с Томилкой. Для всех остальных, собиравшихся в обед возле огромной глиняной миски со щами, супом или мурцовкой и не г и г и е н и ч е с к и вкушавших из этой общей посуды, облизывая

ложки — приехавшие тоже, естественно, к этому заманчивому обычаю примкнули, — и по команде старшего штурмующих сътную гущу, для всех целая московская семья, по-родственному ввалившаяся на ту же жилплощадь, — это было бедствие, и дядя Егор довольно быстро выставил свою племянницу в чью-то пустовавшую хату. Перед самой зимой.

Значит, до того как живописать так врезавшийся в детскую память эпизод прогулки в яблоневом саду, обязательно надо вспомнить еще, как мама, потомственная крестьянка, — боже мой, ей-то в то время не было еще и тридцати лет! — как она запрягала лошадь, чтобы ехать в лес за дровами. Подзабыла она к своим тридцати годам, как это делается, но ее устный рассказ об этом эпизоде намертво закрепился у меня в памяти. В этом мини-рассказике главной была коронная реплика дяди Егора, помогавшего маме запрягать выделенную колхозом кобылу. Выломав из плетня хороший дрючок, дядя Егор сказал: «Ты, Зинаида, как она, шельма, будет лениться, ты ей под хвост палкой, она и побежит».

Суровая зима сорок первого с густыми, изматывающими холодами запомнилась по теплым байковым лифчикам, застегивающимся по-девичоночьи сзади, по заледенелым, заплывшим окнам домов, по сонной тяжести, наваливающейся на всех, по замерзающей к утру в чугунах возле печки воде. Значит, того воза дров, который привезла из леса мама, хватило ненадолго. Худая изба жрала дрова, как голодная скотина. И тогда ближе к весне мы вместе с мамой и все с тем же неизменным дядей Егором пошли в яблоневый сад. Вот тут-то я узнал еще одну маленькую семейную историю. Конечно, узнать я тогда ничего не мог — слишком был мал, все собралось в разуме позднее, когда были прочитаны некоторые семейные документы и родня подрассказала кое-какие детали. Но источников было немного, а информаторы в основном женщины: гражданская война, финская война, Отечественная война ударили по мужчинам, а для двух моих дядьев и деда роковым оказался 1937 год, для моего отца — 43-й, когда дometали не попавших в предыдущие чистки, а для младшего брата моей матери — 47-й на Западной Украине.

Была, оказывается, маленькая деревенская сенсация, когда двадцатилетний дед еще не родившегося автора женился на его же шестнадцатилетней бабке. Вот где верховья, вот где начало классового расслоения деревни! Бабка-то, оказывается, жила в единственном в деревне кирпичном, под жестяной крышей доме. А отдала ее замуж за бедолагу из беднейшей семьи не только потому, что дочь-наследница ни за кого другого в округе выходить замуж не желала, с этим бы как-нибудь справились, а потому, что беднейший этот парень проявил сметку и хватку и добился кое-каких жизненных успехов. В деревню после двухлетнего отсутствия он явился в суконной тройке, в сапогах, картузе, а по жилетке змеилась серебряная цепочка, продетая в петельку. Но перед этим деревню уже посетили принесенные ходаками слухи: молоденький сельчанин, сменивший участь крестьянина на незавидную должность

кочегара на железной дороге, уже продвинулся до помощника паровозного машиниста. Ну, если уж не аристократия по тем достопамятным временам, то уже почти дворянство! Наверное, нет смысла дальше излагать эту часть родовой истории: участие сначала помощника машиниста, потом машиниста в революционном процессе, в первых Советах — это все нынче немодно, значительно пикантнее, как недавно проделал один телевизионный комментатор, сказав: «Клянусь словом дворянина и члена КПСС», а?! — а закончилось все довольно тривиально, как и для многих участников легендарного съезда «победителей»: «знай, революционер, за кого голосовать!» Естественно, ничего или почти ничего, кроме справки о реабилитации, после деда не осталось. Кто виноват?

Родной моей бабушке повезло немногим больше. Артиллерия была и по своим, и по чужим. Кирпичный дом, маслобойку и что-то еще из крепкого, почти наверняка кулацкого хозяйства отбрали ранее, а во время разгара коллективизации бывших владельцев — заметьте, родню! — вывезли так далеко, что ни следа, ни памяти о них не осталось. До станции Морозовская вести не доходили. Жутко становится, что где-то за Уральским хребтом есть русские могилы, родные, неухоженные, а скорее всего, и необозначенные! Кирпичный дом кулака-мироеда, стоявший у пруда, разобрали, потому что кирпич предполагали пустить на строительство каких-то колхозных служб, но строить раздумали или поленились, и строительный материал разошелся по мелочам: кому печурку, кому сторожку. Но остался сад.

Это сейчас у меня тысяча вопросов и соображений. Что думала молодая и, в общем-то, не очень опытная женщина, моя мать, попав в дедовский сад? Представляла ли, что навсегда уйдет из жизни, из жизни своих детей и вообще из жизни с этим садом? Единственным, кстати, в деревне. Яблоневый сад! Не вишневый. Но здесь трагедия не меньше, потому что к этому холодному военному времени сад уже одичал, наполовину умер, потому что оказался ничейным. Но ведь к этому времени умер и раскулаченный дед моей матери и погиб ее отец, паровозный машинист, большевик с дореволюционным стажем и член ВЦИК. А теперь спросим: почему такое запустение и нищета царили на рязанской земле в первые годы войны? И здесь снова бы задать вопрос: кто виноват? Русская литература извечно задает вопросы, ответы на которые ей совершенно точно и досконально известны. Кто поставил молодую женщину перед проблемой отцов, детей и внуков отцов, тех отцов, которые жили, избрав благо только для себя, а тем временем порядок, который они избрали и который лелеяли, утеснял других отцов, детей и внуков. Но — других внуков! Значит, скажет проницательный читатель, только жгучая месть и зависть к удачникам руководит автором? Что ты все, автор, злобишься, почему все считаешь да считаешь, кто, как и когда поступил? А все же не завидуешь ли попросту ловким, бессовестным и отчаянным? Возможно, возможно... Только кому взбрела эта глупость о зависти? Просто должна быть осознана и выплеснута многолетняя боль...

И должен же хоть в чьей-то памяти остаться сад! А тогда, смотришь, когда-нибудь появится снова и пруд и с песнями пойдут с поля по вечерней заре люди. Я просто тороплюсь передать воспоминания о саде дальше, владельцу бронзовой лампы. Мой личный маленький опыт жизни говорит, что можно не успеть. Ведь оказалось: то, что человечество тысячелетия собирало и копило, — это не больше чем плесень на арбузе средней величины...

Но вернемся к незабываемой прогулке по стылой, лежащей в смерзшихся снегах земле. Может быть, образ родной земли и возник в сознании мальчика именно здесь? Снега, скособоленные избы, переметенные поземкой просторы, черные ветви могучих деревьев, кромка дальнего леса и светлый на небе ранний месяц. Невинный, беззаботный. Светит месяц, да не греет.

Сад не показался мне тогда особенно большим, его, видимо, давно пощипывали предприимчивые сельчане-колхозники, но штук шесть раскрылившись, раскорячившихся деревьев, завязнувших в обледенелой, как тюремный бушлат, стылой почве, противостояли погоде и времени. Они были похожи на полных еще силы и мощи стариков. Что же это за селекция, предназначавшая их к смерти?

Тишина царил в тот холодный час предвечерья. Ветер сновал в замерзших сучьях, и даже нам с братом передалась трагическая, inferнальная сущность этой минуты. А может быть, брат что-нибудь тогда сказал? У него было чутье не человеческую жизнь, на ее повороты. А что мама? Она постояла, как бы даже и не входя в сад, на меже, поглядела отсутствующе, будто давно простилась и с этим садом, и с воспоминаниями, и сказала дяде Егору:

— Рубите, Егор Павлович.

— Я-то, Зинаида, срублю, а сельсовет?..

— А с сельсоветом я разберусь.

Значит, ту зиму мы пережили за счет тепла сучьев и стволов огромных яблонь?! Тонкие прутики яблоневых саженцев. Предки посадили сад. По-настоящему, может быть, даже и не воспользовались тенью от деревьев и урожаем, думали, что дети и внуки будут приращивать десятины и сажать деревья. А скорее всего — сажали для фасона, чтобы утвердиться, покуражиться совсем побарски. Не к столу для пищи и лакомства, не рожь и репа, а барская затея, дескать, не хуже вас, худосочных, — сад! А сад этот, испепеленный и обращенный в дым, спас жизнь их семени!

У каждого времени, наверное, есть свой грех. У тридцать седьмого — его массовые народные ликования по поводу расстрела «врагов», ныне успешно реабилитированных. Значит, зря ликовали?.. Радость по поводу несгибаемой принципиальности Павлика Морозова тоже была чрезмерной. Последователи милого Павлика кое-что задолжали и своим семьям, и даже всему народу. И на наш век хватит грехов! Кто там клеймил, не читая чужие книги? Кто плечом подталкивал соотечественников к выезду за рубеж?



Но на поколении есть еще и кровь. Да, гадкая, да, недочеловеков, да, гнусных фарцовщиков. Но все это — вне закона, казни по безжалостному произволу, из-за ложно понятой государственности. А ведь мы тогда всенародно ликовали! Где только была наша гуманность, наше милосердие? Спишем на молодость и этическую неразвитость эпохи? Но ведь существовали особи этически полноценные, которые ничего не приветствовали, ничего против совести не подписывали и никогда не ликовали. Но почему же так угодливо по отношению к неправой власти вело себя старшее поколение, возвращенное на «этических пышках»? Почему своими статьями и репортажами это старшее поколение провоцировало молодежь?

С годами этот молодой сюжетец с двумя расстрелянными фарцовщиками все поднимался и поднимался для меня из пропасти отжившего. Вспоминались ликования и благородные чувства? О, как это верно, что тянет на место подвигов. Тянет ведь и на места ложных этических пиршеств. Грех тогда и становится грехом, когда появляется его осознание. Итак, сюжетец почти превращается в рассказ с клеймящим жалом! Естественно, как уже намекнули читателю, с прототипцем!

Виделись даже муки газетного фельетониста перед написанием его замечательных статей. Схема выстраивалась следующим образом, как и положено в рассказе, неторопливо, с некоторой раскачкой. Внезапно раскрывшиеся для властей горизонты несправедного дела. Все-то думали, что юноши, околачивающиеся возле гостиниц с иностранцами, подторговывают ношенными джинсами и стоптанными мокасинами, но, оказалось, обнаружив прорехи в сфере банковских услуг, вполне интеллигентные молодые люди решили послужить славе отечества и стать чем-то вроде добровольных банкиров, эдаких менял, производящих любой степени сложности операции по обмену валюты. И вот когда полушутя, для остротки эту лавку менял накрыли, то оказалось, что по размеру и количеству операций это не лавка, а целое отделение большого банка. Удивились. Повздыхали. Доложили. Доложили наверх. Потом на самый верх. О, эти саношные эмоции управляющих людей! Видимо, иллюзию приобщенности к божеству ярче всего самовластие и ощущает, олицетворяя себя с законом. Один пишет, не заботясь о знаках препинания: «Казнить нельзя помиловать», другой оснащает матерщиной проскрипционные списки, а «либерал» и «тишайший», обремененный страстью к цацкам и мздолюбивым семейством, на докладной записке об одном преступлении, совершенном мальчишкой, дрожащим, старческим своим почерком выводит: «Не рассматривать дело по статье, не предусматривающей смертной казни». Вот так — ни больше, ни меньше — цидулька и указивка суду. Но это, впрочем, лишь для показа тенденции, это забегание вперед, потому что перед шамкающим законником был еще «искренний» законник. Тоже действовал, как царь. Этот, привыкший казнить и миловать, управлял всем, как крестьянским подворьем. Ведь у них, у крестьян, по поводу частной собственности разные бывали казусы: и зерном

набивали распоротые животы, и орудовали колом или топором. Да разве осуждаем мы их, нищих, с которых вечно драли по три шкуры? Просто констатируем живучесть этой психологии. Даже на уровне Бога и Господина. Вот этому-то либералу народному, долго не размышлявшему над решениями, и доложили о новом самодеятельном банке. Надо было представить его праведный крестьянский гнев!

И вот начинавшийся, по замыслу, с этой правительственной фантазмагии, с гнева, с хлопанья башмаком по столу рассказик, обрастая подробностями, цепляя одно обстоятельство за другое, приводя психологические подробности в обоснование поступков, путешествуя по всей цепочке предварительного действия, — подобрался этот немудрящий рассказик к дилемме честолюбивого журналиста: создавать ли заказанную ему большим начальством набатную статью, поднимать или не поднимать просвещенное общественное мнение? А если не он? Если эту лакомую, сочную статью сочинил не он, тогда еще молодой «запорожец»? Разве не найдутся бойцы среди его славлюбивого племени? Разве не отыщется другой быстрописец с гибкой психикой? Значит, этот самый другой окажется под хрустальным фонарем быстротечной и капризной славы? А рядом со славой реют, попросту говоря, ее коварные спутники: деньги, квартира, машина, путевка в правительственный санаторий, снисходительное отношение ГАИ — легкая, иллюзорная видимость свободы...

Эти качели психологической диалектики должны были в задуманном рассказе поколебать не одну страничку, то подбрасывая замечательного героя кверху, то опуская долу, почти в грязь. Конечно, все это литературные умствования, в которых слишком много личностного, ведь всегда в поступке героя есть что-то от судьбы автора. А может быть, автор часто действует от противного? Может быть, здесь вариант не только его судьбы, но и психологии? Его извращенное сознание видит много ходов и предлагает их своим героям. Он крепко грешит, автор. В мыслях. А в жизни? Как с этими грехами в повседнежке? Может быть, он весь, как и его литература, таков: многолик и подозрителен? А в жизни червячком в душе ворочается недреманая совесть, остерегая от дурных поступков. А может быть, все проще: трусость мешает сойти с рельсов. Обычная суховатая душа, фиксирующая, где мог сподличать, и умиляющаяся; а вот нет, не сподличал!

Но сами эти качели, амплитуда колебания были predeterminedены. Совесть ведь при некоторых профессиях вроде модного атрибута в одежде: все ее имеют, и нам рыжими быть не хочется. Искусство здесь заключается в том, чтобы, нагородив как можно больше нравственных и этических завитушек, прийти, как бы очистившись в этих замысловатых переборах, к заранее известному варианту. Вернее, как просверк, сначала выгодное для тебя решение, а потом — этический перманент и его обоснование. Но, в общем, для любого, самого прожженного деятеля, получившего в невинной юности юридическое образование, написать такую статью не так-то легко.

Да и вообще человека приговорить к смерти не так легко! Предать годы учения, те правовые навыки и рефлексy, над выработкой которых долго билась читавшая лекции и проводившая практические занятия профессура, все это забыть — не просто. Здесь ведь любой Иуда понимает, что внушить какую-нибудь заковыристую мысль лопухому обывателю, в общем-то, можно, но обмануть коллегу и специалиста... На бубна звон и патриотическую фразеологию специалист не реагирует. Даже молча, впереглядку со своими, он составит мнение. А где мы больше всего хотим блистать и первенствовать? А в своем кругу, в кругу специалистов и близких.

Конечно, моральное обоснование поступка в любом рассказе имеет определенное место, но потом ведь совершается и сам поступок. В той литературной схеме, которая была составлена по свежим следам событий, был момент, когда герой рассказа, все же написав свою неправедную статью, проснулся знаменитым. Публика всегда любит крайние страсти, а тут миллионы, валюта, какая-то иная, не похожая на повседневность этой работающей и служащей публики жизнь. Да разве такое возможно? Значит, пока мы у своих станков и в мастерских создаем материальные блага, самодельные банкиры подрывают экономическое могущество Родины. Нет, эту эпохальную статью совсем непросто изложить, потому что она была талантлива, как иногда бывает талантливая подлость, потому что в конце этой в своем роде замечательной статьи был гневный и выразительный в своей наивности призыв судить банкиров судом народа. Суд Линча в цивилизованном государстве, приглашение к которому объявлено через центральную газету. О, как говорили об этой статье! Какую бурю вызвала эта талантливая провокация против правосудия и нравственности! Но ведь герой рассказа знал, на что шел, бывший правовед вызвал рассчитанную им реакцию. Фамилия, поставленная под этой статьей, врезалась в память читателей, как слова гимна.

Но ведь этого мало для рассказа! Подлость, увенчанная успехом. Рядовая банальность. Но искусство хорошо и величественно тем, что, когда иссякает фантазия творца, вмешивается жизнь. Собственно, и этот небольшой рассказ оказался задуман, когда правоведу и журналисту с внешностью запорожца этого вихря славы оказалось мало. Рефлексирующего чистилю можно было и понять. Шквал читательских откликов, безусловно, восторженно-согласных с энтузиастом-правоведом, начал иссякать. В недрах государственной машины, в ее мрачной и прожорливой утробе, уже шла подгоняемая памятливым бичом обаятельного крестьянского лидера, уже шла льстивая и бессовестная работа по превращению одного закона в другой, жизнь и будущее нахрапистых самодельных банкиров была уже предreshена, уже палач то ли точил топор, то ли чистил и смазывал револьвер. Ну а что же правовед, что же доблестный хриstopродавец, сделав свое дело, окажется в стороне? На нехоженной стороне популярности? Конечно, все блага, сопутствующие славе, все эти машины, квартиры, жирные распределители — заказчик умеет держать слово — уже заработаны, но ведь материальная, поощри-

тельная сторона жизни неиссякаема, значит, ради новой конфетки с неожиданным, щекочущим ноздри запахом, ради того, чтобы не слезать с крутой волны успеха, правовец уже без бича, уже без особых нравственных сомнений спускается под корочку жизни, спускается в ад и оттуда ведет свой новый веселенький репортаж!

Это действительно имело место, это придумала жизнь, но, по сути, случившееся было настолько бесчеловечно и чудовищно, что рассказ оказался ненаписанным. Поверит ли в такое читатель, но и писателю подобный садизм надо хорошенько обосновывать. Тогда, двадцать с лишним лет назад, впрочем, и не совсем были ясны автору мотивы поступка его прототипа. Кто же мог предположить, что, для того чтобы все время о т с в е ч и в а т ь, человек может поступиться даже жизнью чужой, даже рискнуть собственной совестью! Да как же он, «запорожец», эти последующие двадцать с лишним лет спал ночью? Что же это была за душа, которая не взорвалась, как взрываются иногда силосные башни от перепревших в них масс?

Тогда, а народное возмущение уже поднялось и прокатилось по газетным столбцам в центральных, республиканских, областных, районных и многотиражных газетах, что символизировало не волю народа и его единодушие, а лишь единодушие выполнения указания, посланного сверху. Ну а народ, предположим, всегда готов повозмущаться, когда у кого-то денег оказывается больше, чем следует. Но кто сказал, что кровожаден народ? И вот тогда, когда естественной государственной, хотя и противозаконной, реакцией был уже подготовленный, но еще не опубликованный указ об ужесточении наказания тем, кто эти денежки слишком любил, когда вслед за этим указом было подготовлено не имевшее прецедента в мировой юриспруденции дополнение, предусматривающее рассмотрение дела двух новых миллионеров именно по этому указу, что, конечно, не мог себе представить и предположить ни один адвокат и вообще юрист, — вот тут-то наш законник и журналист, прославленный ратель за народное благосостояние и благо в то самое время, в тот крошечный зазор, когда он узнал об этих указе и дополнении, но еще до того, как они были опубликованы, вот тут он, вооруженный этими знаниями, которые пока не знал никто — ни тюремщики, ни адвокаты, ни подследственные, — добился разрешения и пошел к этим подследственным в камеру. Он изучал психологию, он писал новый репортаж, он знал, что разговаривает с трупами, он уже знал, что оба получат роковой, лишающий жизни приговор, но эти наглые сопляки-миллионеры этого не знали. Ну что же, рассуждали они, отсидят по закону свои пять или шесть лет, а дальше — впереди — перед ними ведь много расстиралось годов. В своем наивном эгоизме они не сочли возможным лицемерить перед корреспондентом. Они так и бабахнули ему, давно лишенные собеседников, что, дескать, пожили, ну что же, пострадают шесть лет, а дальше опять их время... Они даже, может быть, рассказали из школьной программы притчу, которую в степи услы-

шал Гринев, о том, что лучше один раз напиться живой крови... В общем, в контексте грядущих для них событий они вели себя очень неумно, но ведь, по сути, они были спровоцированы на эти высказывания... Зато как хорошо, как своевременно подкреплял этот репортаж и указ, и приговор. О чёрте, о том, как двое преступников разговаривали с чертом.

Рассказ не был тогда написан. Тогда не хватало мастерства, умения до конца продумать эту удивительную человеческую подлость, а нынче — первородного гнева и молодой ярости. Все так постепенно забывалось, уходило, но стойко держалась брезгливость к такой свежей манере писания и внутренняя установка по возможности — круг-то один, общий, — по возможности не находиться с этим писакой в одной комнате, а тут эта протянутая с поздравлением рука, нарушившийся брезгливый рефлекс, собственное рукопожатие.

А может быть, все эти видения — следствие мелочности, продукт завистливой природы, ревность к общественным успехам более активных, темпераментных и предприимчивых людей? В конце концов, во всем этом есть какое-то чистоплюйство. Люди живут, у них обновляются клетки, почему они не могут меняться во времени? Почему их взгляды не подвергаются деформации? В конце концов, у Льва Николаевича Толстого были этапы духовного развития. Да, но один этап вытекал из другого. А что же «вытекает» у Искусствоведа, Телевизионщика, Судьи? Один, благословив почти убийство, борется с пеной у рта за закон; другой, говоря о свободе, стучит на друзей юности; а Искусствовед все требует стереть белые пятна истории. А что если мне как-нибудь позвонить Искусствоведу и рассказать ему маленькую бестактную подробность о его собственном отце? Знаем мы этих стиральщиков, которые готовы на все, лишь бы взгляд не останавливался на пятне, которое касается лично его. Итак, досточтимый отец был зоологическим антисемитом, и это чрезвычайно нравилось Сталину. Может быть, это косвенное свидетельство о склонности вождя — огромное количество расходившихся в то время еврейских анекдотов. Милых, беззлобных, но, как любое проявление национализма, опустошивших душу. «Знакомься, Абрам, это моя жена Сара». — «А где у вашей Сары зад, а где перед?» — «О, где брошка — там и перед». Не правда ли, мило? И я хорошо помню, что дипломной работой у Искусствоведа было сочинение о крупном деятеле еврейской культуры. Отмывался? А как же покаяние без исповеди? Все они, миленькие, в каждом времени, при каждом вожде были впереди прогресса. Кстати, прогресса, хорошо оплачиваемого. А чем же в это время занимался мой брат?..

Пришла к концу моя маленькая повесть. Гнев остыл, и перестала клубиться печаль. Все в этом мире неизбежно, со скрипом, но становится на свои места. Вдруг, дружно прокричав, голосистые петухи стали потихонечку смолкать. Даже не так: песенка их подна-

доела, в мотивах возникло однообразие, и есть подозрение, что в ближайшее время рачительная хозяйка запустит их в суп. А можно и по-другому прописать эту нехитрую аналогию: потребитель начал догадываться, что в тканях, в материальчиках, которые ему продают, очень много синтетики, почти сплошь синтетика и химия, вызывающие аллергию. А выдавалось-то изобилие за пестрые и добротные народные ситчики. Катастрофически падает спрос на неподлинное. Что делать, тенденция времени... Прощай, караван, шествующий неторопливо через невозмутимые рижские дюны. Я абсолютно уверен, что путь его не очень далек... Миражи постепенно рассеиваются, даже самые устойчивые. Нет, пожалуй, в сердце уже и нетерпенья, есть некоторая досада на себя: надо бы пораньше взяться за эту грубую ассенизаторскую работу...

Прощай, милый брат, пусть земля тебе станет пухом. Ком стоит в груди, ведь и у еще оставшихся здесь — впереди не так уж много... Каждому бесконечно тяжело расставаться с этим миром, все мы перелистываем в последний момент, словно школьники, собственный табель о жизни и успеваемости. Где «успехи», где «успеваемость»? Спи, дорогой брат, у тебя все в порядке, как и положено простому человеку. Наш доблестный племянник, твой сын, румян и здоров, внук, твой внук, бегают и задают столько вопросов, проявляет столько энергии, будто внутри у него небольшой атомный реактор. И настольную бронзовую лампу, и граммофонные пластинки мы с дачи непременно выцарапаем. Я уже сейчас предвкушаю этот таинственный шип, трески и дивные голоса сопрано и теноров нашей и преднашей с тобой эпохи. Круг завершен, все случилось и произошло не даром. И горечь моя, брат, особого рода, это горечь и тоска близкого человека, который очень заинтересованно считает очки и ведет калькуляцию. Понимаешь?

Конечно, не даром был спилен прародительский сад. Но крутится у меня в сознании одно словечко не из твоего, братка, лексикона. Не реализовался! Научные термины почти всегда и везде прикрывают раны. Что может быть в этом мире страшнее? Это почти что не родиться. Не выполнить собственного предназначения. Упустить единственный шанс. Это как спутник, пошедший по ложной траектории и исчезнувший в пустынной безвестности.

Брат мой! Я ведь не даром с грустной уверенностью констатировал, что он был лучше, прямее и сердечнее, чем его младший брат — неудачливый автор. Покаяться бы ему здесь, ведь столько жестокой черноты накопилось за жизнь на собственной душе, но, но... Сегодняшнее слово — покойному, ему заслуженный и справедливый венок. На все родственные переезды с квартиры на квартиру, на все бытовые, своими силами, ремонты, на копку садового участка, на вставление нового дверного замка, на перестановку мебели, на регулировку телевизионной антенны звали всегда его, безотказного, и не потому, что его младший брат без рук, и не потому, что он бы не поехал потаскать мебель или потаскать землю. Он, братка, чинил на дачах крыши у родственных старушек, вешал им вылинявшие ковры на стены, мыл перед Пасхой люстры, красил

гаражи друзьям и знакомым. И не считал все это услугой, обычные обязанности любого родственника и человека. Он никогда не требовал благодарности. Позовут на крестины, свадьбу, день рождения — он ходил; на поминки, на похороны — тоже.

И таким же безответным и исполнительным он был и на работе. В его молодости какие-то глухие истории о его приключениях в геодезических экспедициях, в поле, все время доносились до Москвы через дальних знакомых. Все время он кого-то спасал, куда-то вместо кого-то шел и выполнял чужую работу. Не слишком ли?! Куда ушла жизнь, куда исчезло здоровье? Но по-человечески талантливый человек — талантлив во всем. Он был замечательным математиком, стихийным, полусамоучкой, но часто — вокруг любого неординарного человека ходят какие-то немислимые легенды — очень часто к решению даже сложных задач их замысловатого камерального дела инженеры приглашали именно его, скромного техника. И делал брат это виртуозно, легко, весело, без какого-то, казалось, напряжения сил. Волшебная легкость — признак истинного поэта, поэтического жизненного уклада. Ведь поэту не обязательно писать стихи. И еще было у него качество, которое всегда его выделяло из толпы. Без малейшего усилия с его стороны. Я наблюдал это с детства, потом в школе, а потом, когда уже стал взрослым, удивлялся: как это он в любом обществе, с людьми любого положения и уровня всегда — первый, всегда — человек, к которому прислушиваются, вокруг которого группируется разговор? Это было редчайшее качество и дар лидера. Впрочем, все это так сдвинуто, так близко — личность и лидер. Эх, если бы ему только не помешали в детстве! Не говорю «помогли», только б не помешали! Если бы он только самостоятельно выбрал жизненный путь, по своему интересу, по собственному осознанию. Но неисповедимы пути твои, Господи. Многое, если не все, закрыто от нашего вопрошающего взора. Но если есть иная заоблачная страна, иной берег, если впереди намечена встреча, может быть, там осуществится справедливость? На моих усталых глазах. О, Господи!

## Не так уж плохо

Распадаются тесные связи,  
упраздняются совесть и честь,  
и пытаются грязи в князи  
и в светлейшие князи пролезть.

Это время — распада. Эпоха —  
разложения. Этот век  
начал плохо и кончит плохо.  
Позабудет, где низ, где верх.

Тем не менее в сутках по-прежнему  
ровно двадцать четыре часа  
и над старой землею по-прежнему  
те же самые небеса.

И по-прежнему солнце восходит,  
и посеянное зерно  
точно так же усердно восходит,  
как всходило давным-давно.

И особенно наглые речи,  
прославляющие круговерть,  
резко, так же, как прежде, и резче  
обрывает внезапная смерть.

Превосходно прошло проверку  
все на свете: слова и дела,  
и понятия низа и верха,  
и понятия добра и зла.

\* \* \*

Было право на труд и на отдых.  
Обеспечили старость мою.  
Воспевали во многих одах  
право с честью погибнуть в бою.  
Не описано только историями,  
ни один не содержит аннал  
право жизни и смерти, которыми  
я частенько располагал.  
Мне недолго давалось для выбора:  
день-два, даже час-два,  
отсеченью или же выговору  
подлежала одна голова.



Пожурить и на фронт отправить  
или, как пылинку, смахнуть.  
Ни карать не хочу, ни править.  
Это — только себя обмануть.  
Сколько мы народу истратили,  
сколько в ссадинах и синяках.  
Ни правителя, ни карателя  
не выходит из нас никак.  
Сколько мы народу обидели  
на всю жизнь, на год, на час.  
Ни карателя, ни правителя  
получиться не может из нас.

\* \* \*

И положительный герой,  
И отрицательный подлец —  
Раздуй обоих их горой —  
Мне надоели наконец.

Хочу описывать зверей,  
Хочу живописать дубы,  
Не ведать и не знать дабы,  
Еврей сей дуб иль не еврей.

Он прогрессист иль идиот,  
Космополит иль патриот,  
По директивам он растет  
Или к свободе всех зовет.

Зверь — это зверь. Дверь — это дверь.  
Длину и ширину измерь,  
Потом хоть десять раз проверь,  
И все равно: дверь — это дверь.

А человек?  
Хоть мерь, хоть весь,  
Хоть сто анкет с него пиши,  
Казалось, здесь он.  
Нет, не здесь.  
Был здесь — и нету ни души.

### Из «А» в «Б»

До чего довели Плутарха,  
как уделали Карамзина  
пролетарии и пролетарки  
и вся поднятая целина!

До стоического коварства,  
раскрываемого нелегко,  
и до малороссийского фарса,  
и до песенки «Сулико».

До гиньоля, до детектива,  
расцветающих столь пестро,  
довели областные активы  
и расширенные бюро.

Впрочем, это было и будет,  
и истории нету иной.  
Тот, кто это теперь забудет,  
тот, наверно, давно больной.

Если брезгуете и требуете  
и чего-то другого требуете,  
призадумавшись хоть на миг,  
жалуйтесь! На себя самих.

\* \* \*

Спас стоит на крови.  
В той крови есть кровинка моя.  
Как ни черкай, ни рви —  
не боюсь ни рванья, ни вранья.

Так замешена смесь,  
что ее размешать не вольны  
ни вульгарная спесь,  
ни изящество новой волны.

Кровью делали взнос,  
и с земли, как и прежде, сырой  
до сих пор еще в нос  
нам шибает горячая кровь.

Не на дружбе-любви,  
чего я и не требую с вас, —  
Спас стоит на крови,  
на крови стоит Спас.

*Публикация Ю. Болдырева*

## Смерть Сталина

Глава из романа «Рязанка»

---

В тот пятьдесят третий год, когда он умер, я уже служил в армии, иначе, подобно другим, кто жил в Москве и предместье, я неминуемо бросился бы на похороны.

Да еще как!

Ведь пробивался же я к нему, живому, на Красную площадь!

О том же, что тогда творилось, я узнал чуть позже из рассказов своих близких, тех, кто пережил и смог на себе почувствовать, каково же оно было.

У меня хранятся два письма, я нашел их совсем недавно, во время переезда из нашего дома в Ухтомской. Они валялись среди других бумаг в сарае.

Моя сестренка, получившая квартиру, которую она прождала более двадцати пяти лет, позвонила однажды и попросила приехать. «Там, в сарае, — сказала, — твои бумаги, посмотри, может, что-то тебе нужно».

Вот тогда, открыв какую-то тетрадь с записями по политзанятиям, я обнаружил эти письма. Одно письмо от руководительницы нашего драматического кружка в клубе «Стрела» Марии Федоровны Сельцовой. В прошлом она была актрисой. Частенько она писала мне утешающие письма в часть, где я служил.

Это письмо размашистым почерком на одну всего страницу было послано в пятьдесят третьем году.

«Милый Толя, здравствуй! Получила твое письмо, сразу же хотела ответить, но тут случилось это горе, это наше общее горе. Нет слов, нет мыслей выразить его, разве только без конца повторять: «Его нет, нет, нет!» Ты знаешь, что делалось в Москве! Все стремились пройти к нему в Колонный зал для прощания, но многим так и не удалось. Поезда в эти дни шли мимо всех станций, иначе люди затопили бы Москву. Вот уж неделя, как его нет, но ощущение такое, что это неправда, он живет среди нас, все, все о нем напоминает. Он столько сделал, что ни на секунду не забудем его и никогда не сможем сказать: «Он был», а «он есть», и есть во всем: в работе, в личной жизни, в искусстве. Вчера еще раз смотрела кино «Клятва», и весь зал плакал, но он был как живой среди нас. Толя, милый, пока не могу ни о чем писать, наши кружковцы все подавлены, но я приезжала все время к ним и старалась поднять их дух и еще больше работать. Работать, как учил он...

*М. Сельцова».*

А вот второе письмо, уже от сестренки, она тогда была подростком лет шестнадцати. Наверное, оба письма я получил в один день, оттого они оказались среди бумаг вместе.

«Толик, здравствуй! Я тебе вчера написала письмо, но написала не все, что хотела. Я хочу написать, как я с девочками поехала в Москву, в Колонный зал. 7 марта в четыре часа утра (с первой электричкой) мы поехали в Москву. Можешь ли ты представить, сколько было народу? Мы шли пешком до центра, но дойти можно было только до середины Кировской. А около Дзержинки цепочкой стояли грузовые машины, а около них солдаты, взявшись за руки. И вот на эти цепочки, прямо на них, шла лавина людей. Знаешь, что делалось? Люди давили друг друга. А на площади столько валялось калош! А потом задавили одну бабушку. Она упала и не успела подняться, а люди сзади напирали, ну ее и смяли. Я через эту бабушку перекувырнулась и стукнулась головой о мостовую. Меня девочки увели, а бабушка — насмерть. В этот день мы еле домой добрались поздно вечером. А 8 марта мы снова поехали с утра, а днем уже не ходили электрички. Мы поехали с дядей Мишей. Этот дядя Миша повел нас какими-то дворами, где мы только не были. Мы лазали под ворота, карабкались на забор, прыгали с каких-то крыш, прорывали цепи солдат, а потом ползли под машинами, а некоторые через машины, кто как сумел. Знаешь, как уговаривали солдат! Мы думали, что пройдем одну преграду, а там уже без препятствий до Колонного. Не тут-то было: через каждые сто метров преграды, да еще со всех сторон... Мы дошли, верней, дорвались, до одной площади, а тут простояли несколько часов, уговаривали командиров. Мы им надоели, и они разрешили перелезть через машины. Мы перелезли и очутились в окружении военных. И дальше ни с места. Я даже не помню, как мы добрались до дому, ничто не ходило: ни автобусы, ни машины... Мы ревели, что не попали в Колонный зал. А еще с нами 7-го числа ездила одна девочка из нашей же школы, в Москве она от нас отстала и потерялась. Когда мы вернулись домой, пошли к ней узнать, может, она прошла в Колонный зал. Оказывается, ее еще нет, она не приехала. Через два дня мы поехали ее искать. Где мы только не были, из одной милиции нас направили в больницу, потом в другую, в третью, и везде лежали пострадавшие, но нигде ее не было, а потом в морге ее нашли. 13 марта ее похоронили. Вот и все. До свидания, Люда. 14/III — 53 г.»

Сохранился у меня рассказ, записанный со слов моего друга Димы Рогашева, о том, как он присутствовал на похоронах Сталина.

Но прежде о самом Диме. Дома его звали Димок, он младший брат Лемарэна (расшифровывалось: Ленин — Маркс — Энгельс), с которым я дружил в техникуме. Учился Дима в военно-музыкальной школе, которая по странному совпадению располагалась в том же Томилинском доме, где прежде был наш детдом. Даже порядок, даже нравы были похожими. Так что в какой-то мере мы

вышли из одного гнезда. Я посещал их дом в Удельной, помогал сажать картошку по весне, когда мы готовились с Лемарэном к экзаменам, иногда видел и Димка, тот прибежал из Томилинской школы домой в гости.

Вот тогда я от мамы Димы, Розы Соломоновны, узнал, что Дима еще со школы готовил себя к спартанскому образу жизни: зимой ходил без пальто и без шапки, спал на холодном полу, подложив под себя лишь простыню, бегал купаться в ближайшую прорубь. В чемоданчике на занятия он таскал обложенную ватой пудовую гирию.

Но подружились с Димой мы позже, когда он уехал работать на Воткинскую ГЭС и там случилась авария на шлюзе.

Но, в общем-то, и там, как мне рассказывали, Дима вел себя странно, пытаясь все делать по совести. Однажды он лег под гусеницы трактора, который незаконно хотели забрать на соседний участок. И работягам платил он по совести, а работали-то плохо. Бригада попалась ему из отпетых рвачей, и однажды они подкараулили его на шлюзе в ночное время и попытались сбросить с пятидесятиметровой высоты. Господь Бог да хладнокровие (он был в это время отчаен и ничего не боялся) спасли его от смерти.

А потом — это случилось уже в другой бригаде — он после трех суток гонки заснул на три часа, и прорвало шлюз, и всех, кто был в котловане, в том числе и всю бригаду Димы, уничтожило.

Вот тогда мы впервые встретились с Димой, я приехал на Воткинскую ГЭС в Чайковский. Мы выпили и молчали. Чтобы не было тихо, Дима — а у него была одна из лучших в городе коллекция пластинок — завел Шаляпина.

Но все равно было тихо.

Он рассказал, как к нему стучались, барабанили в дверь: «Дима! Дима! Несчастье на шлюзе! Проснись, Дима!»

— Меня лихорадило, как в тот момент, когда доставали первого из моей бригады. Его нельзя было узнать. Пришлось припоминать, кому инструмент давали шанцевый, у кого были резиновые сапоги с дыркой. А дружка, который меня заменил на эти три часа, Сашку, узнал по сандалиям. Так и запомнил: сидит на пересменке и землю из сандалии вытряхивает. А мне говорит: «Иди, иди спать, а то белую горячку схватишь!» «Не раньше тебя», — сказал я ему. Но ушел.

Ши-и-иро-кая масленица,  
Ты с чем пришла?  
Со весельем и радостью,  
Да со всякою сладостью...

Дело-то на масленицу и произошло.

Мы гуляли с Димой по Чайковскому, уходили далеко в лес и разговаривали, разговаривали. Однажды вышли к перелеску, где было кладбище. Небольшое еще, новенькое, в железных заборчиках и башенках из сварной арматуры. Рядом свирепствовала трава, она

бесшумно рвалась вверх, словно старалась скрыть могилы. Вечный спор жизни и смерти. Дима молча рассматривал фотографии, прикасаясь щекой к холодным прутьям.

— И они были. А для чего они были? Для чего мы все были?

Привожу рассказ Димы о похоронах Сталина.

— В 1952 году закончил я I московское училище (школу) музыкальных воспитанников Советской Армии (Томилино). Мать не могла меня прокормить, отдала в эту школу. Да я не жалею. Вышел музыкантом-баритонистом и при распределении единственный попал в образцовый оркестр Высшей военной академии Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова. Академия находилась рядом с крематорием, играли на похоронах разных видных деятелей, лично видел, как хоронили Шкирятова, Мехлиса, многих других. Нас приводят, а там кто-то лежит... Вокруг родственники, близкие, друзья. А потом столик с телом проваливается вниз, а мы играем Гимн Советского Союза и пешочком топаем домой. Ты приглядишься — у меня от долгого держания баритона (закрученная такая труба) с подросткового возраста плечо перекошено. С двенадцати лет таскал. А в нем килограммов шесть будет.

А пятого марта, значит, пятьдесят третьего года умер Сталин. В ночь на шестое нас погрузили в военные фургоны и повезли. Дирижер Кочепасов, капитан, из косимовских татар, объявил, что будем играть на похоронах Сталина, но это государственная тайна. А мы уж к тайнам привыкли, мы за это даже и надбавку получали — «за неразглашение секретов».

Какие секреты? Знали, например, где обычно в Театре Советской Армии сидит министр Василевский, а на юбилее академии им. Фрунзе с Маршалом бронетанковых войск Ротмистровым в туалете встретился. Наш оркестр находился в подвальном помещении академии, и удалось наблюдать, как по-спартански живут генералы, сейчас и студенты так не живут! Комнатка-келья на троих, без жен и без ординарцев, ездят на автобусе. А один раз лично видел, как генерал бежал за трамваем!

И вот Сталин.

Повезли нас в Дом союзов, площадь Свердлова была оцеплена. Ввели через Октябрьский зал, а потом на балкон Колонного зала. Там, на балконе, с пюпитрами рассадили, два метра от барьера. Если чуть приподняться, видно самого Сталина. В красном убранстве казался довольно большим, с усами, страшноватый, не скрою.

При жизни так близко никогда бы не смог я его увидеть. Но я сказал «страшноватый» — это вовсе не от внешнего вида, а скорей от самочувствия, что это именно он лежит. Тот, кого все боялись. А вот мысль, что я присутствую, играю на похоронах человека, повинного в гибели моего отца, почему-то не возникала. Да и молод я был, чтобы судить его: семнадцать лет только исполнилось. Мой баритон пел ему вечную память.

На сцене играл симфонический оркестр, а когда он отдыхал, вступали уже мы. А потом снова симфонический, если заводил что-

нибудь длинное, оставался один дежурный, а мы шли отдыхать в комнаты рядом, почему-то забитые военными и штатскими охранниками из войск МВД. Большинство офицеры — от лейтенантов до майоров. Расположившись вольно, в мягких креслах, спали, играли в домино. Кто-то закусывал печеньем с колбасой, запивая водой... Некоторые от безделья травили анекдоты и громко смеялись. Один в штатском особенно про баб травил, и наш капитан Кочепасов заметил ему: мол, неудобно в такой момент. Тот отмахнулся: «А иди ты, музыкант, подальше!» А тем, кто из наших молодых ребят слушал всю эту похабщину, капитан потом всыпал по два наряда вне очереди.

Запомнилось: один в мундире спал на диване сидя, из-под расстегнувшейся шинели видно было оружие — сразу с двух сторон пистолеты и нож.

Ночь с 5-го на 6-е отыграли, уехали, а потом еще была ночь: с 8-го на 9-е число.

Вечером 8 марта посетителей не пускали, осталась у гроба охрана да подъехала запоздавшая корейская делегация. На ночь у тела оставались две грузинки-старухи в темном. Оркестр почти не играл. Но всю ночь бодрствовал. Запомнилось: почему-то в эту ночь таскали ведра с бумагами. Что за бумаги, почему их надо было таскать ночью?

Утром, когда стали его выносить, мы исполнили Шопена. Потом мы видели, как его грузили, и нас вывели, но дальше площади Революции не пустили. Час или чуть больше проторчали на морозе, пока не провели к Палате мер и весов. Там нас ждал фургон. Настрой был несколько не траурный. Одни говорили про то, как плакал Молотов, а Берия произносил: «Кто не слеп, тот видит...» Но большинство спорило, дадут ли пожать, потому что все изголодались, а в столовую мы опоздали.

Последнее место работы Димы была Рагунская ГЭС в Таджикистане, неподалеку от Душанбе. Он восхищался своим поселочком в горах, приглашал приезжать, а я, конечно, обещал. А потом паническое письмо от жены, что Дима болен, и следом, одновременно с письмом, телеграмма о его смерти. Дважды Господь Бог его уберег, но в третий...

Это случилось в январе 86-го года, практически в его пятидесятилетие. Друзья с огромным трудом перевезли самолетом в цинковом гробу тело в Удельную. Но в крошечной комнатухе Розы Соломоновны он не помещался и всю ночь простоял под окном в палисаднике. Мать не спала и время от времени выходила и заглядывала в флюксигласовое заиндевелое окошечко на лицо сына.

Так она рассказывала, когда мы встретились.

А я вспомнил, что за год или два до смерти Дима мне неожиданно позвонил. Это случилось вечером.

— Ты не очень занят? — спросил он. — Я тебя не отвлек от дел?

— Нет. Я тебе рад.

— Так, может, у тебя и стакан вина найдется?

— Зачем?

— Не спрашивай. Иди и налей.

— Но ведь время... У тебя же междугородняя!

Но Дима сказал:

— Не волнуйся. Я заказал столько, сколько нам нужно. Наливай, у меня сегодня день рождения.

Мы с ним чокнулись о телефонные трубки и выпили. Потом мы поговорили о наших делах, о здоровье. Он тогда не жаловался на болезни. Да и за полгода до смерти не жаловался, когда заезжал ко мне домой. Только выглядел очень усталым и рано лег спать.

Дима сказал:

— Спасибо, Толик... Спасибо, что побывал на моем дне рождения.

Его схоронили здесь, на Рязанке, в Удельной, в местечке, которое называется Родники. От дома Розы Соломоновны полчаса ходу. Кругом дивный сосновый бор, за которым не слышно машин с шоссе.

Я пришел сюда летом вместе с Лемарэном и его женой Мариэттой.

Постоял, вспоминая, как он праздновал день рождения по телефону. И вдруг подумал, что он, как и все мы, был отчаянно одинок. А еще его мучил вопрос, вечный, я будто вновь услышал его голос: «Для чего же мы все были?»

Во время похорон Сталина я служил в армии, в Ростове ярославском, который, в отличие от другого Ростова — на Дону, называли так: Ростов-на-болоте, и в момент, когда это произошло, я был на посту. В прямом смысле — охранял какие-то склады. Я тогда написал даже стихи, очень проникновенные, которые так и назывались: «Я стоял на посту...» В общем, о солдате, который на посту узнает о смерти любимого вождя, но не может заплакать, потому что слезы будут застилать глаза, а на посту нужно быть особенно зорким, чтобы не пропустить врага... Эти стихи, а может быть, отрывок даже напечатали в окружной военной газете.

Так вот, я эту ночь помню.

Стоять на часах зимней ночью тяжело. Два часа напряженного внимания выматывают все силы. Особенно неприятны последние минуты, когда вот-вот должны появиться разводящий со сменой, а их нй в коем случае нельзя пропустить. За это наказывали. Так и торчишь на одном месте, не спуская глаз с темной подворотни, откуда они покажутся. И лишь тенью возникнут, надо закричать громко, даже грозно: «Стой! Кто идет?» А наш сержант Писля тогда ответит: «Разводящий со сменой». А я на это должен заученно произнести: «Разводящий — ко мне, остальные — на месте». И сержант Писля ко мне подойдет и, как положено по уставу, осветит себе лицо



фонариком, хотя и так видно, что это не кто-нибудь, а наш сержант Писля, и уж потом подзовет к себе остальных. Произойдет смена караула. Мы встанем с Зиновием Куцером рядом, и я повторю, как молитву, все мои объекты, сколько с печатями дверей и сколько без печатей дверей, и тому подобное, а Куцер повторит все это же. Сержант проверит с фонариком целостность печатей и уведет нас в караулку, меня и снятых с других объектов. Бросив шинель на деревянные нары, засыпаешь мгновенно, как в яму проваливаешься. И кажется, что только смежил глаза, а тебя уже теребят и дергают за сапог: «Караульный! На пост! Живей давай!»

Я бреду за Пислей на ватных ногах, одуревший, глухой ко всему, но я уже знаю, что это теперь на всю мою армейскую жизнь, а другой у меня не будет. Отстою, а как вернусь в казарму, они, не дав вздохнуть, зашлют в кухонный, самый тяжкий из нарядов, а утром на учебные занятия, да на строевые, и снова наряд... И снова караул...

А началось все с полевых учений, когда мы ставили противотанковые мины. Положили нас на снег, рядком, метров пять друг от друга и велели копать в земле ямки. Попробуй-ка их зимой крошечной лопаткой откопать, когда землю ломом долбить нужно.

На мое счастье, под слежавшимся снегом обнаружилась готовая ямка — видать, осталась от прежних учений.

От радости, что не надо долбить, я полеживал да лопаткой ворочал — пусть издалека видят, что я копаю. А тут ко мне направляются офицеры, двое: командир роты капитан Фурса, а с ним еще капитан —веряющий.

О том, что онверяющий, да еще из штаба округа, я, конечно, узнал потом.

Веряющий замедлил возле меня шаг и сказал:

— А вот боец уже все сделал! Есть время поговорить.

Он приказал мне не вставать, а сам вместе с капитаном Фурсой присел на корточки и стал меня спрашивать.

Веряющий спросил меня, что делаю, зачем нужна ямка и все такое. Тон обращения был непривычно мягок и дружелюбен. Мне показалось даже, что он и вправду не знает, чего мы тут копаемся, и я стал ему популярно объяснять, что копанье мое непростое — минирую по заданию сержанта Писли это место, условно, конечно, но как бы по-настоящему, против войск противника.

— Какого же противника? — спросилверяющий. — Какого рода войск?

— Да любого, — отвечал я, удивляясь, что он не догадывается, не знает элементарных вещей.

— Ну а, скажем, пехоты? — поинтересовалсяверяющий.

— Конечно.

— Но мина-то у вас, кажется, противотанковая? — И он указал на круглую коробку, которая, на мой взгляд, была из-под киноплетки, но как бы изображала мину. О том, что коробка эта противотанковая, я как-то забыл. Теперь я вспомнил и сказал.

— Ну да. Она и пехоту, и танки может! Она все может.

Поверяющий, о котором я не знал, что онверяющий, был явный лопух, я ничего не знал, а он подавно. Капитан же Фурса рассеянно глядел по сторонам и нас будто бы не слушал.

— Вот как? Все? — удивился поверяющий. — А что же будет с танком, когда он наедет на вашу мину?

— Думаю, что разнесет на части, — с готовностью выдал я. И поелозил по снегу. У меня стал замерзать живот, низ живота.

Да и надоело мне учить безграмотного капитана. Обратился бы он к сержанту Писле, тот бы ему все разъяснил. А нам не до мин в первые месяцы было, ведь бытует же солдатская поговорка: первый год служат за страх, второй — за совесть, а третий — кто кого обдурит! Так вот, в первый год новобранцы ишачат за всю часть, а из нарядов не вылезают. Может, нам и рассказывали о минах, но я тогда в наряде был по кухне. А этот наряд пострашнее мин! Нужно тысячи маслянистых алюминиевых тарелок перемыть, картошки вручную несколько ведер начистить, пол размером с футбольное поле продраить, а под финал залезть в горячий котел и, задыхаясь там от гари и пара, выскоблить его до белизны. А он белым-то не был и в день своего рождения!

Вот что мы усвоили, пока читали нам мины. Но ротный наш, капитан Фурса, торопился поступать в военную академию, и ему нужны были наилучшие характеристики. А для этого уже должен был теперь постараться я.

Я и старался. Только у меня замерзал живот, низ живота. А если быть совсем точным, замерзло такое место, которое не надо бы отмораживать, если я собирался на гражданке жить полноценной мужской жизнью и иметь девушку. А я именно собирался все это делать. Да и вопросы были глупые, не стоили они того, чтобы отмораживать это место.

Он, например, спросил:

— А мотор у танка мина ваша взорвать может?

— Конечно, может, — отвечал я, поджимая ногу. Вроде бы стало теплей.

— А башню на танке? — спросил он ласково. Я вообще заметил, что поверяющий с каждым вопросом становился ко мне добрей и приветливей. Это меня и вдохновляло в моих честных ответах.

— И башню может!

— Ну, то есть, все может? — с восторгом спросил он.

— Все! Все! Как рванет — и к фигам! — сказал я.

Поверяющий восхищенно повторил за мной: «Рванет — и к фигам!»

Я кивнул, поднял глаза на ротного и обомлел: лицо его, несмотря на легкий мороз, покрылось красными пятнами.

А поверяющий с легкостью поднялся и со словами: «Рванет — и к фигам» — быстро пошел прочь, наш капитан бросился за ним.

А вечером меня вывели перед строем, еще вывели рядового Олехова и Зиновия Куцера, все из нашей роты, и капитан Фурса кратко, но выразительно объяснил, какие мы беспросветно тупые, и ле-

нивые, и неразвитые, и... И как нас надо учить, и уж он научит, на всю жизнь научит, так и знайте!

Он повернулся к сержанту Писле и сказал:

— Так научите же их! Да по-лу-ч-ше! — И ушел.

— Научим! Лучше некуда! — с готовностью подхватил тот, поедая глазами спину начальства.

Вот тогда и началась наша учеба.

Олехова, Куцера и меня понаги из наряда в наряд, да в караул, да по тревоге в поле ночью мины ставить, а утром на занятия, во-семь часов строевых, и опять в караул, и опять в наряд...

Недели через две стало ясно, что нас изживают. Бессонницей изживают, нарядами, работой.

Если бы на гражданке такое случилось, можно в конце концов наплевать и уйти. На работу наплевать, на занятия, да на что угодно. А куда уйдешь из роты, если она тебе на всю солдатскую жизнь одна? Как, впрочем, и сержант Писля, и капитан Фурса!

В «Теркине» — помните: «Без приказа командира ни сменить свою квартиру, ни сменить портянки он, ни жениться, ни влюбиться он не может, нету прав, ни уехать за границу от любви, как бывший граф...»

Ну, да мы с Зиновием Куцером хоть и слабаки, но здоровые слабаки, и руки и ноги у нас в порядке. А Олехов, крупный, увальнистый, добродушный Олехов попал в армию с больными ногами. Уже как проморгала его медицинская комиссия, одному Богу известно. Но больные эти ноги особенно раздражали сержанта Пислю, который свято верил в порядок и медицину и не мог представить, что врачи тоже ошибаются.

Это он доказывал делом. После всяких на плацу занятий, длившихся восемь часов, он занимался отдельно с Олеховым, заставлял его бегать, маршировать, а то и ползать по снегу. Через весь плац туда и обратно, и снова туда, и снова обратно, до тех, в общем, пор, пока не выдохнется и не ляжет пластом, даже подняться не в силах, поднимали его по приказу сержанта солдаты.

Были у нашего сержанта штучки и похлеще. Так, найдя в казарме окурок, он выстраивал роту, и с тем окурком во главе роты, с песнями, вскинув лопаты на плечо, как оружие, маршировали мы далеко за город, километров так за десять, рыли там глубокую яму и в ней «хоронили» окурок. «Мы живем не тужим, а кому мы служим? Служим родине своей боевым оружием!»

Но коллективные наказания такого рода превращались как бы в развлечение, а значит, не были убийственны для наших душ. Другое дело, когда тебя отметили лично. Когда на тебя глаз положили. И не спускают, и следят, ловя каждую промашку.

Вот когда стоял я у тех складов в последнем своем карауле накануне смерти вождя и учителя и друга всех советских бойцов, я особенно отчетливо понял, что не выскочить мне живым из этой петли, что затянули с двух концов сержант Писля и капитан Фурса. Никак не выскочить, разве что ногу или руку себе прострелить из своего автомата! Да ведь из госпиталя вернут в ту же часть!

Был, был у меня позыв написать рапорт о переводе, хоть в армии такие рапорты ходу не имеют. Так ведь хуже не станет, если напишу я о том, что, проработав много лет в авиации, зная радиотехнику и телеметрию, могу я быть полезен по своей специальности, а не тут, в саперах, где лишь копать да грузить, других заданий не надо.

В тот памятный день, когда моя сестренка переезжала в новый дом, а я рылся в своих бумажных архивах, наткнулся я на черновик моего рапорта. Прочел и поразился, насколько наивно звучат мои доводы. Да за каждой строчкой одно видать — что мне позарез нужно вырваться из этой части! «Караул! Помогите! Скорей! Скорей!» Вот лишь каких там слов не было. А должны быть.

Рапорты я свои подавал, как положено, по инстанции, то есть сержанту Писле. Думаю, что он ими просто подтирался. Никаких ответов я не получал и не ждал. Просто мне самому было легче от моей такой писанины.

И так до памятного дня смерти Сталина.

В тот день на часах я не укараулил появления разводящего. Хоть следил за темной подворотней, глаза таращил изо всех сил! Да сил-то уже и не было! Непрерывная гонка по кругу, без просвета, без времени на отдых сделала свое дело, на какой-то миг, мгновеньице я, видать, отключился, а когда пришел в себя, увидел, что стоит неподалеку от меня сержант Писля со сменой и свирепо на меня смотрит. Ну а я, как дурак, на него вылупился, тарашу глаза и не ору. Это сначала. А потом с испугу как рявкну: «Стоить! Кто идет?» Он и в самом деле подошел ближе положенного по уставу. Рявкнул я, еще и затвором щелкнул, тоже с испугу, направив на него дулом в лицо свой заряженный автомат. Сержант Писля аж присел от страха. Потом-то опомнился и сидя мне кричит: разводящий, мол, со сменой, ты что, спятил, не узнал? И я тогда опомнился и велел ему подойти. Вот когда я осознал над ним единственный раз свою власть. А ведь и правда мог пальнуть, он же хоть такой-растакой, а не имел права без моего разрешения ко мне приближаться!

Ну, уж отшагивая следом за его широкой спиной в караулку, я все прикидывал, лениво, правда, сил не было всерьез переживать: чем теперь возьмет с меня за свой позор, испытанный на глазах у солдат? Не даст мне двух часов на отдых, как в прошлый раз? Он тогда заставил искать закотившийся якобы под стол патрон, а сам украл у меня патрон, положил в карман. Их сдают по счету, сверкающие патрончики, запихивая в высверленные гнездышки в квадратном куске дерева. Не надо считать, все сразу видно. А тут одно гнездо оказалось пустым.

Пока я извлекал патроны из рожка, он, видать, и сунул в карман. А сам приказал искать на полу. Два часа я елозил по этому полу. А через два часа он отдал патрон, с ухмылкой достав из кармана, а за грязную гимнастерку послал в очередной наряд. Куда? Ну, конечно, на кухню!

Но в этот день, помню отчетливо, мы вернулись в караулку, а Писля не доложил дежурному офицеру о моем чрезвычайном проступке. Промолчал. И поспать дал. Два полных часа. А когда снова поднимал, не руганью, не тычком нас будил. Да и вообще, будто не приказывал, будто просил: «Братцы... Пора, братцы, в караул!»

Это мы-то братцы!

Вот тут мне и показалось, что я окончательно спятил, если мой личный враг Писля меня братцем называет! Но все разъяснилось, когда в караулку вернулся дежурный офицер. Проверая нас, как полагалось перед выходом, он произнес, глядя в пол:

— Новость такая... Сталин умер. — И отвернулся, пряча лицо.

Ну конечно, мы читали вслух бюллетени о его болезни, и они тоже были как гром среди ясного дня. Они оставляли нас в состоянии тревоги, беспомощного ожидания, но они не ввергали нас в ужас перед какой-то неотвратимостью, ибо речь шла не об обычном человеке, речь шла о бессмертном вожде. И оставалась надежда: он не такой, как мы и как остальные! А значит, он не умрет.

А он умер.

Я стоял во дворе базы, положив руки на автомат, чтобы они хоть немного отдохнули, и тихо плакал. Не помню, кого мне было жалче — себя или товарища Сталина, родного и любимого. Но именно от него пришло облегчение ко мне в эту безумную ночь, ибо я мог сотворить с собой что-нибудь, я уже не видел просвета в этой жизни.

Сержант бы добил, доконал меня все равно. Не добил, не стал добивать лишь потому, что умер Сталин. Значит, в день его смерти что-то случилось такое, что нельзя было меня добивать. Почему нельзя — этого я не знаю. Но я сам видел, что они — и Писля, и дежурный офицер — на это время стали другими. Другой голос, другие слова, повадки. Даже по отношению к нам, отданным на закляние, — Олехову, Куцеру и ко мне.

В казарме звучала траурная музыка, шла трансляция из Москвы. Нас не погнали, как обычно, на строевую, а посадили в ленкомнате и велели читать пятую главу из «Истории партии»: эту главу, мы знали, написал он сам, своею сталинской рукой.

А потом нас повели в столовую, но опять же без шума, без громких команд, а там вдоль столов ходили офицеры нашего полка.

Не успел «разводящий» — так в армии именуют половник — проделать свой законный круг по десяти железным мискам, к нашему столу подошел командир части. Случай тоже, в общем-то, небывалый. Сам полковник Яковлев явился в этот день в столовую.

Говорили, что он отвоевал всю войну, имел множество наград, отличался независимостью суждений, упрямым характером и с низложением маршала Жукова тоже попал в немилость, из штаба был послан сюда, в захолустный гарнизон. Еще все знали, что полковник обожал «Василия Теркина». По этой причине в праздничные дни меня извлекали на три часа из какого-нибудь наряда и привозили в офицерский клуб на концерт. Мне вполголоса сообщали, хоть это сообщение и звучало как приказ: «Яковлев спрашивал... будут ли сегодня читать «Теркина»?»

Я выходил на сцену в гимнастерке, наспех приведенной в порядок суетливым начальником клуба, и читал в который раз моего «Теркина». Знал я всего «Теркина» наизусть.

Шли худые, шли босые,  
В неизвестные края.  
Что там, где она, Россия,  
По какой рубеж своя!  
Шли однако...

Полковник Яковлев, я видел, сидел в первом ряду и вытирал покрасневшие глаза. Наверное, в такие мгновения он вспоминал войну, фронт, свою боевую молодость.

А меня после бурных аплодисментов сразу же запихивали в машину и отвозили в роту, где с ходу нагружали работой покрепче, молча мстя за мое везение побывать на празднике в то время, как мои дружки вкальвают за себя и за меня! Слезы полковника Яковлева отливались мне вдвойне. Но он-то об этом не знал. Не мог знать.

Теперь он стоял возле нашего стола и смотрел на нас, в шинели, в папахе, покрытой изморозью. Мы, наверное, должны были встать, но он сказал: «Сидите», — продолжал нас рассматривать. И вдруг, обращаясь ко мне, спросил, я даже вздрогнул, как от удара:

— Что, рядовой... Переживаешь?

От растерянности, от испуга я не знал, что делать, как себя вести — отложить ли ложку, перестать ли жевать... Я поднялся, но сел, снова подскочил, в то время как мои дружки по отделению онемело снизу вверх смотрели на полковника. Они тоже впервые видели его так близко.

— Да сидите же... Сидите! — махнул он рукой и мне, и остальным. — Я хотел лишь узнать... Как тебе служится-то... Теркин? Доволен ты службой? Или нет?

Теперь не только отделение, а вся столовая перестала греметь ложками, а офицеры выставились из-за спины полковника в нашу сторону. Все с любопытством ждали, что я отвечу.

А я сказал:

— Я вам рапорты пишу... Там все рассказано... Товарищ полковник.

— Да? — спросил он, удивившись. — Я еще не прочел, но... Я обещаю. Сделаю все, что смогу.

И, резко отодвинувшись, ушел. И все сразу отодвинулись, я имею в виду офицеров, среди которых был, конечно, Фурса. Я увидел лишь его налитой пунцовый затылок. Но и солдаты, те, что были рядом, как-то отчужденно молчали. Будто я и их подвел. Надо-то, как я понял потом, сказать эдакое бравое, и ото всех, а я от себя, и о каком-то рапорте. Да иди ты со своим рапортом! Знаешь куда? Так это мне потом выразили свое отношение.

Случилось это 5 марта. А в конце апреля, перед самым Первомаем, я драил в штабе полы. Жизнь моя после того события не изменилась.

Сперва шваброй, потом тряпкой вручную я выскребал каждую половичку, зная, что за мной с пристрастием наблюдает капитан Фурса. Он сидел тут же и делал вид, что работает, но я знал, видел, что он не работает, а следит за мной. Зачем? Да по привычке, наверное. Характеристику в академию в этот год ему так и не дали, и он ходил злой, даже нас не замечал. Лишь раз, когда я встретил его во дворе казармы и бойко, стараясь печатать шаг, отдал честь, он прошел мимо, потом оглянулся и позвал меня. Указывая на голову, где не оказалось у меня пилотки, произнес презрительно: «К пустой-то голове! Пройти мимо вот этого столба, — указал на столб, — и тридцать раз отдать честь». И ушел. А я маршировал, чеканя шаг, и приветствовал тот столб, и приветствовал!

Теперь тряпка моя дошла до пяточка пола, где стоял сапог капитана Фурсы. Я не мог, не имел права попросить его передвинуть ногу. И тогда я стал методично обмывать пол, едва касаясь сапога. Я кругами водил тряпку, изучив тот сверкающий сапог от подметки до голенища... И все рядом да рядом, тер да тер... Умоляя про себя этот столб хоть чуточку шевельнуть ногой!

И вдруг я услышал прямо в свой затылок:

— Забываю сказать... Рядовой... Поступил ответ на ваш рапорт...

Тряпка застыла в моих руках. Я смотрел на ненавистный сапог и ждал ответа. А Фурса наверху молчал.

Тогда я поднял на него глаза и встретился с его глазами. Он смотрел на меня, как и должен смотреть на букашку, которую мог бы раздавить, но почему-то еще не раздавил. Впрочем, еще раздавит. Глаза его были холоднее космоса. Лишь нащупав в моем взгляде нечто похожее на страх перед отказом сверху и осознав глубину моего страха, он удовлетворился. Губы у него были красны, как у женщины. Сочные, капризные. Мои дружки по взводу утверждали, что Фурса пудрит лицо.

Он помедлил и... переставил ногу, освобождая для моей работы сухой пяточок пола. Этим он как бы давал понять, что пол-то, независимо от разговора да и результата, который он еще выскажет, я должен домыслить. Таким образом, сам факт ответа на рапорт да и сам рапорт приравнивались к чистоте этого пола. Вот когда я дотер последний сантиметр, капитан Фурса, не давая мне времени подняться, произнес небрежно, что рапорт мой удовлетворен и я перевожусь в другую часть. Не сегодня, конечно, но завтра, а может, послезавтра, когда оформят билет и продкормовые.

Не в силах описать, что со мной творилось.

Со мной, но и с моими дружками по роте. В моей свободе они вдруг увидели надежду и для себя. Они вдруг поняли, что можно за себя бороться. Рассказывают, что после моего отъезда все бросились писать рапорта.

А я с небольшим вещмешком добежал — это я уж точно помню, что я почему-то бежал, а не шел, — до станции, доехал до Москвы,

потом сел на электричку на Казанском вокзале. Смотрел бездумно на весенние, в легкой пьянящей дымке поля, что кружили за окном, и ничего мне больше в жизни не хотелось.

Я знал, что будет дом, отец, сестренка... А потом я рвану на электричке до Кратова, до нашего клуба «Стрела», где Мария Федоровна Сельцова и где на Первое мая обязательно наши дают концерт. Нет-нет, выступить я не стану, я и не вольный, гражданский, я лишь проездом... Но тем дороже появиться вдруг за сценой и услышать возглас: «Господи! Да откуда! Да похудел как! Прямо Теркин!»

Но помню, что я выступил. Меня упростили прочесть «Теркина».

Я вышел, посмотрел в первые ряды, где мог бы сидеть полковник Яковлев, и увидел наших, из лаборатории, они махали мне.

Я тогда прочел:

Шли худые, шли босые  
В неизвестные края.  
Что там, где она, Россия,  
По какой рубеж своя!

Шли однако. Шел и я.  
Я дорогою постылой  
Пробирался не один...

Путь мой далее лежал через Москву, через мой Казанский вокзал с его счастливыми знаками, блиставшими золотом ярче моих пуговиц, надраенных асидолом, в голубой волжский город Саратов. Конечно же, в авиационную часть! Случай для армии просто невероятный, но я свидетельствую: он произошел в апреле 1953 года. А мой будущий командир, капитан Жуков, долго будет допытываться у меня, кто же в Генеральном штабе у меня из близких. Ибо не только мой перевод, но и телеграмма была, а в ней приказ устроить и доложить, как я устроен.

А из Ростова, что не на реке, а на болоте, как мы выражались, пришло нескоро письмо. В нем пишут о рапортах, что подали в нашей роте все до одного, а еще о том, что вскоре пришла разнарядка на поступление в военные училища и многие ушли, в том числе ушел и Зиновий Куцер. А вот Олехов, на которого сильнее всего и пал после разъезда гнев сержанта Писли, в училище из-за своих больших ног не попал. Он покончил с собой, застрелившись из автомата. Это случилось ночью, во время караула, возле тех самых складов, что мы охраняли в день смерти Сталина. Кстати, в письме еще сообщали, что склады те оказались пустыми, ничего там не было. Это выяснилось по весне, во время уборки. Одни печати, оказывается, и были. А значит, мы охраняли печати да замки, так написали друзья.



## Музейные вещи

В музее — упавший под ношей Атлант,  
Сухарь, и декрет, и муаровый бант,  
И волны беспамятства льются,  
Лишь дети и внуки Инессы Арманд  
Остались от всех революций.

Россия истоптана вся сапогом,  
Вся в дом превратилась сиротский,  
И что из того, что совсем о другом  
Кричали и Ленин, и Троцкий!

Но вечно сквозь поле и пасмурный лес,  
Что широколиствен и хвоист,  
Сквозь шелест истлевших шелков РВС  
Тяжелый течет бронепоезд.

Парижских бессмертна бульваров листва,  
Дантона отрубленная голова,  
Фригийский колпак Демулена,  
И старая та заводская Москва  
Гудками своими нетленна.

И жаркое медное Крупской кольцо  
Во времени вспыхнет безлюбом,  
И то дедовитое, злое лицо,  
Расколотое ледорубом.

## Юность

На Севере диком...

*М. Лермонтов*

Юность. Лето в Италии.  
Двадцать пять — Колымы.  
Путь сквозь Данта и далее —  
От зимы до зимы.

Оппонентка Керенского,  
Кинокритик — в конце.  
Сколько мужества женского  
В пожелтелом лице.

И, смеясь беззаветнее,  
Горьковато шутя,  
Дышит чуть не столетняя  
И — такое дитя!

И не жалко ей времени  
Говорить о себе  
Непонятному племени,  
Незнакомой судьбе.

Но заброшенный жизнями  
Между нами — провал.  
Слышу ветер немислимый,  
Вижу лесоповал.

Зной полуденных пристаней  
Сквозь неистовый снег  
Вижу суше и пристальной,  
Словно старше на век.

И друг другу в бессилии  
Только чудимся мы,  
Словно пальма Сицилии  
С горбылем Колымы.

Только пеною вскинется  
Все, что было давно,  
Как в приморской гостинице  
Молодое вино...

## Француженка

Француженка, резкая, как «Марсельеза»,  
Дерзка, быстроглаза.  
Ее заливало, как персик, железо  
В минуту экстаза.

Живейшие жесты и пылкие речи,  
Энергия стопа.  
Французские узкие детские плечи.  
Могучее лоно.

Сидит она, на ногу ногу закинув  
И выставив локоть.  
Решилась оставить свой остров пингвинов —  
Медведей потрогать.

Сурово раскрылось бесстыдное тело  
В жару ресторана,  
Но в девичьем взоре судьба пламенела,  
Как площадь Руана.

## Еврейка

Еврейка смеется в ночном ресторане,  
Бокал за высокое горло берет.  
Слова осуждения привычно чеканя,  
Надменно кривится опасливый рот.

И молча — так осенью смотрит волчица —  
Взирает с бесстрастной тоской, свысока...  
Улыбчивый камень на пальце лучится,  
И веет духами в чаду кабака.

Что мне этот взгляд, недреманно и сонно  
Скользнувший по зыби вселенского зла,  
Широкие бедра шинка и Сиона,  
Лоза винограда, Трешники зола?

Лазутчицы четкость и желчь секретарши...  
Заносчиво курит, приветливо ест.  
Зачем же мне грезится жезл патриарший,  
Пылающий куст и чернеющий крест?

Немые молитвы о нищенской манне,  
Века и кружение душное толп.

Ведь мы заблудились. И что там, в тумане, —  
Телец золотой или огненный столп?!

## Лермонтов

*Майе Луговской*

Лермонтов в рыжей овчине,  
В ментике и в сюртуке,  
В вечном поручичьем чине,  
С шашкой в короткой руке.

Резать чеченцев готовый,  
С дамами плоско шутить,  
Брезжащий в прозе почтовой  
И не желающий жить.

Вот он — в скрипучей телеге,  
На дребезжащей арбе,  
В светской беседе, в набеге,  
В льющемся небе, в судьбе.

В плавнях туманных Тамани,  
В нимбах Крестовой горы,  
В Библии или в Коране,  
В ровном кипенье Куры.

В желтых своих эполетах,  
С комьями крови в горсти,  
В крупных пробелах, просветах,  
В звездах на Млечном пути.

---

## Новый Гулливер

---

Жизнь моя под угрозой, по-видимому. Я лежу один, прикованный к постели гриппом, и моя жена воспринимает все, что я говорю, как бред. Уже идет речь о больнице. Два раза в день приходит какая-то мастерица и практикует на мне, как законченная садистка, то есть всаживает в мякоть огромную иглу и делает вид, что торопится дальше, а я боюсь ей сказать, чтобы она не оставляла ампулы и вату, поскольку мало ли как их используют «те». «Те» используют все, в том числе и недоеденное, и недопитое. Эксперимента ради я оставил на стуле, не принял таблетку аналгина, и всю ночь у «них» шел пир горой и раздавались пьяные песни, у сволочей.

Я познакомился с ними в самом начале болезни, когда не мог спать ночью и встал, чтобы переодеть мокрую майку, поскольку меня бил озноб и т. д. Я пошатнулся и увидел у плинтуса небольшого жука, который быстро побежал, как они могут. Я этого жука хотел пришлепнуть и наступил на него, но успел наступить только на лапку, и когда поднял шлепанец трясущейся рукой, в свете далекой настольной лампы увидел на подошве отчаянно повисшего человечка размером с таракана с раздавленной ниже колена ногой. Человечек, видимо, находился в шоке. Я отлепил его, одеяло с меня сползло, и что было делать, я не представлял, одно только утешало, что это галлюцинация. Я полил на человечка водой из стакана, он несколько раз вздрогнул у меня на руке и пополз. Куда его было девать, мою галлюцинацию? Я положил его на блюдце и стал рассматривать. Человечек был одет во что-то грязно-серое, при ближайшем рассмотрении это оказался клочок ваты, порядочно-таки заношенный. Моя садистка, что ли, уронила? Но ведь это галлюцинация, успокоил я сам себя. Моя галлюцинация, волоча расплющенную ногу, потащилась на трех конечностях к краю блюдца, свесила лохматую голову и, живучее создание, перевалила на стул. Стой, не уйдешь, как бы воскликнул я и на пути моего человечка поставил руку. Он поднял голову, примерился и стал, щекоча меня руками, взбираться, как дурак, по пальцам не хуже, чем по бревенчатой стене. Замечательно было то, что я внутренне хохотал над его жалкими попытками, однако вид моего окровавленного мизинца, когда я стяхнул с руки привидение, ошарашил меня... Так вот как может протекать бред, подумал я и вытер пятнышко крови о майку. На этом я влез в свою ледяную постель и стал дрожать от холода, пока не наступило утро и жена не пришла мне дать питья в мой чумной инфекционный барак.

— Смотри, у тебя ночью шла носом кровь, — сказала жена, указав на майку.

Я попил и немного съел какой-то дряни из тарелки, пока жена со-

биралась на работу. Затем весь день ушел у меня на наблюдения за тем, как мои галлюцинации добывали из стакана и тарелки воду и пищу. Воду они носили толпой в ампуле из-под новокаина, а спускали ее в бинтах. Кашу они просто вылили на пол, наклонивши над пропастью тарелку, а было их видимо-невидимо. Внизу, на полу, кучу каши разбирали в свою посуду, как то: в копейку, в отбитые горлышки ампул, в клочки картона (их везли по полу). Фигурировала также чайная ложка, упавшая у меня вчера утром, ее нагружали и несли целой колонной.

Мой инвалид бесследно исчез, жена дала сменить мне майку, доказательства галлюцинации исчезли, но человечки, суетившиеся у плинтуса, не исчезли. Двоих я обнаружил у себя перед глазами, они шли вверх по ковру, как альпинисты в кустарниках, и целью их похода, я обнаружил, была полка, но там, между ковром и полкой, существовал так называемый отрицательный угол, и они, понюхав и покачавшись в шерстинках ковра, канули вниз. Они умели падать, эти люди! Понимали, что падают на постель, и, упавши на одеяло, долго и трудно шли в связке по торосам крахмального пододеяльника к своему плинтусу.

Я вообразил себе, что ночью они роются у меня в кровати, работают по сбору крошек. И о тараканах такую вещь подумать противно, а тут мыслящий враг! «Галлюцинация», — громко сказал я себе и позвал жену, чтобы она с кипящим чайником прошлась по плинтусам. Но жена ушла, а деятельность моих красавцев развернулась вовсю. Когда я вышел, держась за стену, они умудрились в короткое время вытащить из подушки в пятнадцать местах перья. (Я застал их в середине работы и вынужден был сам вытащить эти перья, чтобы спокойно лечь на подушку, и побросал их вниз, на пол, после чего опомнился, но перья уже исчезли в щели одно за другим.) Они, видимо, устилали себе пол жилища.

Теперь это было их главное развлечение, они наполовину вытягивали перья, и мне оставалось только со стоном довершать их работу. Как-то я попытался перевернуть подушку, и, вставши в очередной раз, чтобы открыть дверь моей садистке, я затем лег лицом прямо в торчащие остья, которые они успели вытащить и на этой стороне подушки.

Я не решился их уничтожить, помня о пятнышке крови. Кроме того, я в одном человечке, гулявшем у меня по пододеяльнику, обнаружил мать с ребенком (в ваточке) и внутренне задрожал. Она шла, как мадонна, лицом ко мне, и младенец плыл личиком ко мне. Я закрыл глаза, а эта самоотверженная мать подобрала у меня с подбородка что-то прилипшее (по виду — крошку желтка) и, нагруженная этим куском и своим ребенком, канула в волны пододеяльника.

Дальше — больше, они начали сколачивать себе мебель, что ли. У них появился кусочек лезвия бритвы (откуда?). Они им отрезали пластиночку от ножки стула и понесли, как лесорубы, эту доску домой. Тюк-тюк, перетюк — слышалось тихое щелканье, это они там то ли гвозди заколачивали (какие?), то ли обтесывали дерево бритвой...

Через два дня стул подломился под моей сослуживицей Мариной,

женщиной полной и громкоголосой, которая принесла мне мою зарплату, добрая душа, и поплатилась за это испугом и ушибом ягодиц, так как решила посидеть около меня и рассказать кое-что о нашем новом начальнике, который заявил-де на общей летучке, что знакомиться будем в работе. С этими словами Марина шлепнулась очень даже неожиданно и оказалась сидящей на полу среди обломков. Когда Марина ушла со стонами, стул лежал на полу. Вечером пришла жена и при мне унесла только спинку и сиденье. Ножки исчезли. Я закрыл глаза от изнеможения, а жена решила, что ножки я выбросил еще раньше (куда?! когда?!).

Стало быть, у них уже начался расцвет строительства, они скреблись и колотили почем зря, и некоторое время спустя они пошли на добычу моей картошки с котлетой (я не стал есть), вооруженные платформой на колесах.

Все шло у них в ход, эти воры тащили уже мелкую посуду типа ликерных рюмок, запасали в чашку воду, волокли яблочные огрызки из помойного ведра. С течением времени они начали разбирать паркет для расширения ходов и магистралей, выколупали из оконных рам по кускам пенопласт, начали рвать по ниткам (на канаты) мою простыню...

Я по-своему борюсь, то есть ем теперь все, а остатки спускаю в унитаз, лежу без простыни (пододеяльник для них трудноват). Но ковер они начали просто косить косою, рассчитывая, видимо, начать у себя плетение циновок.

Но их волнует проблема освещения, и однажды я услышал легкий запах дыма ночью. Я лег на пол и увидел прямо-таки тлеющий край газеты, а кругом увидел этих сволочей, сидящих перед своим костром и смотрящих в огонь все как один. Я сбегал на ватных ногах на кухню и плеснул в них чашкой воды. Они восприняли этот ливень как явление стихии и вынесли свои ватки на просушку — ватки, нитки, шерстинки и голых детей! Сил не было на это смотреть, и я им туда поставил свою настольную лампу, чтобы они обогрелись и получили свой свет. Они, видимо, сочли это за явление кометы и с писком спрятались. Вещи, однако, просохли.

Самое главное, чтобы жена не догадалась о моей борьбе. Иначе мне не миновать больницы, а за это время мои лилипуты окончательно разберут паркет, соткут себе половики, оседлают диких тараканов, освоят мусорное ведро и хлебницу и в конце концов устроят какой-нибудь сабантуй с горящей газетой, тут-то нам и придет конец.

Поэтому я их караулю и стараюсь не испугать — не дай Господь они спрячутся в недра нашего дома, как тараканы, а ведь они разумные существа! И не миновать нам газового взрыва и пожара в результате их войны третьего-второго этажа или какого-нибудь потопы из-за проверченной в трубе дыре группой их геологов...

Они-то погибнут, но мне гибнуть неохота. Я стою на страже и уже понимаю, что я для них. Я, всевидящим оком наблюдающий их маету и пыхтение, страдание и деторождение, их войны и пиры... Насылающий на них воду и голод, сильнопалящие кометы и заморозки (когда я проветриваю). Иногда они меня даже проклинаят, как

какая-нибудь мать, швырнувшая в меня своего ребенка (то ли без мужа родила, то ли заболел, то ли он у нее шестнадцатый).

Самое, однако, страшное, что я-то тоже здесь новый жилец, и наша цивилизация возникла всего десять тысяч лет назад, и иногда нас тоже заливают водой, или стоит сушь великая, или начинается землетрясение... Моя жена ждет ребенка и все ждет не дожидается, молится и падает на колени. А я болею. Я смотрю за своими, я на страже, но кто бдит над нами и почему недавно в магазинах появилось много шерсти (мои скосили полковра)...

Почему?..

---

## Медея

---

Страшно рассказывать эту историю, а началась она с того, что я поймала такси. То-сё, пожаловалась, что сегодня утром заказанное такси не явилось, даже не позвонили. Из-за этого, пожаловалась я, бабушка семидесяти трех лет опоздала на поезд, итого мы все переволновались, бабушку не встретили, дети поехали в Москву, а бабушка опять-таки на такси к ним в деревню, все разминулись, ушел целый день и полсотни денег.

— Ну жалуйтесь, — сказал таксист, — напишите.

— Даже не позвонили.

— Я, — сказал таксист, — однажды тоже завяз в новом районе, попал в яму, автоматов нет, бегал-бегал, уже пять минут, как я должен, а я никак. Остановил другого таксиста, попросил его позвонить. До сих пор не знаю.

— Самое жуткое, это что бабушка переволновалась.

— Не самое жуткое, — ответил таксист.

— Мало ли, какие бывают последствия.

— Я тоже один раз оказался в Тропареве, а у меня заказ в Измайлово. Вот я гнал. Успел.

Таксист был лет сорока, такого слабого типа, в ковбойке с потрепанными обшлагами. Слабый рабочий, по словам одного умершего голубого, гениального режиссера. Слабый рабочий или молодой слабый рабочий, пальчики оближешь: не сопротивляется. Глаза как бы с поволокой, прикрытые, тоже слабые и небольшие. Портрет здесь важен для дальнейшего. Ввалившиеся щеки, но в такси потом не пахнет. Слабые рабочие обычно редко моются, по субботам, и по субботам совокупляются, после бани. Стало быть, этот не таков. Но дело не в том.

Дальше разговор потек в том смысле, что таксист как будто всем подтекстом уверял меня не жаловаться на того таксиста, все бывает.

— А вы завтра работаете?

— Работаю, — сказал он, насторожившись.

— Со сколько?

— С часу.

— А то у меня завтра такси заказано в аэропорт на шесть утра, боюсь, что не придет. Вот будет дело! Утром ничего не достанешь.

Он обошел этот вопрос стороной и сказал: то, что я ему рассказала о своей беде, ровно ничего по сравнению с тем, что бывает.

— Ничего-то ничего, — сказала я кисло, поскольку у каждого свое, — но, конечно, это не самое страшное.

— Не самое страшное, — эхом повторил он. — Бывает такое!

— Ой, не говорите. Знакомая рассказала про свою однокурсницу, она поехала с двумя детьми к свекрови в Сибирь. Зима, морозы, младший мальчик годовалый заболел пневмонией, больницы нет, она его повезла на станцию, сели в поезд, там он по дороге умер. Привезла мертвого мальчика и живую девочку пяти лет. Муж встречал на вокзале, увидел такое дело, избил жену, сломал челюсть, попал в тюрьму на четыре года. Она осталась одна с девочкой, сама не работала. Стала подрабатывать в газете, писала всякие мелочи. Рублей сорок — пятьдесят в месяц. Поехала с дочерью за деньгами в редакцию, а дело шло к закрытию. Дочка упиралась. Она ее волокла и уже в вестибюле редакции дала девочке пощечину и попала по носу. У девочки пошла кровь. Вахтерша вызвала милицию. Девочку отобрали и лишили родительских прав. Все. На суде объявили ее психически ненормальной и недееспособной. Все.

Он как-то странно посмотрел на меня, как-то выразительно. Так однажды смотрел в мою сторону эксгибиционист в пустом вагоне ночной электрички. Я вошла, сослепу села неподалеку, обернулась, а он сидит и смотрит на меня, как бы гордясь, утомленно и выразительно, а в руках держит свое богатство. Ужас охватил меня.

Тем не менее мы уже приближались к моему дому. Схватила я такси на Каланчевке, там обычно столпотворение у трех вокзалов, стоит дикая очередь на стоянке такси, нервотрепка, узлы и чемоданы, оружие родители с детьми. А на другой стороне площади таксисты едут осторожно и выбирают седеков. Услышав, что мне недалеко, он и согласился. Тихий немолодой слабый рабочий. Жаловаться он меня не отговаривал (я жаловаться собиралась только ему), но заступался за шоферскую братию подспудно, не в лоб. Заступался так, что сердце переполнилось ужасом, и до сих пор он стоит перед глазами — сидящий, слабый, тихий и отрешенный. Грубые руки с сильными ногтями слабо лежали на руле.

— Спать хочется, — говорю я, — ночь собирала детей, эту ночь опять собираться.

— Это ничего. Это ничего, — сказал он в ответ. — Я не сплю уже месяц.

— Самое лучшее лекарство — валерьянка, — сказала я ему, как идиотка, ничего не зная. — Моя одна знакомая перепробовала все, остановилась на валерьянке.



— Не помогает, — откликнулся он, продолжая свою глухую защиту чести шоферов. — Не сплю.

— Главное, — продолжала я нападать на честь шоферов, — очень страшно за бабушку. Все-таки семьдесят три года!

— Ничего, ничего.

— Мало ли.

Он сказал:

— А я вот мучаюсь виной. Я виноват.

Я как-то глухо промолчала, переваривая это сообщение. Он сказал следующее:

— У меня умерла дочь четырнадцати лет.

Так.

— Недавно, пятого июня.

Вот почему он не спит, бедный шофер.

Он посмотрел на меня своими бедными глазами.

Я почему-то сказала:

— Самое страшное — это первый год. Первый год самое страшное.

Он ответил:

— Прошел месяц. И я виноват.

Я потеряла вообще соображение, где, что и когда. Мы ехали.

— Может быть, вам кажется, что вы виноваты?

— Нет. Я много себе позволял. Я подготовил это. Я... Что говорить.

Я ответила:

— У меня есть знакомый, у него сын повесился, двенадцати лет. Позвонил ребятам: приходите, я вешаюсь, — а они не пришли. Он и повис. Мать пришла потом. Она не могла плакать. И отец не мог.

— Я уже выплакал все, глаза сухие. Сухие глаза.

Он посмотрел на меня своими сухими полузакрытыми от слабости глазами.

— Я виноват.

Я не могла ничего спрашивать, что спрашивают обычно люди из любопытства, как и что. Я кинулась в бой.

— Знаете, они три года обождали и родили еще сына. Сейчас ему десять.

— Знаете, когда человеку сорок четыре года...

— А жене сколько?

— Жене сорок два.

— Моя знакомая родила в сорок четыре года. Сейчас девочке уже семь лет. Хорошая такая девочка.

— Знаете, жена т а м.

— В психушке?

— Т а м. Врачи говорят, что это все.

— Тяжелое состояние?

— Да. Совсем.

— Значит, это еще поправимо. Буйное как раз вылечивается.

Далеко мы зашли с защитой чести шоферов. Что же такое с ним

произошло и с его дочерью? Четырнадцать лет, страшный возраст. Не углядел. Он виноват.

— Знаете, — говорю я, — у Андерсена есть такая сказка. Не входит в сборники для детей. У матери умер ребенок. Мать пошла к Богу и говорит: отдай мне моего ребенка. Бог отвечает: пойдём в сад. Пошли. Там на одной грядке растут тюльпаны. Бог говорит: это будущие жизни родившихся детей, один из них твой. Посмотри в них: захочется ли тебе такой жизни для твоего ребенка? Она посмотрела, ужаснулась и сказала: ты прав, Господи.

— Я не верю, что она на небе. Вы когда-нибудь теряли сознание?

— Теряла.

— Ведь ничего же не чувствуешь. Меня вернули после смерти. Я ничего не помню. Там ничего нет.

— Вы с ней встретитесь, — сказала я.

— У меня был знакомый буддист. Я не верю.

— К вам кто-нибудь придет. Вы не гоните. Это придет она. У меня так было. Я шла поздно вечером зимой, увидела кота, он сидел, прижавшись к земле. Через час иду домой, он сидит на том же месте, а его уже занесло снегом. Днем там продавали пирожки с мясом, он наелся объедков, а кошкам вредно, людям ничего, а кошки гибнут. Я его взяла к себе. Вымыла. Высушила у газовой духовки.

— Я знаю, некоторые берут кошек, собак. Я не могу.

— Потом он исчез через полтора месяца. Я как-то шла домой вечером, поднималась по лестнице, а он за мной так побежал. Он ночами гулял на лестнице. Я его погнала. Больше я его не видела. А потом я поняла, кто это ко мне приходил.

— Я виноват, — сказал шофер.

— Все виноваты.

Что я говорила, что толковала, я не помню. Я убеждала его подождать год, потом убеждала его уйти в отпуск.

— Мне на работе легче. Тем более что отпуск я отгулял. Я на даче перекрывал сарай, делал там окно. На даче. Все было хорошо. Дочь с женой приехали, вместе ехали обратно, за пять дней до смерти. Потом они шили вместе, дочка брюки, жена платье. Советовались, все было хорошо. Я виноват, — твердил он.

Мы все ехали по этому пути.

— Я не могу смотреть на детей, плачу. Теперь уже не плачу, отворюсь, не могу.

— Год. Год еще, — твердила я.

— Тут я вез одних с собачкой. Это все, что у них осталось от дочери, собачке двенадцать лет. Она хрипит уже, они ее колют, лечат, трясутся над ней. Десять лет назад умерла дочь. Всё помнят.

— Да, как один человек кричал: не хочу другого мальчика! У него сына убили восемнадцати лет.

— Да, я раньше смотрел на чужих детей и завидовал, а теперь они мне все чужие. Знаю, что они мне не нужны. Мне нужна она. Она была мне не просто дочерью, а другом. Бывало, идешь в магазин, она сидит делает уроки. Говорит: папа! А ты куда? — В магазин. — А я? — говорит. И шла со мной, только если уроков много, тогда оставалась.

И опять он завел свою шарманку: виноват я, виноват, всем поведением своим подвел к результату.

Всё, мы уже остановились. Я никак не могла выйти, потому что он все говорил. Мало того, я не хотела выходить, хотя дома меня ждали все, я опоздала страшно, надо было собираться. Как-то надо было что-нибудь ему сказать.

— Ведь вы знаете, мою дочку зверски убили.

Я ответила, что знаю. Поняла. Господи! Что это за вина, Господи, не сохранил, не уберег.

— За пять дней до смерти она приехала ко мне на дачу с матерью. Я увидел ее и так испугался! Почему? Так страшно испугался, увидев ее!

Он уже предчувствовал. Хотя обычно пугаются тех людей, которые преследуют. Если он действительно, что называется, «позволял себе» с другими женщинами, то страшнее всего страдают не жены, а дочери. Но это так. Пугаются тех, перед кем виноваты. Не любят тех, перед кем виноваты, и избегают их.

— У нее было такое лицо! А потом мы ехали все вместе домой, я их отвозил.

— Вы никого сейчас не любите?

— Никого.

— Это единственное спасение. Любите кого-нибудь. Пожалейте свою жену. Вы к ней ходите?

— К ней не пускают. Я думал, но я не хочу заводить семью. Я люблю брата. Но это так.

— Не бросайте ее.

Он опять странно посмотрел на меня.

— Они так сидели обе и шили мирно за пять дней до смерти. Я виноват, я не сделал того, что надо было сделать. Так как-то думал, ладно. Вы знаете...

Пауза.

— Вы знаете, — сказал он, — это моя жена убила дочь. Она сидит в тюрьме, в Бутырьках. Там есть отделение для сумасшедших.

Пауза.

— Она пришла сама в милицию и принесла окровавленный нож и топор и говорит: погибла моя дочь.

— Ее сразу арестовали?

— Сразу. У нас в доме четыре года назад убили в квартире женщину ножом. Они теперь вешают на нее это дело.

— А адвокат?

— Адвокат пока не может по закону. Допустят, когда предъявят обвинение... Потом ее еще должны повезти на экспертизу.

— А вдруг это не она? Как же так? Она в шоке и без памяти. Надо какого-нибудь гипнотизера. Гипнотизер под гипнозом может у нее все узнать. Может, дочку убили, а она в шоке.

— Да она давно как-то... Я замечал.

— Например.

— Например. Вот сидит у телевизора и конспектирует программу «Время», все новости. И потом дает комментарий. Я прямо покачулся.

- Да. Это да. Но это же совсем не то! Она была агрессивная?
- Один раз так пошла на меня, сжав кулаки.
- Один раз?
- Один.
- Да вы смеетесь, что ли? Вы знаете, что бывает в семейной жизни! Один раз! Вы что!
- Правду сказать, и я не сахар. Я от нее отдалился последний год. Совсем не любил, только дочку. Не было такого контакта.
- Вот это действительно, это тоже, похоже.
- Дочка-то была ближе как раз ко мне. А жена давно не работает. Ее, короче, выгнали с работы. Поссорилась там с кем-то. Мы же с ней вместе институт заканчивали. Потом я пошел в таксисты. А она, ее выгнали из НИИ, устроиться не могла, сейчас НИИ сокращают. У нее была депрессия.
- Еще бы! Когда меня выгнали с работы, я помню!
- У нее была депрессия, и больше она никуда устроиться не могла.
- А тут еще вы.
- Я виноват. Я один раз вызвал платного врача-психиатра, она говорит: ну что, вызывайте психоперевозку, кладите в больницу. Но я как-то... Знаете... Не сделал этого.
- Жалко было?
- Да нет. Так как-то...
- Сидит одна в безумии в тюрьме, ожидая казни.

6 июля 1989 г.

## Почтамт-88

Опираясь горячей спиной  
о стенку холодную,  
я стою и смотрю:  
армянин, как змею подколенную,  
отшвырнул от себя в капитальную урну письмо.  
Вот старуха, видать, вековуха,  
в очках моссельпромовских,  
изучает, наверно, посланье племянника с промыслов...  
Ну, а эту ондатру потертую что принесло?  
Вот стоит она, пьянь,  
в маленковских чулках фельдеперсовых;  
где привычная дань?  
Ни посылки, ни марок двухпенсовых,  
ни открыток с вождем, ни простых —  
на седьмое число...  
А ведь были:  
известный отец и костры пионерские,  
Ялта, муж-военспец,  
бриллианты, поклонники дерзкие!  
Все исчезло, как сон,  
все травой-муравой поросло.

## Алкаш

Я понимаю — Хо Ши Мину плохо,  
а у де Голля неполадки с glandой.  
Пускай меня простит моя эпоха  
За то, что я волнуюсь не о главном.  
Пускай страна проводит пятилетку,  
летает спутник в миллиард целковых,  
а я с одним отсталым интеллектом  
иду в раймаг под куполом церковным...

1968 г.

## Изгой

Давайте, меняйте меня на других  
на поприще службы,  
семья обойдется без шуб дорогих  
и временной дружбы.

Давайте, печатайте ваши стихи,  
строчите романы  
пахучие, словно плохие духи,  
налитые в ванны.  
Пусть книги мои не захочет издать  
как надо издатель,  
но ваши — не станет ночами читать  
мой верный читатель.  
Вы можете к ногтю прижать «стервеца»,  
разделать красиво,  
но вы не замените детям отца  
и матери сына.  
В этапных снегах, в погорельской золе  
под небом Отчизны  
поэта нельзя заменить на земле  
ни в слове, ни в жизни!

\* \* \*

Я видел фильм, где семеро «афганцев»  
спасли Сибирь от мафии лихой.  
Мелькали финки в поле и на танцах,  
и каратэ закручено с лихвой.  
Сухой закон залит вагоном спирта.  
На старшину «афганцев» — есть пахан  
по кличке Марадонна, лысый хан,  
хан пострашнее капитана Флинта.  
Кругом одни разбойники живут,  
воруют, пьют, насилюют под елкой...  
Позор тебе, советский Голливуд  
с плохой «Великолепной семеркой»!  
Не важно, что, пиная финский нож,  
контуженный солдат десятиклассный  
нас учит жить, — беда, что эта ложь  
афганского учения опасней:  
не получилось там — теперь своих  
одолевает армия советом,  
сюжетом «Самураев семерых»,  
железной мышцей, «голубым беретом».

## Шовинистам

Когда изгоните евреев,  
певцов, ученых, брадобреев,  
цыган и «прочих» за кордон,  
тогда озлобленный подон  
перегрызет своим же глотки  
за то, что не хватает водки,  
что хлеб в России не растет...  
Не пожалеет свой народ.

## Свадьба

---

Она пришла сильно загодя. От вокзала, где ночь на скамейке просидела, ждала и рано, еще в темень, вышла. Ей-то посоветовали такси взять, а она как-то посоветовалась. И время еще не накрутило, только вот можно заплутать. Но ей маленько объяснили. С привокзальной площади свернула направо на безлюдную неширокую улицу, где за заборами впереमेжку стояли невысокие каменные и деревянные дома. Недалеко отсюда погромыхивала железная дорога, посвистывали локомотивы, а то вдруг разрывал тишину женский голос диспетчера, будто совсем тут рядом над Марией, и вкладывал ей в уши непонятные слова...

Мария шла ходко. На вокзале она оттепилась, и дождь за ночь унялся, — только что, правда, сыроватый ветер садил в спину, подгонял. Улица сменилась другой, железная дорога давно уж где-то умолкла, а она шла, обложенная тишиной, в безлюдье, и перестала чего замечать. А душу ей все тяжелее, чугуннее прижимало тоскою: куда иду — в тюрьму. Вот, как морковку из земли, так и меня выдернуло: что ли когда думала, что есть, эта тюрьма? И духом заскорбела Мария, возроптала: ведь сколько за жизнь говна перекидала, перелопатила... Вспомнилось, как случилась пошатка у телят: глядит — у одного, у другого... Кинулась — матушка родная, у них-то пена на губах... Это еще до объединения, когда семь-то деревень, семь колхозов, а она — в «Новой жизни». Вот годы откатились, а и сей минут бугрит перед глазами... ох, досталось, нет, лихо... Нароботаешься — осенней мухой ползешь, да так все на своих харчах. И мамка-то как робила — за палочки. И я застала — чего в конторе напятнают, палочки-те, по расчету за трудный день, тяжелехонький, в расчет зерна почти ничего, денег — ничего. Что участком жили, как картошка уродится... то и выбьешься... ладно, зачем вспоминать? — оборвала себя Мария. Теперь-то пенсия. Да мне-то ничего не надо. Истребила беда: от слез хмель на бугры не поднимется, упустила сына. Родное мое дитятко, унесло тебя к вора, убийцам... Это как же тюрьма? Это какой же страх. Стыдобушка смертная. Не будет мне покоя, пока не увижу сына-то моего... Куда я иду, куда ноги мои тянутся...

Вдруг ее как лаской погладило, еще не поняв чего, откуда — знакомо услышала дыхание теплого хлеба. Недалеко около тротуара стояла машина-фургон. Задние дверцы у фургона были открыты, и парень в сине-белой вязаной шапочке выносил лоток с хлебами.

Мария подошла. Да в той предутренней сырой одинокости ей

было хорошо стоять рядом, глядеть. Парень вернулся закрыть дверцы.

— Ты не шофер ли? — спросила Мария.

— Шофер. Подвезти, мамаша?

Мария легко объяснила, куда ей надо. На лицо парень ей сходно глянулся, нос у него кверху, задиристо, одет по-модному — в синей синтетической курточке, поперек на рукаве две красные полосы.

Уже в кабине она свободно разговаривалась.

— Ты про Йошкар-Ола не знаешь? Город такой? Не бывал? По-нашему если — красный город. Это мне врачиха на вокзале рассказывала, она еще женщина молодая, симпатичная, маленько косенькая, мать-то у ей русская, а отец мариец. Хороший, говорит, город — там машины, театры... С невесткой чего-то у нее нелады, девчонка-то самолюбка, каждый день ее жалит, насчет внучки бьются... Врачиха мне длинно рассказывает, а я-то слушаю да на той вокзальной скамейке к тюрьме еду. От этой тюрьмы, как стельная корова, тяжела, — и пошутила: — Вот чтоб отелиться, дак не получается. Ночью не сплю. Самый чуток если забудусь, и какой сон? Изождалась — так всю и встряхивает! — глубоко вздохнула. — А и теперь дивно можно бы жить — не выпей Федька в тую субботу. Хоть он у меня не так, конечно, сильно пьет. Ведь другие, бывает, жутко: хлещут по-поросычьему... А мой-то не так сильно. Да вот понесло его из нашей деревни в Товарково. А по дороге попалась ему дочка продавщицы Варвары, девчушка шестнадцати годов, что ли... А он ее, дурак, ухватил, в грязь повалил, ну и даже, может, стукнул. — Мария всхлипнула. — Пьяный, вино-то не пшеницу, верно? Ну и еще соображение надо бы... А Варвара, продавщица-то, убить Федьку, говорит, добьюсь. Стрелять его будут. Я у следователя была. Такой мужик грамотный. Он посмотрел в законе и говорит: судить его будут, Федьку. Суд все решит. Вот так. — Мария вытерла рукой сухой рот. — Да... это, на вокзале мне чудно привиделось, задремала дак: будто чистый снег, белешенький, только-только выпавший. Иду я по полю, хитро иду — босо... Оглянулась: следы намяты и кровью наклеили, следы-то, будто к самому небу тянутся, а там — пожар, зарядо невозможности красная. Наклонилась, чтоб снегом ноги обтереть, — да не снег это — вострые стекляшки, все поле в винной посуде битой-то! — И забеспокоилась: — А ты, парень, не заплутал, чего-то много крутим?

— Куда просили, привезу.

— Ага, привези.

Марии очень хотелось узнать: а не бывал ли парень за той каменной стеночкой? «Он помоложе Федьки будет. Нет, чего это я?» — Она покосилась на шофера.

— Не слышал, куда их потом погоняют?

— Как определит суд.

Мария вздохнула:

— Я порасспрашивала у врачихи: там, за Волгой, в Марийской, тоже по-нашему — леса, пашни. У нас-то пашва болотна, худая, — и решительно: — А я так соображаю: сослани бы их, а рядом нас, матерей... Даже мне вот блазнится: два острова, на одном они, а на



другом — мы, матери... Потому что мы еще больше в ответе. Бог прости, а если б с тобой что, да могла бы твоя мать в доме оставаться?

Они некоторое время не разговаривали. Марии показалось, что немного небо посветлело. Дорога началась загородная, тряска. Она обрадовалась привычности, а главное — ей хотелось говорить.

— На вокзале среди людей полегче. И что поезда уходят. Люди едут. Чемоданы, мешки. Это все ведь к жизни, надежда — так, где-то их ждут, куда-то приедут...

Шофер затормозил.

Мария неподвижно сидела.

— Все, мамаша, приехали.

Шофер открыл ей дверцу. Ослабевшими ногами Мария начала вылезать.

— Вон дверь туда, — показал шофер и подал ей голубую сумку.

Мария сунула руку в сумку, нащупала внутри полтинник.

— Возьми.

— Ничего, мамаша, не надо. Я два года в трудовой колонии отзвонил, а мать моя раньше спилась. А где теперь, не знаю — не отзывается.

Машина развернулась. Глазам Марии крупно глянулась надпись: «Хлеб». Скоро все стихло.

Оставшись на пустынной улице, Мария испуганным сердцем искала неусыпные чугунные ворота, железные замки и ничего такого не видела. Просто видела крыльцо, дверь да высокий розовый дом, правда, как-то он боком стоял, немного нехорошо. Мария усомнилась. Но отойти ей тоже было боязно. Она ходила рядом, и стало ее пробирать ветром, дрожь рябила. В сером свете утра набежала лохматая черная собака, а за ней появилась женщина в плаще. Мария обрадовалась.

— Скажите, пожалуйста, — начала она. — А тут ли эта...

— Да, да, — оборвала женщина и, не оглянувшись, пошла дальше.

А Мария все не верила, пока как-то незаметно около крыльца не стали собираться хмуроватые люди — отдельно и кучками. Они почти не разговаривали. И тогда она поняла: это тут и есть.

\* \* \*

Из соседнего маленького, одноэтажного домика вышел мужик с лопатой и метелкой, дворник. Начал лопатой ходить тротуар перед крыльцом. И то, что мужик был сильно обросший рыжей бородой, и глаз-то у него был с прищуром, с хитрецей, а зубы-то у него, наверное, желтые, прокуренные, и весь-то наземный дед, хотя и не шибко, а еще вполне мужик, на ферме-то мог свободно, и то, что он тут не торопится, а между землей да подсушенным небом утра — все по делу, ей понравилось, и она смогла к нему подступить.

— Может, тебе помочь?

— Нет, я сам. — Он охотно остановился, оперся о деревянную рукоять лопаты.

— У меня тут сын, к нему не пускают, дак хотела чего ему передать.

— Передай. Здесь принимают. Эн, где крыльцо.

— А скоро ли откроют?

— Теперь уж недолго.

Она собралась отойти, как ее ударила мысль: чего я Федьке мало несу? Лук, шматок сала да мыло... Ой, как же теперь? Какая же я дура, вот уж как это я... ой, голова!

— Погоди, это у вас магазин далеко?

— Рядом, три дома пройдешь, увидишь вниз подвальчик — «Продукты». В восемь открывают. Не трясись, успеешь...

В небольшой приемной комнате, освещенной голубоватым светом, за стенкой из белого кафеля к трем окошкам выстроились небольшие очереди. Мария выбрала окошко, которое посередке, поставила на подоконье свою голубую сумку с названием «Sport» и стала доставать передачу: консервы — ставрида океаническая, голубцы мясорастительные, сельдь тихоокеанская, сыр колбасный, немного конфет — карамели...

— Что вы разложили? — услышала Мария женщину-приемщицу. — Читайте объявление. Забирайте.

— Мне к вам следовательно разрешил. Я из деревни приехавши.

— Вы сможете прочесть? — смягчилась приемщица. — На стене есть образец передачи.

Мария прочитала все плакатики, все до единого. Они висели над окошками. А напротив — прибиты к стене, вроде как школьные доски от парт с крупными чернильницами.

Мария обмакнула перо, начала заполнять форменную бумагу: «Прошу принять продукты Кузьмину Федору Петровичу. От гр. Кузьминой Марии Васильевны. Матери».

И дальше полный список продуктов. Консервные банки отправлять запрещалось. Карамель надо было посылать без бумажек. Разворачивать... И все по строгому весу, ограниченно. Для чего на столе стояли продуктовые весы...

Когда отдала посылку, отошла от окошка, еще один плакатик бросился в глаза. И висел-то заметно, над столом с весами.

«Внимание!

Одновременно с вещевой передачей принимается мешок без вещей, только черного (темного) цвета, изготовленный из плотной ткани, без каких-либо тесемок, веревок, размер мешка до 100—60 см».

Вот это, что черного цвета, ужалило, и сердце ее крутанулось в зяблой тоске, утробной — как в осенню-то ночь не разглядеть, где теперь ее сын — пока-то он за стеночкой, а там — и пошел, и пошел с мешком кручинным... Она осталась стоять. Куда складать ее слезы? В тот ли мешок?

Она глядела, как подходили к весам молодые, старые — правда, все больше женщины. Взвешивали сахар, колбасу, масло, яблоки, груши...

И вдруг ее потянуло:

— Давайте, я помогу. Не сомневайтесь, пишите. Я точно: грамм в грамм. А как же? Им-то — радость.

Ей доверили сразу. Она работала. В работе поутихла тоска. Иногда приговаривала:

— Правильно, что табак посылаешь. А я-то своему забыла. Он у меня тоже куряка, дак не знаю, поздно, отправила.

— Мать! — обратился к ней молодой парень. — А вещи как метить?

И Мария объяснила:

— Надо так: рубашка — новая или старая... и пометь — 1 шт. ...А если майка, то цвет укажи — белая, или зеленая, или какая... И еще: если хлопчатобумажная, то пиши «х», криво черточка, «б».

— Ясно, мать.

Ей говорили: мать, мамаша... ты... И она тоже тыкала, не стеснялась. Тут вроде все в одном звании.

Постепенно узнавала и о чужом горе... Разговорилась с одной женщиной, такая полная, румяная, а глаза безутешные. Начала говорить — и слезы дорожкой... Ее сына уже судили. Показывает выписку из приговора суда... «Признать виновным», — прочитала Мария...

Сын ее, Сосин Дмитрий Семенович, совершил вместе с двумя другими парнями разбойное нападение на пожилого мужчину. Избили. Отобрали — шестьсот рублей денег выкрали, и фотоаппарат, и чемодан с рубашками. Рубашки потом бросили вместе с чемоданом. «При определении наказания суд учитывает степень общественной опасности, соединенной с данными о личности подсудимых. Роль и степень участия каждого, содеянное ими преступление в состоянии алкогольного опьянения, что судом принимается отягчающим их ответственность обстоятельством».

«Вот и мой ведь так», — подумала Мария...

— Читай вот тут, — показала женщина.

— «Сосину Дмитрию Семеновичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, без ссылки и конфискации имущества...»

— Мой не подбивал, мой в стороне стоял, пьяный. Может, раз и ударил. Что он тогда мог сообразить? — И Сосина зашептала: — Все подкуплены — прокурор, судьи, все...

Мария обняла ее:

— Ой, горе — как репей, впилося. Долго ли твой будет здесь?

— Нет, сегодня-завтра отправят.

— Ну, теперь-то уж чего? Решили. Какие они там есть — судимые. А мы-то с тобой без них не можем, верно? Ты поезжай за ним. Я за своим поеду, обязательно, все брошу, поеду.

Особенно Марии понравились две девчужки-казашки и их бабушка. Приехали к брату.

Мария развешивала им яблоки, чудо какие большие, румяные — век таких-то не видывала. Потом в стороне наслушалась в утешение про город Алма-Ату. Девчонки — одна постарше, в очках, высокая, другая пониже, — как птички, щебетали хорошо по-русски.

— У нас город яблоками пахнет и еще дымом, когда ветки жгут. — И к бабушке: — Верно, абики?

А бабка их — крутобокая, в косички ленточки заплетенные — головой кивает. Девчушки в Марию вцепились и все чисто про себя рассказали: так-то они из хорошей семьи — отец и мать инженеры. Отец казах, а мать татарка. Мать заболела, когда старший-то сын, студент, забран был. И вот они с бабушкой приехали. Старшую звали Фарида, а младшую — Айгуль.

— Айгуль — это лунный свет, — сказала младшенькая. — А я ночи боюсь. — Она обхватила Марию за правую руку, тут же Фарида уцепилась за левую...

— У нас горы видно, много дубов... Идешь — шлеп... шлеп... желудки падают. Верно, Фарида? А в горах урюк собирают...

— Я степь люблю, — сказала Фарида.

— И я люблю. Мы в степи жили... Я за улитками смотрела, на божьих коровок, и там еще солдатки — красные клопы... Я хотела бы навсегда остаться жить среди травы.

— Помнишь, Айгуль, как бегали в рощу, ползали среди ежевики, барбариса... прятались в овраге?.. А за новостройками была раскиданная стекловата. И мальчишки сказали: дотронешься хоть пальцем до стекловаты — умрешь.

— В степи прекраснее... Бежишь... волосы развеваются, воздух чистый-чистый, и громко поешь: «Держись, геолог. Крепись, геолог. Ты ветру и солнцу брат...» У вас тут арыков нет, нам это очень странно...

— Хватит, дети, — оторвала от Марии бабушка. — Ой бай халим жок!

— Она сказала: сил нет. — Фарида потемнела лицом, взяла младшенькую за руку. Девочки тихо отошли.

— Старшего их брата мы назвали Бахит, — сказала бабушка. — По-вашему «счастье»... Такое имя и у девочек, и у мальчиков. Я его часто ласкала: «Таудай бол» — расти, будь, как гора... А кому он дал счастье? Ножом убил здешнюю студентку. Говорил, что ее любил, из ревности. Теперь его, наверно, расстреляют, или мы его не увидим очень долго...

Она закрыла лицо обеими ладонями и стала медленно раскачиваться.

— Мамаша, — позвал Марию морячок, — постереги, пожалуйста, сумку. Я пойду жену встречу.

Мария знала, что его сын ограбил две квартиры. А ведь не голодал. Какую-то «дурь» курил. Отец ему и денег давал, и привозил магнитофоны, джинсы, дак мало, все мало... Ну зачем? Зачем? — думала Мария. — Да что ж это с людьми творится? Да какая же это гроза на людей навалилась? Ой, бьет в душу, сплит... Неужто не ужаснутся?!

Ей хотелось выкрикнуть: «Опомнитесь, люди, молодежь! Живите артельно». Ей хотелось идти, уговаривать или где-то встать посередине дороги, протянуть руки, и чтоб мирно было, чтоб вились на них гнезда птички. А она бы охраняла птенцов желторотых...

— Мать, — услышала она, — не взвесишь ли на счастье?

Мария понимала, что теперь вот тут он, дом ее, где они, вот тут... Среди таких же...

Она дождалась морячка, вернувшегося с женой, и решила хоть ненадолго выйти, дыхнуть вольным воздухом. Когда подошла к двери, оглянулась. Вспомнила, как священник в церкви протяжно тянул: «Мир все-е-ем»... «Ага, — сказала про себя Мария, — мир вам, дорогие вы мои». Она вышла, увидела у другого входа людей с букетами цветов.

\* \* \*

Она увидела у другого входа людей с букетами розовых астр, желтых и белых хризантем, красных гвоздик. И это ей было удивительно. Стояли они в две кучки, да как-то не кисло, торжественно, не ковыряли глазами землю. «Может, через эту дверь помилование? Отпускают? Дак пойти узнать». Мария, обывкшая здесь, смело пошла. Разговорилась...

Мужчина в защитного цвета полупальто, скуластый, лицо красное, дубленное ветром-погодой, и по всему понятно: мужик деревенский, не молодой, даже сильно в годах, — обрадовался Марии.

— Не землячка ли? А мы, хорошие ребята, чего собрались? И запись, и свадьба в одном помещении. Столы уж, поди, готовы... Невеста. — Он показал на высокую девушку с тонкой талией в красном пальто, по ее спине картинно тянулась русая коса, в руке она держала завернутые в хрусткий целлофан красные гвоздики.

— Видела мыло «Наташа»? А наша Наталья Константиновна, пожалуй, еще натурнее будет. Ты погляди, погляди на их-то невесту — эта малявка, — он кивнул на другую кучку людей, — за мясника выходит. Бывшего, конечно. Пятак получил. А у нас семерик. — Он вздохнул и вдруг захохотал, распахнув щербатый рот. — А главное что? Женихи не сбегут. Под охраной, под замком. — И опять вздохнул. — А у тебя кто там есть?

— Кровь моя — сын.

Они помолчали. Мария смотрела на молодых людей — двух девушек, трех парней и невесту Наташу. Они стояли кружком, курили.

Мужчина рассказал, из какого он района. Мария район знала.

— Может, и деревню? От дороги километров двенадцать — первая Часовенская, потом Пустошь, Бессоново, в сторонке Кузнецово, еще выпадет лесок, и тут уж наши поля — деревня Гаврилиха, в прошлом прозывалась Конец.

— Нет, не пришлось слышать.

— А я на пенсии. Всяко поработал, раз даже председателем, когда еще был маленький колхоз. Старуха у меня дома осталась, а я не утерпел. — И понизил голос. — У заборчика, погляди, родители Наташки — Константин Вячеславович и Елена Ивановна... Он ученый-химик, на какой работе и еще не на пенсии. Наташенька медицинской сестрой в больнице, в этом году поступила на вечерний в педагогический институт, да... А мой племян, Володька, — шофером

на самосвале «ГАЗ-53». Тоже собрался дальше учиться. Они с Наташкой год женихались. Свадьбу откладывали — вроде некогда, учебы много, не время. А как наезд совершил — старушку сбил, — как Володьку забрали, Наташа говорит: «Все. Откладывать больше не стану». И мать ее, Елена-то Ивановна, на стороне дочери, очень горячо. Отец, видно, тоже согласился. А у Володьки одна мать — вон, кубышка-малышка, в платке стоит с невестинными родителями беседует, Мария Васильевна.

— И меня-то так, — почему-то удивилась Мария.

— Отец Володькин сильно выпивал, давно уж с ними не живет.

— И мой так же.

— Не напрасно, значит, встретились, вроде как родня. — И крикнул: — Колька! Когда ж регистраторша приедет? Сбегай, может, где в грязи машина застряла?

Молодой парень без шапки с поднятым воротником куртки и в темных очках от солнца неохотно отделился от молодежной компании. Но скоро вернулся:

— Не видно, дядя Афанасий. А до загса далеко бегать.

— Ладно. Чего делать? — И весело: — Надо песни петь. — Позвал: — Молодежь, бросайте курить. Давайте споем. Жалко, я гармонь не захватил. А вы б свои гитары, да дали б с боем... О! Вот она тогда бы у нас получилась, самая что ни на есть регулярная свадьба...

— Дядя Афанасий, вы запевайте, а мы подхватим.

— Какие молодцы, хэ, — повернулся к Марии, — старика попереди себя... О, нет, мы раньше не так... Ну ладно, какую ж нам тут сочинить песню?... А... пожалуй, причиннее такую, чтоб... По телевизору, «Следствие ведут знатоки»... У нас они аккурат рядом, знатоки. Слова запомнил... Хотя так, скажем: «Наша служба и опасна, и трудна...» Подсказывайте, ребята... «Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой...»

Подъехала милицейская машина. Из нее вышли молодой лейтенант и стройная женщина в зеленом плаще, немолодая, лицом строгая, с коричневой папкой в руке.

Лейтенант долго звонил около двери. Дверь открылась. Они ушли. Ожидающие забеспокоились, сбились вместе.

— Пошли с нами, — предложил дядя Афанасий Марии. — Тут все городские, а ты мне как своя, на поддержку.

У Марии сжало сердце, подумала: «Ведь все ближе к Федьке, за стеночку».

— Пожалуй, пойду.

— Ее могут не пустить, — сказал Константин Вячеславович, — поскольку нет в списке приглашенных.

— А паспорт у тебя есть?

— Сейчас покажу. — Мария, волнуясь, полезла в свою голубую сумку.

— Мне зачем? — остановил дядя Афанасий. — Там покажешь. — И твердо: — Девка расписывается, на такое рисковое пошла, я им объясню все: зовем Марию Васильевну, полную тезку матери Володи, — милости просим...

В это время открылась дверь. Их пригласили. Они прошли через проходную, справа был виден буфет... По лестнице поднялись на третий этаж, вошли в небольшую комнату. За столом рядом с регистраторшей сидел лейтенант.

К приглашенным вышел седоватый подполковник. Он вежливо поздоровался.

— Как? Всем хватает стульев?

Две свадьбы разместились вокруг двух столов напротив регистраторши, которая была теперь в темно-синем костюме. Пока рассаживались, привели женихов. Наташа кинулась к своему — парень высокий, как и она сама, да фасонисто одет: в коричневый вельветовый пиджак в мелкий рубчик, розовую рубашку. Мария глядела ненасытно: ага, вон он какой — лицом-то, правда, бледноватый паря, да не по-казенному обрит, а его каштановые волосы коротко острижены... Облегченно вздохнула: нет, жених вполне качественный, если на воле, дак не отличишь.

— Значит, так, — сказал подполковник, — все, что принесли им поесть, пусть едят. И сами, если хотите, но чтоб никакой выпивки.

— Понятно это, по моде. Товарищ подполковник, — выступил дядя Афанасий, — побудьте с нами.

Подполковник кивнул.

— Спасибо. Я и без приглашения останусь.

— И вам спасибо. — Дядя Афанасий встал, поклонился. — Вы у нас главный гость, да еще какой знатный.

Мария Васильевна, мать Володи, и Елена Ивановна доставали из сумок колбасу, хлеб, огурцы, помидоры... Раскладывали на столе.

Наташа прижалась к Володе, замерла.

— Парочка, отклейтесь, женщины, угощайте, — распорядился дядя Афанасий, повернулся к Марии: — Землячка-то небось помнит, какие раньше свадьбы людные бывали. Как величали жениха с невестой. Я тоже застал немного. Недавно по телевизору глядел концерт — деревенская свадьба... Эх, чего-то жалко. Деревня ушла, другая. Раньше коров в каждом доме держали, так?

— От края до края. Да только чего с ней рухаться? Ныне богатой рукой живут. Зачем обижаться, деньги у людей есть.

— Разве это богатство? Нам все объясняют: «Надо вырастить хороший урожай, надо лучше кормить скот, надо подключить всех людей!..» Верно объясняют. Только нам чего не хватает? Как ты, землячка, считаешь? Нам нужно побольше указаний, чтоб еще и еще...

— Афанасий Иванович! Афанасий! — окликнула мать Володи Мария Васильевна. — Ты потише здесь-то.

— Да разве я чего не так? Я, выполняя постановление, сажал кукурузу квадратно-гнездовым способом вдоль дороги, где начальство ездит. Да низка выросла. Арбузов, правда, не заставляли. Этого не было. А вот с планом небольшая заартачка: план сделали — давай еще, душу вытряси, давай. По перелогам 750 га ржи было посеяно, скосили — ну так ладно... Без хлеба не сидели. Старики сказывали: в давние неправдошные годы наш овес, рожь заготавливали да в барках

отправляли в Архангельск, а потом за границу... Землячка! — опять он обратился к Марии. — Как бы хорошо нам еще постановление, чтоб там сказано было: «Крестьяне, полюбите свою землю...» Да и число, и месяц чтоб проставлены.

— Афанасий!

— Сестра, ничего ты не понимаешь: это теперь называется критика и самокритика. А что не вовремя, дак пока, может, простят? И кто я? Пенсионер Афанасий Григорьев. Как в песне поется: «По полю бегал Афанасий, восемь на семь...» Все, ребята, будем петь песни.

Хорошо у речки жить —  
Холодно купаться.  
Хорошо ребят любить —  
Плохо расставаться...

Эх, Володя, охота мне, чтоб ты с Наташей к нам в деревню поскорее приехал. Моя Анфиса Тихоновна ой как возликует. Только долго ждать. Дождемся ли мы с ней? Посмотри, землячка, какая у нас невеста, лебедь-красавица... Нет у меня музыки, не велели брать, а я так вам скажу:

Ах, коса моя, коса расплетенная...  
Что ж покоя тебе нет, ночь бессонная?  
Знать, подушка плохо взбита на люпиновых полях  
Или ветер разгулялся, заплутался второпях?

Вот у нас и свадьба. Товарищ подполковник, разрешите обратиться?

— Слушаю вас.

— У нас ведь самая безалкогольная свадьба, почему ее по телевизору не показывают?

— По-моему, вы-то уж приняли?

— Точно. Фронтовые с утра, для храбрости. Ведь к вам легко залететь, а как обратно...

— Телевизионные товарищи к нам не заглядывали. Но мы, лично, не возражаем.

Регистраторша вызвала жениха, бывшего мясника, и его невесту.

— Запись акта о заключении брака, — сказала регистраторша, — тут сведения о вступающих в брак. Распишитесь, скрепите подписями... А теперь прошу доверенных лиц засвидетельствовать своими подписями акт бракосочетания.

Они возвратились к своему столу. Наступила тишина. Сейчас должны были вызвать Володю с Наташей. Молодые сидели рядом, взявшись за руки. Наташа еще раньше сняла пальто. Была в белой кофте и красной шерстяной юбке.

— Товарищ подполковник, — сказал Афанасий Иванович, — ведь Володька на семь лет пойдет в лагерь, а Наташа станет его ждать, кукушкой куковать. Хорошо бы им чего-нибудь напутствовать.

— Вы правы. Зинаида Сергеевна, пусть будет по всей форме.

Когда Володя и Наташа подошли, регистраторша поднялась из-за стола.



— В жизни каждого человека бывают дорогие и очень важные события. Сегодня у вас именно такой день, вы вступаете в семейный союз, союз любви и дружбы. — Регистраторша запнулась, видно, что-то опуская. И просто попросила скрепить подписями семейный союз.

Подошли и доверенные лица, друзья молодых — парень и девушка, оба в джинсах.

А регистраторша снова обратилась к Наташе и Володе:

— Отныне вы муж и жена, основоположники новой семьи, продолжатели своего рода. Утверждается взаимное проявление воли супругов носить общую фамилию — Сидорины. Прошу ответить вас, Наталья Константиновна... Вас, Владимир Николаевич... Дорогие друзья! Жизнь сложна, и на вашем совместном пути сразу встретились трудности...

Наташа с Володей уже не слышали, бросились друг другу в объятия, цветы упали к их ногам.

Взвывла Мария Васильевна, мать Володи. Прижалась к ней Наташина мать, Елена Ивановна...

Мария Кузьмина глядела сухими глазами, а сердце ее ревело вместе с женщинами. Боже ты мой! Одним горем тут все оженились. Родные, родные вы мои, закольцевала нас беда... Вот наше колечко обручальное... А помнится, Федьку я носила — какую тогда радость наживала. Еще во чреве колоколом бился... ой, нет... нежно... Первый-то раз чуть-чуть толкнулся внутри, я и не поняла, дак... А родился? Кровинка веселая... принесли. Он во сне улыбается. Ангел приласкал — улыбка-то его... Этого матери не забыть. Да когда ж я теперь с сыном свижуся?

Она поглядела на Наташу, молодую жену, увидела, как сладкое счастье пополам с полынным горем текли по ее лицу. Долго же тебе, горяша милая, красавица ты писаная, долго тебе ждать, как станешь матерью от мужа своего. Ну да терпи, положи печать на сердце.

— Пора, — сказал подполковник. — Прощайтесь. У вас еще сегодня будет свидание.

Стали подходить к Володе, обнимать, прощаться. Афанасий Иванович легонько хлопнул парня по спине:

— Племяш, выйдешь раньше. Все будем делать, писать. Выйдешь раньше, верь. Мне уж с тобой сегодня не дадут свидания. Давай хоть поцелуемся, муж испеченный.

Володя и другой осужденный в последний раз оглянулись, а когда пошли, привычно заложили руки за спину.

Мария со всеми оказалась на воле, и тут Наташа сорвалась, побежала. За ней кинулась подружка. Метрах в двадцати от входа они обнялись. Улицу полоснул крик:

— Ой, тошно! Ой, не могу...

Подруга тихонько повела ее назад.

«Какая девка! — подумала Мария. И вдруг: — Да у меня своя... дочка. Что ж я об ней-то забыла? О моей Любушке, о внуках Костике и Ларочке... Глаза мне Федька застил. Да, может, я его и сгубила? Я, как микроб, вокруг него всю жизнь вилясь».

К Марии подошел Афанасий Иванович.

— Вот так, землячка. — Он кивнул на Наташу. — Девка-то наша... «Разлука ты, разлука, чужая сторона...» Эх... Ну ладно, Мария Васильевна, спасибо, что побыла. Мне ехать надо, может, еще свидимся.

А Мария все не могла уйти от розового здания. Потом решилась. Попрощалась с родителями Наташи и с Марией Васильевной. Наташа стояла с молодой женой бывшего мясника в стороне, они курили.

Мария услышала, как та сказала:

— Ты ему деньги дала?

— А разве можно?

— Да, я своему дала сторублевку. Вместе с компотом выпил.

— Прощай, Наташенька, — сказала Мария. — Терпи, милая! А еще вот чего прошу. Может, твой встретит там Федора Петровича Кузьмина, дак пусть передаст: его мать была сегодня от него близко.

«Еще ничего, еще, может, ничего, — думала Мария. — Побывала у тебя в темнице». И вспомнила, как священник в церкви, а за ним хор подхватывал: «Всякое дыхание да хвалит Господа...» Она перекрестилась:

— Господи, прости душу грешную Федора. Все в твоей воле.

И, повернувшись, низко поклонилась тому зданию, которое уже не казалось ей таким страшным. Будто оставила там в залог частицу своего сердца. И пошла бодрее, с непонятною ей надеждою.

---

## Девятая пятница

---

Сапоги пьяные потоптались около магазина и, не отрезвев, а еще больше набравшись, пошли скользить по грязи к самой речке. Магазин был на этой стороне реки, а деревня Озерки — на той. А сапоги были и на той, и на этой. И скользили.

Стальная крученая проволока все скрипела над рекой, гоняя перевоз от берега к берегу. И перевозчик — дедушка Митрий Григорьевич, одноногий старик с необструганной деревяшкой, — сил своих не жалел. А была у нас сессия сельского Совета. Сельский Совет собрали, чтоб кладбище огородить, а еще было разное.

— Кто имеет слово выступать? А кто имеет слово выступать? — Председатель сельского Совета Сергей Иваныч забрался на трибуну: у нас все как у людей, как положено... Перед праздником — собрался сельский Совет на собрание — красная трибуна, и стол под сукном, и графин, и регламент, и обсуждение, и совещание, и рукой голосуем.

Сергей Иваныч мужик хороший, семейный, детишек семь человек, цельный день с топором, да по дому хлопочет, да еще на поле когда сходит.

— Кто имеет слово выступать? Товарищи депутаты, не молчите вы, — просит их добром Сергей Иванович. И опять берет свое слово. И рассказывает депутатам про заготовки кормов.

Постучался в дверь дед Митрий Григорьевич. Вошел тихонько. Сел на краешек скамейки.

— Чего тебе? — спрашивает Сергей Иванович.

— Я у вас посижу. На улице ветрено.

— Кто имеет слово выступать? А кто имеет слово выступать?

И мы перешли ко второму вопросу — к огорожению кладбища. И тут вскочил Митрий Григорьевич и своим тенором закричал нам:

— Восьмой год кладбище собираемся огородить. Это же надо подумать. Али лесу у нас нету-у!

— Правильно дедушка Митрий Григорьевич говорит, — сказал Сергей Иванович. — Восьмой год собираемся воскресник организовать. Сельский Совет, товарищи депутаты, этот вопрос должен решить быстро и оперативно. С дороги кладбище видно, а начальство мимо ездит.

О-о! — легко на помине. Откуда ни возьмись, открылась дверь, и вошли гости — впереди в желтых ботинках, а сзади двое в сапогах. Очень нам были интересны эти желтые ботинки. Потому что у нас кругом грязь, непролазная грязь. А ботинки хорошие, желтые.

Товарищу у нас все не понравилось. Да как же понравиться? Какая у нас, что ли, красота? Кругом грязь. А он в желтых ботинках. С заготовками мы опаздываем — это ему не понравилось. Особо еще не понравился праздник наш — праздник Девятая пятница, к которому мы все аккуратно готовились.

— Что за праздник такой выдумали? Девятая пятница? Почему Девятая пятница? А кто работать станет? Запраздничаете — и три дня прогуляете.

А у нас, правда, не то что три дня, а которые по неделе не опохмелятся никак.

Вскочил с места наш председатель колхоза Лексей Иванович и сказал:

— Не одобряют наш праздник, понятно? И спорить тут нечего, и надо голосовать.

И мы все проголосовали против праздника, чтоб, значит, его совсем отменить и праздновать теперь День молодежи.

Гости поднялись и пошли. А впереди в желтых ботинках. Шли они сначала друг за другом, след в след, но только грязи нашей не обойти, то есть не то что в ботинках, а никак не обойти. Пока не выпьешь хорошенько, не пройдешь, застрянешь. А тот, главный, в ботинках, все оглядывается, и жалко нам было, как он топал по грязи. А ботинки ведь были совсем новые, желтые.

И мы начали тоже помаленьку расходиться. А в дверях стояла Таисья. Ждала председателя:

— Лексей Иванович! Лексей Иванович!

— Чего тебе?

Таисья уперла на председателя глаза, облизала языком губы и молчала.

— Чего тебе? Опять? Ты ступай к председателю сельсовета.  
— Лексей Иванович, не могу я без справки. Христом Богом молю.  
— Ну ладно, приходи в контору. — И, повернувшись к выходявшему следом уполномоченному пожарной охраны, тоже депутату, человеку образованному, с рожей красной и лобастому, пояснил: — Какой год справки баба добивается. Хочет из колхоза бежать, сын ее, Леонид, прошлый год помер. — Ладно, помогу.

— Это который Леонид? — спросил пожарник.

— А тот, что от водки угорел.

— И водка впрок, значит, ему не пошла, — засмеялся пожарник.

— Нет. Отчего же? Он тогда в отпуск приехал из Мурманска, хорошо они с дружками погуляли.

— Лексей Иванович, — сказал пожарник, — надо бы в кузне багры отковать. Я проверял — ни одного ведь нет. А по деревням пожары, пожары. Не ровен час... — И они пошли в кино... И по дороге разговаривали про свои нужные дела.

\* \* \*

...Показались звезды, помчались звезды по чистому небу. Мужики шли, как у нас всегда ходят мужики на работу. Топоры сзади, за ремнями. И прежде всего старик поглядел на землю, на небо и перекрестился.

— Ну, с Богом, что ли! Вася, дай-ка мне ту ломинку.

Вася, в прошлом тракторист, маленький, мордастый, протянул деду доску.

— Леня, — позвал дед другого парня, высокого, здоровенного, раньше черного лицом до самой зимы. — Пособи Васе. Вы вот что, ребята, ямки копайте. Столбы становьте. Берите какие покрепче. Председатель Сергей Иванович об вас, дураках, позаботился. Четвертый год, как гниют ломинки да столбы. А что? Тут это просто — сгнуть-то.

Ребята взяли за ржавые лопаты, сваленные здесь же под маленьким навесом.

— О-о-ох, — крихтел дед. Звали его Ефим Цицерин, по прозвищу Синица. Дедушка Синица отбирал ломинки какие попрочнее, без гнили.

— Трамбовку надо бы! Трамбовку! — весело крикнул Вася и стал прыгать около столба.

— Что, хорошо? — засмеялся Синица. — Косточки-то размять. А-а-а! — И сам ответил: — Как не хорошо? Хорошо. Руки по работе соскучились, прямо беда! Ну-ка, давай примерим.

— Здесь бы, дед, обрезать.

— Ножовки-то, ребята, нет.

— Ладно, Синица, давай пришивай.

— Гвоздики-то ржавы, э-э-э, погнуты.

— По тебе самы подходящи.

— До петуха, дед, нам не управиться.

— Как управиться? Ясно, не управимся.

— Тяжело...

— О-о... вам-то, молодым, чего?

— Луна, дедушка, вышла. Перекур бы...

— Луна — это наше солнце. Хорошо раздернуло — все видать. Теперь обязательно к утру иной падет.

— Перекур бы!

— Эх вы, работнички... В наше-то время рази так работали!.. О-о-о!.. Ладно. Посидим... Ты садись, Лень, на мою могилку, она помягче, травка хорошая... Дурень ты, Ленька, жил бы себе в Мурманске. Нет, видать, не судьба. И чего? Из-за водки себя погубил. Беда. А Васька сгорел спьяну — это еще того плоше.

— А ты, Синица, что ж до ста не дожил? Один годок остался! Тоже, значит, пропил, старый! Эх-х-х-х-х! О-о-о! Хо-хо-хо-хо! Ха-ха! Хи-хи! Э-эо! О-о-о-о!

Вдруг Леонид встал на четвереньки, пополз и начал головой бодать столб. Васька тут же подскочил и кулаком стал отбивать прибитые ломины.

Над кладбищем стоял треск.

— погоди, ребята, кажись, петух прокричал! — сказал дедушка.

Прислушались.

— Нет.

— Как нет? Прокричал. Я уж знаю. — И дед встал, вытянулся и по-солдатски скомандовал: — По могилка-ам! Рац-ц-бери-ись! Леонид завыл:

— О-о-о! Не хочу-у-у! Не хочу-у-у!

— Та-а-щить его! — приказал дед Синица и тихонько добавил: — Вот и кончился наш воскресник. Опять, значит, туда... Поворачивайтесь, ребята. Нехорошо оставаться... нехорошо...

И закомандовал бодро:

— Ать-два лево! Ать-два... Пошли-и! Ать-два... Понесли-и-и! Не хочу-у! У-у-у-у!

\* \* \*

Таисья проснулась, как от удара. Поглядела на часы — рано. Подумала: до скота бы еще полежать. А только глаза ее не закрывались. Она села на кровати, заправила по-старушечьи косички вверх под борушку — шапочку черную — и, надев коротайку, пошла на мост.

Голова ее привычно склонилась, сама собой склонилась над ручной мельницей — для пивка солода чудок помолоть. Да ей что? Не впервой сон на работу променивать.

Закричал поросенок Сивка. Таисья встрепыхнулась. Побежала готовить поило. Да только поросенок замолчал, а Таисья забыла, зачем пошла. И опять вернулась к мельничке. Затрещала мельничка, а в голове: как председатель? Обещал ведь, обнадежил. А чего? Он ведь в контору зря не ходит. Хорошо бы, конечно. А чего? Конечно, хорошо. И не заметила, что в мельничке-то и зерна нет, а все крутила, крутила, без присыпу крутила.

Утром не успела к председателю зайти. Забежала после фермы домой — скот выгнать, а корова лежит. Глаза мутные. Пришлось звать ветеринара — и только днем разыскала председателя в конторе.

— Лексей Иваныч! Обещал насчет Сергей Иваныча.

— Ох, Таисья... И зачем тебе справка? Зачем? Куды ты поедешь? Невестка тебя и на порог не пустит. Она, как Леонид помер, и не показывалась. И писем не шлет. Не шлет ведь?

— Лексей Иваныч! Лексей Иваныч! — тянула свою песню Таисья.

— О-ох, привязалась. Вот управимся, тогда поговорим, когда...

— Ну, я пошла, Лексей Иваныч.

— Погоди-ка, на праздник-то пригласишь, что ли?

— Милости прошу, Лексей Иваныч. Пиво-то свое я нынче не варивала, а присыплюсь к Бусыревым. У них и кадка большая. А у меня-то все развалилось, все...

— Ну-ну, ладно... Приду.

— Лексей Иваныч, гармонию захватите.

— Без гармонии-то непустишь?

— Не пушу, Лексей Иваныч. И Марью Саввишну милости прошу. У нас старухи какие соберутся. Выпьем по стакашку с чайком, так нам и хватит. Мы, старухи-то, и расшутимся...

— Эх, Таисья, может, отпустить тебя, что ли? — вдруг крикнул Лексей Иваныч.

Но тут забрякал телефон. Лексей Иваныч заревел в трубку:

— А-а! Что? 25 процентов. Что? А-а-а! 25 процентов. Что? А-а-а-а! 25 процентов. — И стал Лексей Иваныч костенеть и уже глаза заводить. Но успел крикнуть: — Ты иди, Таисья, не мешайся здесь... 25... 25 процентов... А-а-а-а!

\* \* \*

Праздник шел своим чередом. Вся деревня была пьяна. На берегу реки еще недавно горели костры, мужики варили пиво. И текло тонкой струйкой из кадок в долбленные корыта черно-золотое сусло. На гнутых крюках покачивались под ветром прокопченные котлы с пивом. Хорошо пахло хлебом. Драк не было. И только в первый же день пожарный инспектор упился с непривычки. Ходил от дома к дому, весь красный, как огонь, и предупреждал:

— Дурачье! Дурачье! Сгорите! Сгорите все. Я сам подожгу. Сам... Но его быстро уложили спать...

\* \* \*

— А гайтан какой — серебряный, не нонешный?

— Не идет ли? Не идет ли?

— А я и не увижу. А и мала.

— Надо бы на угорошок встать. На угорошок.

— А я туфельки скину да на перстики.

— А я в Раменье работала. Так там глухомань. Ох, глухомань. В люльке качаются, так уж в лапотках.

— А у меня лапотки и матка-то не нашивала. Вся в туфельках да в сапожках.

— А в Раменье-то глухомань, ох глухомань.

— Иде-ет! Иде-ет!

— Идет наш светик, наш соко-о-олик ясный.

— Лексей Иваныч, Марья Саввишна, милости просим!

— Таисья, подноси!

Таисья, раскрасневшаяся от угара, от праздника и от вина, легко понесла на вытянутой руке маленький подносик с двумя стаканами.

— Ну, с праздником! Будем-те здоровы!

И все пошли в дом. Взялись за угощение. А Таисья обносила.

— Лексей Иваныч! Ради праздничка! Лексей Иваны-ыч!

Говорят, что милый мой  
Горькой водочки не пье-е-е-ет.  
Посмотрела в воскресенье —  
На черемуху полез!

— О-о-о! Лексей Иваныч, рыбничку, рыбничку!

— Мясо вкусное.

— Ешьте на здоровье, Лексей Иваныч, я корову зарезала. Корову у меня приболела.

— Лексей Иваныч, сыграйте. А ты, Таисья, спой, спой нескладухи.

— Это верно, Таисья, — сказал Лексей Иваныч. — Потешь.

Нескладухи твои хороши.

И все пьяно закричали:

— Потешь, Таисья! Потешь! Потешь!

— Ну, чего там... — Таисья поставила на стол черный подносик, украшенный алыми розами. Взяла сама стакан с водкой, глотком выпила и вскрикнула:

За-адушевная товарочка,  
Пойду-ка удавлю-ю-юсь,  
Ну, кому какое дело,  
Только шея затрещи-и-ит...

\* \* \*

На пятый день праздника деревня закурилась от вина и пива. Низко, как перед грозой, залетали с того да на этот берег, да обратно, да над деревней, да над взбугренным полем пьяные чайки. И они лаяли по-собачьи, как чужие лаяли по-собачьи на людей. А на земле две вести обходили дома. Первую весточку принесла почтальонша с газетой. Корреспондент из района написал: «Пьяный разгул в деревне Озерки. Бородатые мужики ходят вдоль речки и кидают в деревянные кадки камни для крепости».

И конечно, у нас удивлялись: «Как же так? Крепость-то, выходит, не от хмеля — о-о! А от камней. Ну да. А-а-а! Только как же теперь сусло греть? Как же греть без горячих камней? Ведь кадка-то у нас деревянная. На огонь не поставишь — о-о-о!»

А другую весть принес дед Митрий Григорьевич. Он хотел зайти к председателю сельсовета Сергей Иванычу, да того дома не оказа-

лось, и пошел — ковыль-ковыль на своей убитой ножке — к своему другу, такому же старику, Федору. Он нес чайник с бражкой. Калек несчастный, не заметил, как текла из носика чайника желтой струйкой бражка.

Федор сидел на лавке подле окна в праздничной, белой в черную клетку рубашке. Рядом с ним по полу ползал Володя с такой же, почти как у деда, белой головой.

Федор тихонько Володю уговаривал:

— Седанка придет, Володе тпруте принесет. Седанка придет...

Дедушка Митрий Григорьевич приковывал к окну, крикнул:

— Слышал, Федор, покойники погост огородили! Только с угора к речке что и осталось неогорожено.

— Что?

— Говорю, покойники подсобили, огородились. Ефим Синица, вот неугомонный.

— А-а... Синица? Хороший был дедушка, работающий. Мы с ним вместе еще служили.

— Ты, Федор, к нам заходи попраснозовать. Зайдешь? — Митрий Григорьевич протянул своему дружку почти пустой чайник.

Федор выпил, что осталось. Поморщился от сладости и сказал:

— Ладно. Отнянькуюсь — зайду. У нас-то ведь все пьяны лежат. — И Федор опять затянул свое:

Седанка приде-ет, Володе тпру-тъке-е принесе-е-ет...

Седанка приде-ет, Володе тпру-тъке-е принесе-е-ет...

Подошла к окну черно-белая корова. Показала рогатую морду.

\* \* \*

А праздник молодежи все не кончался и не кончался. На вторую уж неделю перевалило. В понедельник второй недели около магазина сидела прямо в грязи, сидела, обняв стальную проволоку перевоза, пьяная Таисья. Долгими глазами она смотрела на ту сторону реки, на деревню. Дедушка Митрий Григорьевич ушел куда-то допивать, и никого не было из мужиков, чтоб наладить перевоз.

— Озерчанё-о! Озерчанё-о! — закричала Таисья и запела. Запела, как позвала: — Озерчанё-о! Озерчанё-о, хорошие робята, молоде-еж! Первязитя... Первязитя на ту сторону реки-и-и-и...

Да только никто не откликался.

— На ту сторону-у... На ту сторону...у.

К милёму крыльцю-ю-у-у...

Помолчала и опять запела:

— У милё-ого окошко крашено-о-о,

Три холё-о-дных, три холё-о-дных,

Три холё-о-одных на лицё-о-о-о...

— Озерчанё-о! Озерчанё-о-о!

Перевязитя-я-я-а-а-а!



---

## На машине

---

Около станции человек спрашивал: «Чья машина?»

— Милай! — крикнула мне старуха. Она сидела на узлах. Я ее сразу не узнал — от раннего ли часа, от тумана этого, от ожидания ли — она была без лица. — Милай, — сказала она мне, — езджай с Богом. Хорошо! — и пожаловалась тихо: — Мою росу обило, слышь.

— А кто повезет?

— Васька Чичерин проснулся. Он и повезет.

Васька, худенький, похожий более на подростка, чем на мужика, возился около машины, перетягивал через кузов веревку.

— До Ларноги? — спросил Васька, не поворачивая головы.

Я поставил чемодан к заднему борту и помог другой старухе втащить узлы. Она была тоже без лица. А сумку старуха не отдала, уселась вперед к самой кабинке и застыла.

Я тоже залез наверх и успокоился на брезенте в ямке, между ящиками. А внизу глухим голосом человек все спрашивал:

— Это чья машина? — и канючил: — Ну ты, возьми. Слышь. Это чья машина, леспромхозовская?

— Отстань.

— Ну ты, слышь... Ну-у!

— Отстань, сколько заработал?

— Чего? Три года только дали.

— А не пять?

— Три. Только три. Из Великого Устюга еду.

— Ладно. Э-э... не галди.

Человек в телогрейке, бритоголовый, с коричневой шапкой-ушанкой в руке перевалился в кузов. И пошагал по ящикам, отыскивая, где устроиться.

А внизу уже другой канючил:

— Слышь? Это чья машина? Слышь...

Я задремал. А как открыл глаза: все напрочь замеркло от сырости. Небо надо мной обложило тучами. И тихонечко дождиком топотало по брезенту.

А старуха, что сидела спереди, затянула:

— А я гляжу в окошечко-о!

А я гляжу в хрустальноё...о.

Во хрустальноё-о во стёклышко-о-о!

— Что еще? — спросил кто-то снизу. — Не едем, что ли?

Влезли две бабы. Я заснул.

— Уркает, — сказала старуха, — ну, теперь уж скоро.

— Чего?

Я проснулся. Не торопясь просветало.

— Я поехала, потому что надо поехать, — сказала самая молодая. — Вон он уж пришел из армии. Он пришел из армии, я все думаю, как с ним будем жить, как повстречаемся. Это тыщу лет прошло, — мы с ним гуляли. Я ведь ждала. Истопницей работала — так против жару стояла. До солнца, когда торопишься — все бегом, бегом. А в больнице нашей санитаркой я. Так утром скинусь и целый день туда-сюда, туда-сюда. Так и не дождалась... А тут он пришел. Идет навстречу, а мне подумалось: чего это он не так крепко улыбнулся, а чуть вздернулся. Думаю: не он. Мой-то совсем был другой. Эх, чтоб ему покрепче тогда улыбнуться!

...И заплакала.

— А я поехала, — сказала старуха, — оренбургский платок купила. Все равно 35 рублей тухнуло — вот и поехала.

«Надо заснуть», — подумал я. И заснул.

Открыл глаза от боли в низу живота. Согнулся. И сразу получил удар сапогом в лицо.

— А-а! Зэк проклятый!

Впереди бабушка, теперь похожая на курицу, спала, уткнувшись носом в черную сумку.

А тот, в телогрейке, лежал, разбросав руки, и ждал меня. «Хочет перекинуть, — подумал я, — выбросить из машины». Я поднялся и пошел на него, чтобы навалиться и задавить. А тот повернулся и начал тихонько сползать в мою ямку. Я еще ступил и встал на что-то мягкое, прямо живое, а это его шапка. Я протянул руку, — а глаза-то, глаза-то у него закрыты. Я ухватил его за плечо и начал трясти:

— Ты что, эй! Очнись! Слышишь, что ль?

Тот забормотал, а потом ясно спросил:

— Это чья машина? Леспромхозовская?

Я отвалил его от моей ямки и опять заснул.

В свете дня на бритоголового было жалко глядеть — лицо земляное, глаза почти совсем затянуло сухой кожей. Из правого уха торчала неправдоподобно белая вата.

— Ты больной? — спросил я.

— Больной.

Говорить нам было нечего.

«Хорошо, что я не стукнул больного», — подумал я. Мне хотелось отмыться, но я и мы все боялись отстать. Машина в любую минуту могла отправиться. И мы ждали, что отправится.

Наша бабушка и во сне твердила:

— Кажись, уркает? Поехали, что ли?

— Это, бабуся, у вас в животе уркает, — смеялась девушка.

Она была веселой, когда не плакала.

Днем было ничего, особенно если светило солнце. И с каждого поезда от станции бежали люди. Они еще издали кричали:

— Чья машина? Эй!

Некоторые кидали в кузов узлы и торопливо лезли. А снизу другие кричали:

— Слышь! Это чья?!

Потом те уходили. И приходили другие. И тоже уходили. А мы, те, которые первые, мы сидели на своих местах и ждали. Некоторые нам нравились, особенно чудак этот, электрик Федя. Влез без поклажи, крикнул:

— Здорово, почевалы! — И каждому руку: — Электрик Федя, электрик Федя... Мамаша, — сказал он старухе, — ну как, концы запаяли?

Старуха ничего не ответила, потому что последнее время больше спала.

А он ее растолкал:

— Чего, бабуся, везете?

— Две полушалочки, — отвечает, — коричневая и желтая, платье синее в горошек, а еще кофта шерстяная, неношенная, а тут, в сумке, яички.

— Я с тобой, бабуся, сяду. Как до места доедем, так и обженимся.

— Дело сладить можно, — откликнулась старуха... и заснула.

А вечером он уже пристроился к нашей девушке Любе. Он пристроился, и стали они жить. Сначала ничего. А потом он начал ее поколачивать. Сбегает в магазин. Смотрим, уже бутылку несет. Она-то не плакала. А он ее звал куда-то, торопил все: поедем, мол, поедем. И каждую ночь она кричала:

— Уйди! Уйди, Федька!

А он ее жалел.

И раз в одну темную ночь он и говорит:

— Слышь, Люба, зима скоро!

— Что зима, — говорит Люба, — авось одна не замерзну. Ваш брат всегда дорогу проколотит.

Он и начал выхваляться и заорал:

— Все концы запаяю! Мне не жениться, так и тебе замуж не идти. Ты поплачь, Люба, через меня. Где твои слезы? Где?

— Что ты ко мне привязался? — И она засмеялась. — Я с тобой и ноги пристояла, дурак. Отстань, Федька! Ведь я в санитарках работала, сколько вашего брата перевидала. Всех мне мужиков жалко. И тебя, дурака. Ты только от меня отвяжись.

Потом они пели вместе. Тихонечко. Она вела, а он вторил. Хорошо держал.

И пришло время ей рожать.

— Мамонька! — закричала девушка. — Помоги мне.

— О, Господи, — успокоила старуха. — Чего ты? Не несчастные ведь мы. Ребеночек-то хорошо. Прикачнись ко мне, девонька, головкой, а я позову. — И крикнула: — Эй, кто... люди! Таз бы нам. И водички горячей, полотенецко чистое. — И успокаивала: — Ну потерпи... А то давай, кричи, гогино, сколько хватит сил. Вот мы как с тобой уладим, ослобонишься и пойдешь на крылечко перёное с сыночком, а то и с девчущкой — ведь тоже добро. А в лес мы с ними никак не пойдём, в лес темный, дрямучий.

— Федька где? — спросила Люба. — Утек?

— Федька-то? А он нам теперь зачем? Он нам не надобен. Он тебе свое отэлектричил...

— Страшно мне.

— Какие страхи? Ты гляди, будто выскочила на зеленый лужок, а там речушка, цветики-незабудочки, как голубенькие глазоньки, на тебя, горюшу, глядят. А ты вскинулась птахой-кукушечкой да полетела к ближнему лесочку-перелесочку, прямо к высокой сосне али к дубу и — ку-ку, ку-ку, ку-ку... А люди у тебя станут спрашивать: сколько нам, кукушечка, лет осталось жить... А ты свое: ку-ку, ку-ку...

Девушку, вернее, теперь маму мы все поздравляли, кроме, конечно, зэка нашего: «Живи с дитём». Получился у нее мальчик... А девушку спрашивали, то есть мы так о ней думать привыкли — девушка, как сыночка назовем?

Она: — Вася...

И тут ринулся дождик хлесткий, а потом сплошняком, в потоп. Бабушка смеется:

— Слава Господу Иисусе Христе, окрестили младенчика. А ты, Любонька, ластушка, собери в ладошку воду Божью, попей в сладость да в радость Васеньки... Василия Федоровича.

И стал для нас крик младенца Божиим праздником.

— Тоби теперь будет сынок заступушкой, — напророчила бабушка и заснула.

— Езжай, Люба, в Молдавию, — сказала женщина с оренбургским платком. Вздохнула от памяти. — Там сады. Ох, там сады! все дома запружены, и крыш не видать. Человека там убьют, так вот рядом — и не найти. Я тоже молодая думала: уеду в эту Молдавию, уеду.

— Что? — спросила старуха, проснувшись. — Кажись, уркает?

Люба прижала ребенка, скрутилась, с улыбкой ушла в сон. Весной и летом было, конечно, разноцветно, тепло. Но и к зимам мы тоже притерпелись. Студено, а ничего... Главное, чтоб скорее машина тронулась.

Но раз нас чуть не шуганули — совсем чуть не убрали.

Это было, когда Вася уже подросток, наша бабуля его принцем звала.

И вот как-то закричал снизу человек. Он закричал страшно, но нам было его не видно. Он стоял внизу и кричал:

— Ах вы, сизы-косаты! Ах вы, сизы-косаты, — кричал человек надрываясь, — это вы сколько надышали! Это вы тут сколько надышали, тепло-витое забрали, тепло-витое по ветру пустили, по ветру расфукали...

— Кажись, уркает, — обрадовалась старуха. — Вот и дождались, слава тебе, Господи!

— Это начальник, — сказала женщина с оренбургским платком. — Начальник не хочет, не хочет, значит, чтоб мы ехали.

— Ах вы, сизы-косаты, ах вы, сизы-косаты! — кричал снизу человек.

— Жалеет нас, — сказала женщина. — С нами ему беда.

— Чего вы налезли? — кричал человек. — Чего?

— Страдает через нас, — вздохнула женщина. — А мы-то, мы и пострадать толком не можем, как притерпелись уж.

Начальник еще долго кричал, а женщина рассказала, как ее сыночка

убило в войну. Тоже так вот сидела на станции — и самолетом убило, а другой у нее сын родился глухонемой.

— Оттого и родился глухонемой, — говорит женщина, — что тот-то больно кричал. Там на станции, как моего сыночка ранило, схватила я его, а кругом ночь — и составы, составы, — я под них и через путя. А сыночек мой кричит, смертным криком надрывается. Я так думаю, что и родился потом глухонемой, что этот-то больно кричал. Кругом грохает — куда бежать: я все через путя по грязи, как лошадь. А впереди — так заборчик, улочка небольшая, думаю: куда стучать? Открыла калитку — думаю, как бы собаки нас с сыночком не задрали. Толкнула дверь... а там, в доме, худой ветер гуляет. Я в другой дом. И тот пустой. Думаю: чего делать? — а ребеночек кричит. Я его байкаю, уговариваю: «Молчи! Молчи!» Зачем это я его тогда — ведь никому не помеха. Пускай бы кричал. Дура я, дура проклятая — вот и замолчал: другой-то сын глухонемой родился.

— Ну уж, чего вспоминать, — сказала наша бабушка.

— Маленькая, — сказала Любушка и поглядела на нас ясно, — маленькая я очень любила малину собирать. Нет, ей-Богу, любила.

— Погодите-ка, что я вам расскажу, — засмеялась наша бабушка. — А ты, девушка, догадайся. Это еще дед мой загадывал. — И она тихонько запела:

— А что горит, а что горит,  
А что горит без пожара?  
А что светит, а что светит,  
А что светит во всю землю?  
А что бежит, а что бежит,  
А что бежит без ухodu?  
А что цветет, а что цветет,  
А что цветет без опаду?  
А что растет, а что растет,  
А что растет без коренья?  
А что плачет, а что плачет,  
А что плачет без рыданья?  
А что плачет...

— Замолчи! — крикнула Люба. — Лошадь плачет без рыданья. Вам-то чего, вам-то зачем, а я, а я-то что с Васькой здесь делаю? Ему учиться надо, в институт. Отец у него по электричеству был. — И она заплакала.

— Эх! — вздохнула бабушка. — Дед-то мой получше бы рассказал. Ох, какой мастер песни говорить! И много знает, о-о-ох. Нонче четверг? Пасет он. Нам в четверг колейка пасти своих коров.

И тихонько забормотала:

— А я гляжу в окошечко-о-о... А я гляжу в хрустальное...

В ночь разгорелся обычный теперь у нас скандал. Васька бил свою мать и орал:

— Сволочь ты, гулящая. Нагуляла меня... Вы все тут пердуны заржавелые. Сколько раз меня уговаривали: сейчас, сейчас дернет, тронемся, поедем... А у меня джинсов нет. Мать, ты это как, сечешь? Сука ты, а?

Люба не отвечала.

Но он на этот раз спрыгнул с машины.

— Вася! — крикнула она. — Погоди, сынок, я с тобой...

И она тоже исчезла в ночи.

А на другое утро слезла женщина с оренбургским платком.

А я глядел на здание вокзала, на серое зданьице, с маленьким крыльчком, и с доской расписаний, и с урной, с начальником в красной фуражке, и я даже думал, что мы поехали, а вокзал стал поменьше, будто совсем маленьким, а рядом совсем уж маленький начальник в красной фуражке. Да как уедешь — куда? Куда ж от станции? Поезда гудят. И все серым, серым и чугунно так: у-у-у-у — гукает, укачивает.

8.30, 19.20, а еще 0.15 — и всего две минуты стоят поезда. И хлопают двери на крыльце серого этого зданьица. И народ туда-сюда, туда-сюда: все бегом. А поезд только две минуты, только две минуты, и надо еще билеты закомпостировать. А поезда-то жда... А поезд жда... не ста... не ста... И я засыпал.

А проснулся оттого — старуха растолкала.

— Погляди, милай, за сумкой. Я сейчас.

В 8.30 — как всегда, подошел поезд...

— Эй! Это чья машина?

Полезла к нам женщина в плаще и сапогах. Она ловко закинула связанные вместе две кошелки.

— Ну-ка, молодец, подвинься, — сказала она бритоголовому. — Эй, только дай-ка я гляну, под тобой не мокро? — Засмеялась так звонко и, повернувшись к мужику, что стоял на дороге, закричала:

— Чего руки развел, — целоваться не станем! С тебя так хватит. — И ко мне: — Стукни, милый, шоферу, — пускай отправляет.

Я протянул руку, стукнул по крышке кабинки.

Машина гукнула. И вдруг тронулась.

— Эй, не пей, лешай! Не пей! — кричала женщина мужику на дороге.

И опять к бритоголовому:

— А ты, часом, не пьян?

И ко мне:

— И то сказать. Кто нынче не пьет — телеграфные столбы и те чашечки держат.

— Это чья машина? — спросил бритоголовый.

— О-о, чего ты к нам привязался. Мы шоферами не работаем. Нам бы только доехать. Да ты не жмись ко мне, ягодиночка. Сладим, что ли, свадьбу?

— Не тронь!

— Дай я тебя поглажу, неглаженный. Смотри, какой ухагор — и вата в ухе.

— Отстань! Это чья машина?

— Вот заладил. — И ко мне: — Чего это вы какие — как не у себя? — И взялась за черную сумку, что наша старуха оставила.

— Золотинушка, подай сумку, а я там сяду — меньше трясет. — И она села на старухино место.

— А ты, красавец, на сумку не садись, там яйца. Цыплят снесешь.

— А я не сносил.

— Так еще не время. — И засмеялась. — Снесешь... — И ко мне: — Чего это вы какие? Как не у себя? — И к бритоголовому:

— Эй, золотинушка, сапогами не толкайся. — И запела:

— Золотинушка моя, давай позолотимся!

Мы сидим спина к спине, давай поворотимся... И-их!

— Отстань! Отстань!

И ко мне:

— Я тут вечером ехала. Шофер пьяница достался. К машине подступить страшно: а мы, бабы, полный кузов. А он за рулем спит — ну что поделаться, ей-Богу, вот смеху!

Бритоголовый закурил.

— Чего-то воняет, — сказала она и засмеялась. — Золотинушка, ты, это, осторожней.

— Отстань! Отстань!

— Прокладки у машины загорелись, — сказала женщина и вдруг увидела: дымила телогрейка бритоголового: — Ой, мамочки! Молодец, да мы с тобой так сгорим.

Бритоголовый поглядел на женщину, будто еще не понимая, отчего так дымит. Но уже скинул телогрейку, стал ее давить, мять, топтать. А она дымила. И тогда он с маху — кинул ее на дорогу. Поглядел на женщину — и вслед швырнул шапку.

— Ах ты, золотинушка! — засмеялась женщина. — Шапка-то еще хорошая.

А бритоголовый улыбнулся женщине. Вздохнул, вытянул ноги в сапогах и пристроился спать.

К вечеру мы подъехали к другой станции.

И я сразу узнал знакомое серое зданье и начальника в красной фуражке, и доску расписаний, и эту урну. К нашей машине уже бежали люди.

— Это чья машина? — еще издали кричали они. — Эй!..

И вдруг я услышал: в вокзале заиграла прекрасная музыка. И кто-то веселый заорал:

— Он мне ручку крепко жал.

Я руки не отнимала. И-их!

— Свадьбу, что ли, играют? — засмеялась женщина. — Надо пой-ти поглядеть.

И мы все увидели. Там, в вокзале, за светлыми окнами ходили хороводом праздничные люди, туда-сюда, туда-сюда, а посередке невеста в белом платье, точно кралечка.

## Из «Книги Любви»

### Тьма перед рассветом

Железная кровать ржавеет.  
Нагие трубы за окном.  
В ночную фортку звезды веют,  
Покуда спим тяжелым сном.

Плохой матрац. Скрипят пружины.  
И в щели дома гарь ползет.  
Чугунной глыбой спит мужчина.  
И светел женщины полет.

Спят звери, птицы и народы —  
До пробужденья, до утра.  
Горит во мраке твердь завода,  
Его стальные веера.

Пылает зарево больницы:  
Не сосчитать оконных свеч...  
Дрожат смеженные ресницы.  
Сверкает масло потных плеч.

Сон борет нас. Но мы сильнее.  
Вот эта тяга.

Вот волна —  
Слепя, сжигая, каменяя,  
Встает из темноты, со дна.

Тебя от смерти защищая,  
Сплетаю руки за спиной,  
Свечою тела освещая  
Храм спальни, душный, ледяной.

Обнимешь ты меня устало.  
Положишь смертных уст печать.  
И ляжет на пол одеяло,  
Чтоб нашей воле не мешать.

Еще до свиста, до метели,  
До звона рельсов, до гудка,  
До белизны святой постели,  
Где одинокая тоска,

До Времени и до Пространства,  
До всех измен, где плоть болит,



И до такого постоянства,  
Что золотом — по камню плит,

Еще своей любви не веря,  
Мы просыпаемся, дрожа...  
И вольно отворяю двери  
Навстречу острию ножа,

Навстречу грубому объятью,  
Что нежностью истомлено,  
Навстречу древнему проклятью,  
Где двое сцеплены в одно!

И я, от чуда обмирая,  
Целуя потный твой висок,  
Вхожу, смеясь, в ворота Рая,  
Даю голодному кусок,

Дитя нерóженое вижу  
В сиянье нам сужденных дней —  
И обнимаю крепче, ближе,  
И невозвратней, и страшней.

## Дом

...Вот он, дом. Я сюда не хотела идти.  
Я хотела объятий, как ягод!..  
Только чуяла — под ноги мне на пути  
Эти лестницы стальные лягут.

Поднимайся же, баба, вдоль по этажам.  
За дверьми — то рыданье, то хохот.  
Так, должно быть, циркачки идут по ножам,  
Слыша зала стихающий рокот...

Одинока угрюмой высоты тюрма.  
На какой мне этаж?.. — я забыла...  
Свет багровый!.. А лестница — можно с ума  
Тут сойти, так вцепляясь в перила!

Ну же, выше!.. На лестничных клетках — огни,  
Как волчиные — во поле — зраки...  
А за каждой дверью — нагие Они,  
Переплетшие жизни — во мраке!

И внезапно глаза мои — чисто рентген! —  
Стали зреть через доски и стены!  
И застыла я, видя узорочья вен  
И разверзтые в страсти колена!

И прижала ладонь, чтоб не крикнуть! — ко рту,  
Видя тех, кто в Прощании слился,  
И того, кто на писаную Красоту  
Пред холстом своим рюмкой крестился...

И вошли все любовные жизни в меня!  
И чужая — как хлынула — горесть  
Или радость? — мне в грудь — да потоком огня:  
Вот тебе — наше все — Арс Аморес!\*

Вот тебе — это наше Искусство Любви!  
И пускай нам Овидия нету,  
Баба тут же — чернила из раны — дави!.. —  
Опиши, как астрóном — планету, —

Всю любовь коммуналок,  
все страсти пивных,  
Все разлуки щенков несмышленных,  
Всю красу слез алмазных и плеч золотых  
Под рубахами бедных влюбленных!

Ибо нету для Бога запретного, нет!  
Сами мы себя в склеп заточили.  
А любовь — даже злая — невидимый свет,  
Озаряющий в смерти, в могиле!

И поскольку мне видящи очи даны,  
А из глотки — звенящее слово,  
Опишу я Любовь.  
Это видеть должны.  
Это будет — с грядущими — снова.

## Песнь песней

Заходи. Умираю давно по тебе.  
Мать заснула. Я свет не зажгу. Осторожней.  
Отдохни. Измотался, поди-ка, в толпе —  
В нашей очередной, отупелой, острожной...  
Раздевайся. Сними эту робу с себя.  
Хочешь есть?.. Я нажарила прорву картошки...  
И еще — дорогого купила!.. — сома...  
Не отнекивайся... Положу хоть немножко...  
Ведь голодный... Жену твою — высечь плетью:  
Что тебя держит впроголодь?.. Вон какой острый —  
Как тесак, подбородок!.. Идешь меж людьми,  
Как какой-нибудь царь Иоанн... как там?.. Грозный...  
Ешь ты, ешь... Ну а я пока сбегая в душ.  
Я сама заматалась: работа — пиявка,  
Отлипает лишь с кровью!.. Эх, был бы ты муж —  
Я б двужильною стала... синявка... малявка...  
Что?.. Красивая?.. Ох, не смехи... Обними...  
Что во мне ты нашел... Красота — где? Какая?..  
Только тише, мой ластонька, мы не одни —  
Мать за стенкой кряхтит... слышишь — тяжело вздыхает...

---

\* Ars Amores — искусство любви (лат.).

Не спеши... Раскрываюсь — подобьем цветка...  
Дай я брови тугие твои поцелую,  
Дай щекой оботру бисер пота с виска,  
Дай и губы соленые — напропалую...  
Как рука твоя лавой горячею жжет  
Все, что болью распахнуто,— счастьем отыдет!..  
О возлюбленный, мед и сиянье — твой рот,  
И сиянья такого никто не увидит!..

Ближе, ближе... Рука твоя — словно венец  
На затылке моем... Боль растет нестерпимо...  
Пусть не носим мы брачных сусальных колец —  
Единенье такое лишь небом хранимо!  
И когда сквозь меня просвистело копье  
Ослепительной молнии, жгучей и дикой, —  
Это взял ты, любимый, не тело мое —  
Запрокинутый свет ослепленного лика!  
Это взял ты всю горечь прощальных минут,  
Задыханья свиданок в метро очумелом,  
Весь слепой, золотой, винно-красный салют  
Во колодезе спальни горящего тела —  
Моего? — нет! — всех их, из кого сложена,  
Чья краса, чья недоля меня породила,  
Чьих детей разметала, убила война,  
А они — ко звездам — сквозь меня уходили...  
Это взял ты буранные груди холмов,  
Руки рек ледяные и лона предгорий —  
Это взял ты такую родную Любовь,  
Что гудит одиноко  
на страшном просторе!

Я кричу! Дай мне выход!

Идет этот крик  
Над огромною мертвою, голой землею!

...Рот зажми мне... Целуй запрокинутый лик...  
Я не помню... не помню... что было со мною...

\* \* \*

...Не речь, не стон —

уже забили рот  
Навязшими, дрянными словесами...  
Забыл язык любви немой народ.  
Мы как-нибудь. Мы выдохнем. Мы сами.

Мы вышепчем, мы выкряхтим — устал  
Мир от газет, от сленгов да от «фени»...  
Отверзто слово, яркое, как сталь,  
Восставшее из «слушаний» и «прений»...

Любовные романы — черт те что!.. —  
Березки, слезки, ах... — покинул милый...  
...На кухне на пол он бросал пальто.  
Из рук, как зверя, я его кормила.

Соседок через стену легкий храп  
Висел, как дым, мешался с воем вьюги...  
Его веснушек непочатый крап...  
Его — канатно-жилистые — руки...

Наш чай... Комочки сахара на дне  
Не тают... Пьем и губы обжигаем...  
И я в тебе. И ты уже во мне.  
И мы летим. И Время настигаем.

И в общежитской кухне, на полу,  
На холоду, близ чахлой батареи  
Летим, летим, собой пронзая мглу,  
Собой друг друга — меж смертями — грея.

## Свадьба

Все по рынкам, по вокзалам, по миру скиталась.  
Не краса была — а сила. Не любовь — а жалость.

Как вкусна вода из баков железнодорожных!..  
Близ гостиниц — вой собаки отсветом острожным...

Сколько раз в подушку криком: о, судьбу узнать бы!..  
Вот — сияю ярким ликом. Дожила до свадьбы.

Серьги — капельками крови. Дрожу, как синица!..  
Сколько было всех любовей — может, эта снится?..

Вспомню — боль! Пиджак на стуле... Писем вопль упорный...  
В самолетном диком гуле — плач аэропортный...

Рюмки на снегу камчатном ягодами светят.  
Стойкой в форточку влетает резкий зимний ветер.  
Только счастья нам желают, нашу бьют посуду,  
Только я тебя целую, все не веря чуду!

И когда средь битых чашек нас одних оставят —  
Наши прошлые страданья ангелы восславят.

\* \* \*

Снова лифт.  
Душа болит.  
Вниз. А сердце — вверх летит.

Камнем вниз, а сердце — вверх!  
На площадке — яркий смех.

Я спугнула их. Они  
Целовались яростно!

...О, спаси и сохрани  
Губ девичьих ягоды...

Корневища рук мужских.  
И подснежник платья.  
Ширь разлива — свет реки —  
Крепкого объята.

«Это — вечная весна!..»  
«Молодежь-то — дурит...»

А старуха — одна —  
Близ подъезда курит.

Резко глянет на меня.  
Качнусь, как бы спьяну.

После дыма да огня  
Я — тобою стану.

## Прощание возлюбленных

В ладонь тебя целую — чтоб сияла!..  
А в губы — чтобы никогда, никто...

На общежитское слепое одеяло  
От холода положено пальто.  
На плитке стынет чайник обгорелый.  
Кинотеатр в окне — страшной тюрьмы.  
И два нагих, два полудетских тела —  
В ночном нутре, в седом жерле зимы.  
О, Господи!.. Не приведи проститься —  
Вот так, за жалких полчаса  
До поезда! когда глядят не лица,  
А плачуще — глазами — небеса...  
Когда вся жизнь — авоською, горбушкой,  
Двумя билетами в беснующийся зал,  
Газетным словом, больничною подушкой,  
Где под наркозом — все сказал...

Но дай, любимый, дай живое тело,  
Живые руки и живую грудь!  
Беда проехала. И время просвистело.  
И выживем мы как-нибудь.  
Мы выживем — в подземных перелазах,  
Отчаянных очередях,  
Мы выживем — на прокопченных базах,  
Кладбищенских дождях,  
Мы выживем — по всем табачным клубам,  
Где крутят то кино!..  
Мы выживем — да потому, что любим!

Нам это лишь дано.

---

## Салага

### Рассказ

---

Теперь и не припомнить, с чего все началось. Очевидно, с того, что я сошел с автобуса у Пяти углов и сразу же увидел Зиновия. Была поздняя осень 1948 года, по всему Кольскому полуострову гудела пурга, но даже в такой круговерти я его углядел.

Удивляться нечему: кроме Зиновия, я никого в Мурманске встретить не мог. Я и всего-то был в городе третий или четвертый раз. На дивизионе было принято «гонять салаг без продыху». Поэтому новоиспеченного инженер-лейтенанта и гоняли: только корабль ткнется носом в причал — уже «рцы»\* на рукаве, а если дежурство миновало — десять человек, и на разгрузку! А что разгружать — боезапас или картошку, — это уж как повезет...

Итак, я сошел у Пяти углов, и радость заполонила меня. Оттого, что вокруг столько окон — и в каждом огонь, что какой-никакой, а все же автобус! И вдруг — Зиновий. Кореш, однокашник!

Конечно, я знал, что он стоит в Мурманске (мы не отсоединяли себя от корабля, по крайней мере в разговоре: «Я в море», «Я у двенадцатого причала»), — и все же обрадовался несказанно. Это надо ж — встретиться! Мы пожали руки, выяснили, что в нашем распоряжении целых четырнадцать часов, и решили использовать их с максимальным КПД, то есть пойти в «междурейсовый» сфотографироваться, после чего переместиться в ресторан.

Каменный центр Мурманска был полуразбит, к нему со всех сторон подступали кое-как сколоченные бараки. Голубостенный двукрылый Дом междурейсового отдыха рыбаков высился у залива подобно оазису в пустыне. Наши иссушенные души жаждали припасть к его живительной влаге, благо лейтенантские доходы это позволяли. Недорога была влага об эту пору...

Фотоснимок сохранился 9×12: Зиновий и я с папиросами в зубах, белые подворотнички подпирают выскобленные подбородки, щенячий восторг в глазах... Фотография помещалась в подвале, ресторан — этажом выше. Почему-то запомнилась высокая эстрада, на певиче длинное платье в блестках... Синеватый дым, гомон подвыпивших людей, покрашенные сердечком губы девушки.

Зыркаем глазами.

— Сейчас оркестр заиграет, и ты приглашай вон ту, она, кажется, пониже. Лады?

— Ну...

---

\* «Рцы» — сине-белый флаг, обозначающий букву Р. Того же цвета нарукавная повязка дежурного.

Но мы продолжаем сидеть, потому что боимся, что нам откажут. Вокруг столько «мариманов», куда нам... И в то же время знаем, убеждены: сейчас произойдет нечто, не может не произойти.

— Мальчики не танцуют? — Она чуть отстраняет подругу, нагибается. И я вижу загнутые вверх ресницы, запах парфюмерии щекочет ноздри...

Как только оркестр начинает снова, мы встаем, находим их в противоположном конце зала, и вот уже ее теплая рука на моем плече...

Теперь нас четверо.

— Что будем пить?

— То же, что и вы.

— Значит, так...

И поднаторевшая в таких делах официантка тащит бутылки, черную икру, отбивные. Большая часть всего этого великолепия останется на столе, но нам до всего этого нет дела, мы гуляем.

— Тебя как звать?

Минутная пауза.

— Витя.

— А твоего товарища?

— Коля, тебя как звать?

И все понимающий ответный взгляд Зиновия. Эту манеру мы переняли у старших: ни в коем случае не называть себя настоящими именами — потом не отвязаться... Так я и остался для нее Витей. Где, в каких краях она потом вспомнила меня, не догадываясь, что я тогда, в первую же минуту, солгал!

Ресторан закрывался в три часа ночи. Мы ушли еще позже. Было ясно, что на корабли нам уже не попасть, и девчонкам предстояло решить, как нами распорядиться. Они пошептались — и я нырнул с Катей в завьюженную темень.

Шли долго по совершенно пустой улице, потом свернули к баракам. Катя нашарила в сумочке ключ, отперла.

— Ты только потише...

Половицы скрипели — казалось, мертвого разбудят! В темноте я налетел на сундук.

— Тс-с... — Катя поднесла палец к губам.

Коридором прошли в комнату. Я различил две кровати, на одной кто-то спал. Мне стало не по себе.

— Не обращай внимания, у нее сон крепкий. — Она шептала мне в самое ухо и уже стягивала с себя платье.

Я явственно различил удары о грудную клетку. Метроном!

— Ну, что ты стоишь?..

Я никак не мог расцепить крючки на воротнике кителя. Дрожали пальцы. Если бы она знала!..

...Она все равно поняла. Отстранилась, облокотилась на руку. Даже в кромешной мгле обнаженное тело светилось, фосфоресцировало...

— Тебе сколько?

— Двадцать четыре.

— У тебя что, никого не было?

— Угу.

— Ты даешь...

Она опять легла, тяжелые волосы рассыпались по подушке. И вдруг обхватила мою голову и стала целовать, целовать!

Я так и не понял, проснулась ее мать или нет, хотя слышал однажды от противоположной стены: «О, Господи» — и будто кто-то ворочался с боку на бок.

...В тот же день в кают-компани, когда за обедом я чуть не клюнул носом в суп, многоопытный штурманец оценивающе глянул на меня и высказал предположение, что механик флот, во всяком случае, не опозорил. А доктор посоветовал зайти после ужина к нему в каюту:

— Профилактика в таких случаях не мешает...

Если бы мои дорогие коллеги знали, сколь мне были безразличны их шутки! Воспетая стихами и прозой флотская подначка отскакивала от меня, как девятый вал от бетонного мола. «Ка-тя, Ка-тя», — отбивало сердце с частотой семьдесят ударов в минуту...

Теперь жизнь разделилась на две половины: одна включала в себя множество работ, трех-четыре человек, которые командовали мною, и десятки людей, которыми командовал я. Вторая половина состояла из одной Кати. Чтобы увидеть ее, я проявлял такое рвение на службе, что дивизионный механик уже всерьез подумывал о моем продвижении.

Старания оценивались высшей наградой — разрешением лишний раз покинуть корабль. Получив «добро» от начальства, я набивал чемодан тяжелыми банками с тресковой печенью, хрустящими пачками галет, совал туда же выпрошенные у подводников плитки шоколада — и сломя голову мчался на рейсовый.

Катя работала счетоводом в конторе с замысловатым названием, и я норовил поспеть в Мурманск до конца рабочего дня. Написать заранее о своем приезде мне не приходило в голову, да и откуда я мог знать, отпустят или нет? Иной раз это зависело от чистоты пуговиц на бушлате моего моториста, от работы двигателей, а иной раз и вовсе от явлений непредсказуемых...

В ее конторе я был уже лицом известным. Завидя меня в окно, кто-нибудь из сотрудниц спешил сообщить Кате: «Твой пришел!» — и она выбегала из подъезда, придерживая рукой накинутае на плечи пальтецо, протягивая ладошку, укоризненно говорила, показывая на чемодан: «Ну зачем ты так?»

Но я уже знал, что живется ей тяжело, мать по вербовке приехала с нею перед самой войной, отец куда-то сгинул... «Комнату мы после Победы получили, а так жили пятнадцать человек на одной площади. Представляешь?»

Хоть убей, не припомню, как она одевалась. Наверное, как все. Во всяком случае, в ресторане она «гляделась». Завсегдатаи «междуреисового» — барыги из ОРСа и моряки с «вновь строящихся и капитально ремонтирующихся» — провожали ее ладную фигурку одобрительным взглядом. Ну, а я взлетал с Катей по шербатым



ступеням, как на седьмое небо, и обслуга спешно распахивала перед нами двери...

Изредка к нам присоединялся Зиновий, он же Коля. С подругой у него что-то не заладилось, и приходил он «просто посидеть». Сколько мы денег просаживали! Будто соревновались в удали перед сероглазой красавицей. Мы наперебой развлекали ее разговорами, рассыпали еще не позабытый ворох курсантских острот. Увы, бо́льшая их часть до Кати, видимо, не доходила. Вряд ли в свои двадцать лет она прочла хотя бы десяток книг. С питерскими девчонками, осаждавшими Большой зал Консерватории, шпарящими наизусть Ахматову и Блока, она не шла по этой части ни в какое сравнение! Но ни одна из тех интеллектуалок, тайно метивших в жены будущих флотских офицеров, не шептала мне на ухо, задыхаясь от смеха: «Смотри, опять в одном носке уедешь...»

Я полагал, что мне отчаянно везет. После первого раза, когда мать Кати, кажется, все же вздохнула, накрывшись с головой, я постоянно приезжал именно в тот день, когда мать выходила в ночную смену. По-моему, она работала в рыбном порту то ли вахтером, то ли крановщицей. Впрочем, какое это имело значение? Я ее все равно не видел. Правда, один раз столкнулись нос к носу: ждал Катю на крыльце барака и вижу, поднимается женщина в ватнике. Ветер раскачивал сорокаваттную лампочку, и в ее зыбком свете женщина показалась какой-то серой: серый ватник, серое лицо, волосы... Глянула она на меня не очень-то приветливо, пробормотала вроде того, что «ходят тут всякие», — и хлопнула дверью.

В первую минуту я даже не отреагировал на такие ее слова — ну сказала, ну и что? — а потом будто в сердце кольнуло: «Ходят тут всякие». Выходит, не я один...

Пока спускались вниз, рискуя ежеминутно упасть на заледенелом склоне, пока хрустели февральским снежком на тротуаре, Катя ничего не замечала. Ни на минуту не замолкая, она рассказывала, какие ботики «оторвала» Светка, как попалась Зойка («Пошла к врачу, а он говорит: третий месяц. Вот ужас, представляешь?!»). Потом, кажется, до нее дошло.

— Витька, у тебя что-то стряслось?

Я сказал, что нет, полный порядок. Тогда она забеспокоилась всерьез. Скажи да скажи. Пришлось рассказать.

— Вот дурачок! — искренне удивилась она. — Да мне с тобой хорошо... А она тебе и не такое скажет, только ты варежку не очень-то разевай.

И все. Как будто тяжкий груз с плеч свалился. Действительно, что за чепуха лезла мне в голову!

Говорили мы с ней о будущем? Что-то не припомню. По всей видимости, не говорили. Да и зачем? У меня была женщина на берегу. Это причисляло меня к великому клану мореплавателей, я был счастлив, как только может быть счастлив человек, открывший для себя едва ли не самую главную радость жизни на этой земле.

О женитьбе я и не помышлял. Может быть, потому, что видел всю беспросветность бытия «женатиков»: груды пеленок на комму-

нальной кухне, чуланы, кое-как приспособленные под жилье, бывшие выпускницы хореографического, зябнущие на причале... Да и Катя ни о чем таком со мною не говорила. Только однажды, в ночном полубреду, повернула ко мне голову и как-то очень по-взрослому сказала:

— Ты, Витенька, все же поосторожнее... А то я возьму и рожу тебе бэби. Что тогда твоя мамаша скажет?

Я засмеялся, обнял ее...

Иногда становилось не по себе. «Витенька». Кличка какая-то... Пора было признаться, но страшило: вдруг обидится? И я все откладывал.

В начале апреля мы выходили в море. Ненадолго, месяца на полтора. Впервые я расставался с Катей на такой срок. Не скажу, чтобы мы часто встречались. Если за месяц удавалось раза три вырваться, то это считалось великой удачей. И все-таки мне предстояло первое в жизни плавание в должности офицера. Не говоря уж о том, что Баренцево море в апреле не лучшее место для морских прогулок...

Словом, было задумано грандиозное прощание в «междурейсовом» с обязательным привлечением официантки Ксении и, разумеется, Зиновия. Но Катя неожиданно все переменяла. Когда я предстал перед нею в белоснежной сорочке, с кортиком на боку, она довольно равнодушно глянула на парадное мое великолепие и сказала:

— Сегодня мы никуда не пойдем.

Руки ее были по локоть в муке и тесте, поверх платья — расшитый узорами, очевидно, мамин фартурк.

Тут я только заметил, что стол, обычно стоящий у окна, выдвинут на середину комнаты, застлан чистой скатертью, а посередине... о, чудо из чудес — бутылка коньяка!

Здесь необходимо пояснить, что ни мой чемодан, набитый казенным харчем, ни наши вечера в ресторане в счет не шли. Было это с моей стороны чем угодно, только не подарками. Мы попросту убивали время, убивали потому, что по-иному не умели, не были обучены. Мы у б и в а л и время... Не правда ли, страшновато? Но только не тогда, когда тебе двадцать четыре и самое страшное — война — позади.

Словом, Катя сделала мне подарок, и если покопаться, то получалось, что в моей молодой жизни такое впервые. А тут еще пирог подоспел...

Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу. Катя разложила на столе весь свой небогатый запас фотографий: голенастая девчушка с мамой, стриженные головы, пионерские галстуки — 5-й «Б», подружки, на обороте — «Люби меня, как я тебя»... Моряки — «На долгую память», «С фронтовым приветом»...

Один снимок привлек мое внимание: Катя еще с косой через плечо, в группе военных. Фотография любительская, делалась наспех, лиц почти не разглядеть, но форма у военных какая-то странная. Пригляделся. Ба, да это американцы! Я их видел не раз, когда курсантом попал на короткое время на Север.

— Откуда она у тебя? — спросил я Катю.

— Мы в порту работали. И они попросили: давайте сфотографируемся. А на следующий день пошли с девчонками на танцы, а они уже там. И карточку мне подарили...

Утром она проводила меня до самого катера. И на виду у зевающих спроснок моряков, у топчущихся на холоду, укутанных в платки баб, на виду у всего Кольского полуострова поцеловала. А потом побежала, заноса ногу за ногу...

Какое плавание было? Хорошее было плавание. Я впервые ощутил не на словах, а на деле причастность к этой выкрашенной краской коробке, населенной людьми и грохочущим железом. Впервые я шел по воде, именно шел, потому что это было так же естественно, как идти по земле, потому что это было моей службой, моим бытием.

Конечно, случалось исходить в море черной завистью. К Зиновию, например. Мне почему-то живо представлялось, как он драит пуговицы на шинели, собираясь на бережок... Конечно, думал о Кате. И потому не принимал участия в «теоретических конференциях» — так величали у нас беседы в кают-компании между вечерним чаем и командой «Очередной вахте заступить...» Собеседники, в звании от лейтенанта до старлея, заинтересованно обсуждали жгучие проблемы взаимоотношения полов. Капитан-лейтенанты и выше участия в «конференциях» не принимали, довольствуясь семейным опытом...

Мы вернулись на базу в конце мая — начальство объявило: «На пару дней». Жерло залива было набито туманом, потом никак не давали «добро» на подход к причалу...

Я добрался до Мурманска, когда полярный день догорал на сопках, чтобы через час разгореться снова. На Катину работу я опоздал, поэтому двинул прямо к ней домой.

Барак спал, вперив невымытые окна в незакатное солнце. Я обошел строеньице, соображая, какое из окон ее. Вроде это. Дотянулся, стукнул.

И сразу же, словно там, за стеклом, поджидали, дернулась занавеска, и я увидел лицо ее матери. Никакой художник не изобразит, что было на этом лице! Надежда, мучительное недоумение, потом внезапная радость — она изо всех сил кивала: сейчас, сейчас открою!

Я побежал к крыльцу. Дверь распахнулась, женщина схватила меня за руку, потащила в комнату и, как была — в ночной сорочке, с жалкими неприбранными космами вдоль щек, — бухнулась на колени:

— Витенька, спаси, Витенька, заступись ради Христа, — исступленно твердила она, протягивая ко мне руки.

Я ничего не понимал.

— Да что случилось?! — мне наконец удалось прервать ее.

Она встала, пошла к кровати, села, опершись руками о матрац.

— Заарестовали Катю. Теперь судить будут. — Она безнадежно-спокойно произнесла чудовищные слова, а слезы катились по ее щекам сами по себе, она даже не пыталась их вытереть.

Потом она поднялась с кровати, накинула халат. На кухне загудел примус, я достал из чемодана консервы.

Мы пили чай, и она рассказывала, что Катю забрали вскоре после того, как я ушел в море, пришли ночью с обыском — и увели. Мать была у следователя, и тот рявкнул: «Не надо было путаться с американцами!» — а больше говорить не стал. Путаться! Да ей шестнадцать лет было! Девчонка, несмышленьш! Да я и сам, и все мои товарищи по этой дьявольской логике «путались»! Никогда — ни до, ни после — я не матерился при женщине. А тут! Я крыл в бога, в душу, в двенадцать апостолов, я не находил иных слов!

Она предложила остаться до утра, я отказался. Клятвенно пообещал: сделаю все, что в моих силах, чтобы вызволить Катю, — и вышел, стараясь не скрипеть половицами. Уже когда подходил к морскому вокзалу, вспомнил, что забыл чемодан, — и махнул рукой. До того ли?

Всю ночь в кислой духоте зала ожидания (кто-то вздумал натопить печь) я осмысливал все, что произошло. Вспомнил: еще в марте всеведущий штурман сказал за обедом, что в Мурманске и Архангельске «хватают девок».

— Настучит соседка, что с союзниками любовь крутила, — и будь здоров!

Замполит, обычно терпимый к новостям любого рода, вскипел:

— Органы знают, что делают. И вообще, кончай болтать языком!

Может, окрик подействовал, может, что другое, только к этой теме в кают-компании не возвращались. А сейчас я в который раз припоминал каждое слово тогдашнего разговора, снимок, который показывала Катя, и думал, думал.

Следующий день я прожил как бы по инерции. Единственное, что меня заботило, так это не оступиться, выполняя многочисленные обязанности механика. Не оступиться не в переносном смысле, а в прямом. Чтобы помочь Кате, требовалось быть здоровым и с целыми ногами.

Сразу после ужина я пошел на соседний корабль и постучал в каюту № 4.

— Пожалуйста, — раздалось за дверью.

Старший лейтенант Синичкин, уполномоченный особого отдела, слыл на дивизионе человеком приветливым и компанейским. Годами он был мне почти ровесник, но я, да и остальные относились к нему с почтением. Коля Синичкин, прежде чем стать особистом, воевал на сухопутье, был дважды ранен, столько же награжден.

В товарищи не навязывался, но, будучи холостым, мог двинуть в Дом флота даже с таким «зеленым», как я. Чем занимался Синичкин в служебное время, было нам, естественно, неведомо, но мы о том и не задумывались. Служба есть служба. У каждого своя.

Коля показал на стул, сам пересел на койку.

— С чем пожаловал?

Голубые глаза с красноватыми, как у всех альбиносов, веками смотрели на меня спокойно и доброжелательно.

— Я к тебе посоветоваться... Вот завтра к прокурору собрался...

— К прокурору так не ходят, сперва заявление пишут.

— А я и написал.

— Можно глянуть?

Я протянул Синичкину тетрадный лист.

Он читал внимательно. Мне показалось даже — повторяя: пухлые губы шевелились.

— Я что-то не понял: ты давно с нею знаком?

— С полгода.

— Точнее не припомнишь?

Точнее я припомнить не мог.

Синичкин пожевал губами, встал, зашарил руками по верху шкафа.

— У меня там, в заначке, папиросы хорошие. Мне без разницы, сам знаешь, а тебе пригодятся.

Протягивая пачку, он, как бы между прочим, спросил:

— Никому об этом деле не рассказывал?

— Ты первый, — ответил я.

— Это хорошо, что первый.

Коля сел и, глядя на меня в упор, отчеканивая каждое слово, произнес:

— Значит, так. Ты мне ничего не говорил, а я ничего не слышал. Но если ты завтра пойдешь с этим, — он взял со стола мое заявление за уголок, покачал им брезгливо, — если ты завтра пойдешь с этим куда бы то ни было — на меня не обижайся.

Швырнул мне листок и добавил:

— Эх ты, салага...

Я уже взялся за ручку двери, когда Синичкин спросил:

— Как себя назвал-то: Петя? Вася?

Показалось: шея — и та стала у меня красной! Особист произнес вслух то, о чем я подумал в первую же минуту, когда узнал об аресте Кати — там, в бараке. Подумал — и устыдился, и заставил себя забыть про это. Но ведь было. Было!

Я ничего не ответил Синичкину. И закрыл за собой дверь.

...Еще одну ночь я не спал. Соседа по каюте не было, я отдернул шторку на иллюминаторе, и розовый свет полярного дня беспрестанно тек в каюту. Я перебирал мою, как мне теперь казалось, горемычную жизнь — и ничего, кроме флота, в ней не находил. Я припоминал ни с чем не сравнимое волнение, когда впервые ощутил холодящий ладони металл офицерского кортика. В тот день на Дворцовой площади мне вручили диплом инженер-механика. Я видел сияющие глаза отца — он попросил прийти к нему на работу и знакомил со всеми своими сослуживцами... Что станет с мамой?! Я для нее единственный свет в окошке. Когда во время отпуска мы с нею крепко повздорили по какому-то пустяку, отец отвел меня и, глядя в сторону, сказал: «Не забывай, она сердечница...»

Из-за чего весь этот ужас? Из-за того, что девчонка, с которой я знаком без году неделя, которую я, в сущности, совершенно не знаю, танцевала с кем ни попадя в сорок четвертом году?! А честь, о кото-

рой мне твердили, едва я надел флотскую форму? Это что — треп, жалкие слова? «Витенька, ради Христа, заступись!»

Все свои двадцать четыре года я шел по накатанной дорожке, и даже короткое испытание фронтом ничем меня не отличало. Так было со всеми. И вот, когда я впервые могу защитить, могу спасти, — я трушу. Позорно, гнусно трушу! А из-за чего? Что мне грозит? Ну, выгонят с военного флота. Так что же? Пойду в торговый. Диплом-то не отнимут.

Я вдруг почувствовал, как холод поднимается от палубы. Вот он в ногах, подбирается к грудной клетке... Идиот, при чем тут диплом?! Ты разве не видел в бинокль спичечные треугольники вышек на Таймыре, паутину колючей проволоки? Я так ударил по переборке, что дрогнул вахтенный у трапа. Поднес ладонь к глазам. На вздувшейся коже явственно отпечатались белые бугорки заклепок.

Все, завтра после подъема флага иду к прокурору. И будь что будет.

А рано утром меня сдернули с койки колокола громкого боя. На трапах отплясывали чечетку матросские каблуки, динамики захлебывались от команд. Через час мы уже принимали топливо, грузили до полного комплекта боезапас. На флоте начались учения, и дивизион «синих» выходил в море на поиск и уничтожение условного противника. На этот раз повезло: всего через месяц вернулись в Мурманск. У проходной подвернулся трофейный «опель». Я сговорился с водителем, и он домчал меня к самому барaku. На лавочке возле крыльца разговаривали две женщины.

— Вы к П.? — спросила одна из них.

— Да.

— Нету их.

Она замолчала. Потом, видя, что я не собираюсь уходить, неохотно добавила:

— Катерину осудили. А мать ее съехала.

— Куда?

— А бог знает. Только в Мурманске ее нет. Это точно.

Было ясно, что больше мне здесь ничего не скажут.

Вроде бы и клясть себя было не за что: так распорядилась судьба. А в памяти почему-то всплыл презрительный возглас особиста Синичкина: «Эх ты, салага!..»

*Июнь 1988 года*

## Император едет в Павловск

Император едет в Павловск,  
Охраняем и храним.  
Император едет в Павловск,  
Свита следует за ним.  
Вот проехали заставу,  
Вот столица позади.  
Что там слева? Что там справа?  
Что там будет впереди?  
Золотого солнца парус  
Тихо движется в зенит.  
Император едет в Павловск.  
Свита шпорами звенит.  
Месяц май стоит в природе,  
Облака роняют пух.  
И не надо о свободе  
И ни тайно, и ни вслух.  
На Руси любому тяжко.  
Как и нынче, так и встарь  
Под кнутом в одной упряжке  
И холоп, и государь.  
И совсем не в этом дело.  
Суть не в том, кто правит суд.  
Жить без пользы надоело,  
А для пользы не дадут.  
Пораженья и победы —  
Всё растает, точно дым.  
Император в Павловск едет.  
Свита следует за ним.

\* \* \*

Скрипела медленно арба  
Ничуть других не хуже,  
И шла за ней моя судьба,  
Расплескивая лужи.  
А в этих лужах, прямо в них,  
Цвела такая просинь,  
Что отражала нас троих:  
Меня, арбу и осень.  
Арба тащилась так, едва,  
Скрипела вдоль дувала.  
Плескалась в небе синева,  
Ее на всех хватало.  
Играл за стенкой музыкант  
На флейте одиноко.

Старинный тракт на Самарканд  
Шел мимо наших окон.  
И там над ним, прикрывши плешь  
И правя на отроги,  
Парил с арбою арбакеш  
И ослик тонконогий.  
Была такая синева —  
Ее на всех хватало.  
Слетала желтая листва  
На крыши и дувалы.  
Летели голубые сны  
В края российских сосен.  
И долго письма шли с войны  
В ту золотую осень.

\* \* \*

Научиться бы слову,  
Пониманью вещей  
У поэта Светлова  
И его корешей.  
Ну, а чтобы эпоха  
Не застала врасплох,  
Научиться б неплохо  
Пониманью эпох.  
И пока я не умер,  
И пока я с людьми,  
Вывози меня, юмор,  
На дорогу любви.  
По снежку-первопутку,  
Чтоб с заплечным мешком...  
И не надо попутку.  
Мне привычней пешком.  
Я судьбу не неволю  
И свой век не корю,  
Потому не глаголю —  
Просто так говорю.  
И столетья иного  
Мне не надо совсем,  
Только было бы словом  
Перекинуться с кем.



---

## Маршальская звезда

Рассказ

---

Дом стоял у самого берега водохранилища, на отшибе, и со всех сторон его обдувал ветер. Можно было открывать только одно какое-нибудь окно, иначе в комнаты врываются сломя голову сквозняки.

Утром маршалу позвонил его старый друг, теперь тоже маршал, и спросил, можно ли заехать ненадолго. «Конечно, — сказал маршал, — о чем речь». Но потом он долго не клал трубку на рычаг и думал, что на самом деле он не хочет, чтобы к нему приезжали. Ни этот его старый друг, ни кто-либо другой.

С утра жена уехала с сыном в город, и домработница тоже, и он остался дома один с дочкой. Когда она родилась, ему было уже пятьдесят восемь. А теперь ему шестьдесят четыре. Дочь и десятилетний сын были его детьми от второй жены, а еще у него было двое от первой, от которой он ушел семь лет назад. Но те дети были совсем взрослые, и он редко с ними виделся.

Он знал, зачем хочет с ним повидаться старый его друг и о чем станет с ним говорить, и после телефонного звонка ни о чем другом уже не мог думать. Может быть, потому-то он и ухватился за то, что надо бы искупать дочку. Разговор об этом был еще утром, но жена торопилась в город и сказала, что искупает ее потом, как вернется.

Он зажег на кухне все конфорки и поставил на них чайник и три большие кастрюли с водой, и пока они нагревались, он глядел из окна кухни на лужайку, которая отделяла дом от узкой полоски песчаного берега. Лето было сырым, и трава на лужайке и к августу не пожухла. Дочка возилась в песке у самой воды, но он за нее не боялся — дно здесь было пологое и неглубокое.

«Нет, — ответит он другу. — Нет». И ничего не станет объяснять. «Нет».

Они знали друг друга еще с той мировой войны, с первой, и вместе провоевали гражданскую, и финскую, и на Халхин-Голе. После гражданской учились в академиях и служили то вместе, то врозь. Вторую мировую он начал заместителем этого своего друга, затем они поменялись местами, а к концу ее стало так, что в армии над ним уже никого, кроме Верховного, не было и уже никто не говорил ему «ты», кроме этого самого друга. Впрочем, в войну они чаще всего встречались при таких обстоятельствах, когда и не скажешь друг другу «ты». К тому же он не был уверен, что тогда, в войну и после, ему хотелось, чтобы кто-нибудь говорил ему «ты».

Когда тучи находили на солнце, водохранилище делалось серым, а трава на лужайке казалась зеленее, чем была на самом деле.

Вскоре после войны, накануне парада в честь Победы, ему сшили

новый мундир, и жена, портной и адъютант долго бились, чтобы уместить на нем его ордена, звезды и иностранные ленты, от медалей пришлось попросту отказаться. На банкете после парада он заметил, что все смотрят не ему в лицо, а на сверкающую наградами грудь. Но тогда ему, по чести говоря, даже нравилось, что люди — и подчиненные, и равные ему по званию — боятся встречаться с ним взглядом. Его вообще боялись, он знал это, и это ему тоже нравилось. Даже с а м, всемогущий и ревнивый, тоже его боялся, и он догадывался, к чему тот ревнует и чего боится, и это тоже нравилось ему, хотя и пугало. И он не очень удивился, хоть обида была горькой и тяжелой, когда его вдруг, без объяснения причин, услали командовать дальним и незначительным военным округом, где к тому же первым человеком был не он, а командующий флотом, формально ему подчиненный. Он не спал ночами от обиды и презрения к тем, кто его услали, но утешал себя сознанием, что это было сделано потому, что все они его боялись. Он это твердо знал.

«Нет» скажет он другу и ничего не станет объяснять. Он надеялся, что друг его и так поймет, хоть и не скажет вслух, что понимает. А может, и не поймет — уж больно давно они не видались.

Он мыл дочку в эмалированной ванночке (горячей воды вполне хватило) и ощущал сквозь губку пальцами мягкие ее ребрышки под скользкой от мыла, нежной кожей, тугие горошинки пальцев на ногах, упругость попки и вполне уже не по-детски рано обозначенную талию, и чувствовал, что может сейчас расплакаться от умиления и любви легкими стариковскими слезами.

Тех двоих, от первого брака, он плохо помнил детьми: учился в академии, потом в адъютантуре, командовал дальними гарнизонами и возвращался домой за полночь, когда они уже спали, потом — война, и когда он с нее вернулся, они были совсем взрослыми и чужими, хоть он и любил их и заботился, как умел и насколько ему хватало тогда времени, а на войне скучал по ним.

На войне он и по жене скучал, но когда вырывался к ней с фронта на несколько коротких часов, все становилось сложнее, чем казалось на расстоянии, и он спешил уехать обратно в армию, даже если и мог еще задержаться.

А после войны он уже стал для нее не тем, кем был раньше, а был как бы облачен раз и навсегда в мундир, увешанный золотом, бриллиантами и муаровыми лентами, и глядел на нее со всех стен с фотографий — тяжелый взгляд из-под густых бровей, тяжелый квадрат подбородка, жесткая складка рта, лоб, который казался мощнее и выше оттого, что, скрывая лысину, он наголо брил голову. Со временем он и сам привык ощущать себя отрешенным от нее и детей, как, впрочем, и от всех остальных людей, вроде памятника, огражденного чугунной цепью, за которую вход запрещен.

Самое трудное было вытереть дочке голову. У нее были густые рыжеватые, словно бы медные волосы, такие густые, что даже матери никогда не удавалось их вытереть досуха, и ей повязывали на ночь на головку платок, чтобы она не простыла. Они с женой, прежде чем улечься сами, ходили в детскую и смотрели на нее, спящую в плато-

чке, — «купчиха» называли они ее, — а выйдя от нее, долго улыбались и молчали. Дочка была похожа на мать, но рыжие волосы — это от него, он потому-то, а вовсе не потому, что стал лысеть, и брил наголо голову, что был рыж и смолоду стеснялся этого перед своими подчиненными и начальниками. А теперь и брить-то уже почти нечего, шестьдесят четыре, и дочке меньше, чем внукам от старшего сына.

Сын, тоже военный, служил адъютантом у того самого старого друга, который сейчас к нему приедет и, возможно, приедет вместе с ним, с сыном. Сын был не рыжий, а темный, в мать. Тут уж ничего не поделаешь. Он знал, что сын гордится им и любит его — так, как его вообще можно любить: на расстоянии и не без опаски. С этим тоже ничего уже не поделать. Что ж, хорошо, если сын приедет.

Он долго тер дочке волосы пушистым полотенцем и слышал запах яичного шампуня, которым вымыл ей голову. «Нет, — скажет он другу. — Нет».

Свою вторую, нынешнюю, жену он встретил на фронте перед самым окончанием войны, она служила военврачом при его штабе. Когда он, не глядя на нее и не изменив своего привычного властного, не терпящего послушания тона, сказал, чтобы она вечером пришла к нему, она пришла, не переча ему и, конечно же, догадываясь, зачем он ее позвал. Тогда ему вообще никто не перечил. Вполне возможно, что и это он получал от других и получил тогда, в первую их ночь, от нее не из любви, а из того же страха и привычки к повиновению. Тогда ему было, наверное, все равно — из любви или из одного повиновения, ему просто было недосуг над этим задумываться.

Но когда он во второй раз позвал ее и она пришла и была с ним молчалива и грустна, как нельзя быть молчаливой и грустной с нелюбимым, безразличным тебе человеком, он понял, что она нужна ему. Даже не самая эта скомканная, на скорую руку военная любовь нужна, а — именно она. И хотя он той же ночью, когда она ушла, а он лежал один на широкой чужой постели с шатром на тонких витых столбиках в только что занятом прусском замке, поймал себя на непривычной мысли, что нехорошо так думать — только о себе, а о ней думать лишь как о ком-то или даже о чем-то, что нужно ему, и только-то, он не стал себя строго судить, потому что давно отвык уже оценивать свои поступки и мыслить с иной точки зрения, кроме своей собственной.

После войны они встретились не сразу, а много спустя, когда он уже впал в немилость и о нем стали, похоже, понемногу забывать. Нет, не забывать, одернул он себя, а просто бояться поминать его вслух. Он знал, что с а м о м у стоило немалых усилий и забот, чтобы научить людей не помнить о нем. Впрочем, это не самое трудное на свете — заставить людей забыть о чем бы то ни было. Он разыскал ее через Комитет ветеранов войны и прилетел к ней на военном самолете в воскресенье утром, когда можно было ожидать, что застанет ее дома. Ему и в голову не пришло, замужем ли она, хочет ли встречи с ним, помнит ли. Она была дома, пополневшая, не такая молодая и привлекательная, как прежде, но это была она, и была она ему нужна не меньше, а, пожалуй, больше и острее, чем раньше.

Он приезжал к ней не часто, но и не реже, чем позволяли ему дела командующего округом.

Дети уже учились в институтах, жена не могла оставить их и московский дом, и он жил один среди мужчин, ему подчиненных, а настоящее одиночество понимаешь лишь тогда, когда вокруг тебя одни подчиненные тебе, повязанные субординацией люди.

В ней же и в ее отношении к нему была спокойная и ровная устойчивость не первой молодости, несуматошной и раз и навсегда избравшей для себя судьбу женщины, а как раз это-то и было нужно ему.

Об этой связи знал только тот самый его старший друг, который сейчас к нему придет. Знал, потому что был в ту пору начальником отдела, в который стекались все донесения о личной жизни высшего состава армии. И хотя он был обязан сообщать обо всем с а м о м у, он не сделал этого, и маршал это знал и помнил.

Он повязал дочери на голову платочек, велел ей надеть теплую курточку и ботинки вместо сандалий и отпустил опять поиграть на берегу. Из окна он видел, как она бежит, смешно раскидывая ножки, через лужайку, и снова подумал, как легки на слезы отцы в его возрасте.

Потом он вылил из ванны воду, вымыл ее щеткой и повесил на крюк. Проверил, погашен ли на кухне газ, и вышел на террасу, с которой был виден и берег, где возилась в песке дочка, и дорога, по которой должен был приехать его друг.

Когда он узнал, что она беременна, и не мог взять в толк, как же ему поступить, она сказала, что пусть все остается, как было, но она хочет от него ребенка и имеет на это право. И когда она родила ему первенца, мальчика, он поехал к жене и все рассказал ей. Он сказал, что понимает, как глупо и поздно ему начинать все сначала, он не уйдет из семьи и единственное, о чем просит ее, это позволить ему усыновить сына.

В их огромной московской квартире на улице Грановского со стен глядели на него, как и прежде, его портреты, а в правом ящике письменного стола были заперты на ключ ордена, звезды и ленты. Жена приняла его просьбу как готовое решение, а решения его были для нее, как и для всех других, окончательными.

Ветер с водохранилища наваливался на террасу плотной волной, и деревянный дом терпеливо постанывал.

Когда он ушел от первой жены, он отдал огромную дачу на юге, подаренную ему после Победы с а м и м, и получил взамен этот дом в Подмоскowie, гораздо меньше и хуже прежнего, но теперь ему много и не надо.

В здешнем небе жили совсем другие краски, чем на юге, мягче и беднее. Но и он уже не прежний.

С террасы вода как на ладони, зеленая, словно море, а на закате и на рассвете над ней висели похожие на аэростаты над Москвой в сорок первом недвижные округлые облака.

Он не знал, как назвать то, что чувствовал к своей второй жене. Когда-то, в академии еще, он долго и безнадежно любил и знал, что

это — любовь. А все, что было потом — и с первой женой, и с другими, — было совсем непохоже на то, что он чувствовал в тот первый свой раз, и он не мог называть эти совсем разные чувства одним и тем же словом. Со временем он и вовсе отвык думать и тем более говорить о любви, да и женщины уже не ждали от него этого.

Она не была очень уж красивой даже тогда, в войну, когда он ее позвал — или приказал? — в первый раз к себе. В ней было нечто совсем другое, чем просто красота и привлекательность, он и сам бы не мог сказать словами — что. Он знал, что ей безразлично, кто он и что, и слава его, и власть, может быть, она бы даже предпочла, чтобы всего этого и вовсе не было, так бы ей было легче с ним. Она любила его и своих детей от него, и ничего ей не было нужно, кроме того, чтобы всем им было хорошо. Она никогда не льстила ему, не заискивала и не подлаживалась к его слабостям и недостаткам, а лучшее в нем она принимала как нечто само собой разумеющееся. Он был такой, какой был, другого у нее не было, и другой он ей и не был бы нужен.

В ней жило тихое упорство, ровность и спокойствие человека, у которого нельзя отнять то, что у него есть, потому что все, что у него есть, — в нем самом, в том, что и как он чувствует, что думает и что любит или не любит, а этого нельзя отнять. Ничего нельзя отнять у человека, который не хочет и не ищет ничего такого, чего нет в нем самом.

После смерти Верховного он был призван вновь к высшим своим обязанностям и должностям, но это продолжалось недолго, новый властитель ревновал его и боялся не меньше, а больше, чем прежний, его снова лишили всех постов и официального почета и лишь в память о его военных заслугах и в страхе, что на этот раз общественное мнение не будет таким податливым и покорным, не разжаловали, а только уволили в запас, на пенсию, сохранив ему звания и награды и даже квартиру в правительственном доме на улице Грановского, но он в ней не жил, а поселился здесь, на даче, неподалеку от Москвы, на берегу водохранилища.

Когда пришла эта вторая опала и жена и старшие дети вновь надели на себя терновые венцы и ходили с поджатыми от незаслуженной обиды губами, она приехала в Москву с четырехлетним сыном и позвонила из гостиницы. Он пришел к ней, и они просидели всю ночь молча на жестком гостиничном диване, прислушиваясь, как сопит во сне мальчик. А наутро он позвонил домой и сказал, что не вернется.

А потом пришел черед и второго его обидчика, к власти пришли новые люди, и вот теперь эти новые — маршал ни на секунду в этом не сомневался — шлют к нему старого его друга, и маршал знал, с чем они его послали.

Сколько же времени прошло, как они — он и старый этот его друг — не видались и не разговаривали?..

Он встал и пошел в дом, чтобы посмотреть, есть ли в холодильнике какая-нибудь еда, чтобы угостить друга. Да, четыре года, даже, пожалуй, пять, как они не встречались.

Он достал из буфета початую бутылку коньяка, из холодильника венгерскую колбасу и сыр, а хлеба во всем доме не оказалось. «Ладно, — подумал он, — обойдется как-нибудь».

Он любил свой новый дом и новую свою жизнь еще и за то, что в ней было гораздо меньше сурового порядка, чем в той его, старой жизни, где полы были натерты до холодного блеска, все имело свое твердо, раз и навсегда усвоенное место, а сам он существовал в ней, как портрет в тяжелой прямоугольной раме, которому безропотно поклоняются и на который смотрят восторженными, но испуганными глазами. А в новом доме все было живым, непостоянным, все меняло свое место и назначение, и от этого в нем было легко и ненапряжно жить. И еще в нем не было ни одного его портрета, ни одной фотографии, кроме тех, на которых он не позировал, а был застигнут врасплох фронтowymi корреспондентами. А еще в нем была она и их дети, рыжие, в него.

Он увидел в окно, как дочка стащила с себя штаны и трусики и присела у самой воды. «Не застудила бы себе попку или еще чего-нибудь, — обеспокоился он и смущенно улыбнулся про себя, — у них все это так сложно, у женщин...» Но в эту минуту из-за поворота дороги выплыла черная «чайка», развернулась и подъехала задом к калитке, ведущей к дому.

Первым вышел из машины высокий молодой военный, и он узнал в нем своего старшего. Потом, нащупывая толстой ногой с красным лампасом землю, вышел коренастый, поперек себя шире, друг, которого он ждал.

Но он следил глазами не за другом, а за своим сыном. «Не в меня, — неодобительно думал он, — не в меня высокий и темноволосый, а все-таки мое что-то есть...»

Сын и друг о чем-то поговорили, сын приложил руку к козырьку и остался у машины, а друг, тяжело неся на коротких ногах грузное свое тело в мешковатом кителе, пошел к дому.

Маршал хотел выйти к нему навстречу, но не мог оторвать взгляд от сына. Сын заметил девочку у воды и, нерешительно оглянувшись на дом, подошел к ней. Она глядела на него снизу вверх, все еще сидя на корточках, со спущенными штанишками, и он, подойдя к ней, тоже присел перед ней на корточки. Они о чем-то поговорили, потом он порывлся в карманах, достал какие-то бумажки и, выбрав одну из них, неловко согнулся пополам и вытер ей попку. Потом снова присел на корточки, натянул на нее штаны, и, взявшись за руки, они пошли медленно по песку вдоль берега.

А друг тем временем уже поднимался на террасу.

Вскоре после прихода к власти нынешнего Генерального маршалу позвонили с самого в е р х а и предложили вернуться на службу — в Генеральный штаб, в академию, в министерство или на любую почетную должность, которую он сам пожелал бы. Он уклонился от этого разговора, сославшись на врачей. Ему еще несколько раз настойчиво звонили, но он, ничего не объясняя, всякий раз уходил от ответа. И вот теперь они посылают к нему все с тем же его старого друга. «Нет, — еще раз решил он про себя. — Нет».

В его отказе вернуться намешано было многое: и незажившая обида, и гордость, и уязвленное самолюбие человека, для которого долгие годы самолюбие и гордость были самым главным, о чем он заботился и что более всего оберегал в себе и в своих отношениях со всеми другими, и тайное даже от самого себя желание заставить и х просить и льстить ему — это тоже. Но еще было в его отказе и то, что он и сам не мог бы себе объяснить, а уж признаться в этом другим — об этом и речи не могло быть. Да и не поняли бы они его, куда им. Ему нравилось, как он жил теперь, эта жизнь, этот дом, где жена и дети, которых он так поздно родил и потому так сильно и слепо к ним привязан. Он был счастлив. Если это слово, конечно, вообще может что-либо объяснить. Счастлив не тем, как высоко стоит над другими, не тем, что думают о нем и как почитают или боятся его эти другие, и даже не тем, что он по-солдатски честно заслужил этот почет, любовь или страх, а просто и единственно тем, что живо в нем самом, живо в нем независимо от этих других и от всего, что существует вне его самого. Это была не усталость стареющего человека, все испытавшего и всего на своем веку хлебнувшего, не себялюбивое желание покоя и тишины, а странное и никогда в прежней его жизни им не испытываемое ощущение мира с самим собою, равновесия и устойчивости. То, другое — обида, самолюбие, честолюбие, не растраченное еще желание действовать и командовать — тоже, но этим ощущением мира и устойчивости в себе он не хотел и не мог уже поступиться.

Друг, крепко ухватившись за перила, поднимался по деревянной лесенке, и маршал вышел в нему на крыльцо.

— Далековато ты окопался, — сказал друг, покосившись на него снизу вверх. — Всего растрясло, пока ехал.

— Тебя растрясеешь, как же, — пошутил маршал и помог ему одолеть последнюю ступеньку.

Теперь они стояли рядом на крыльце и смотрели друг другу в глаза, как бы заново друг друга узнавая.

— Давно не видались, — сказал друг и протянул ему руку.

Маршал пожал ее и не сразу выпустил из своей.

— Ты — ничего... — сказал друг и, не зная, что еще сказать и как скрыть то, что он рад этой встрече и растроган, огляделся вокруг. — У тебя тут хорошо! Позавидуешь — озеро, песочек, кислород с хвоей пополам...

— Да, — сказал маршал, — ничего. — И тоже поглядел вокруг.

— Внучка? — спросил друг, глядя на удаляющихся вдоль берега его сына и дочь.

— Дочка, — ровно ответил маршал и усмехнулся. — Такие вот дела. Дочка.

Друг засопел и отвел глаза.

— Ну извини... Извини, конечно...

Маршал улыбнулся:

— Ясно.

Друг оглядел его с удивлением, будто не узнавая:

— А ты... уж не знаю, как сказать... Не то чтобы помолодел, куда уж нам... Глаза у тебя поголубели, что ли.

Маршал не расслышал:

— Поглупели?

Друг махнул рукой:

— Совсем глухарь!.. Не те глаза, говорю, ясно? Не те у тебя глаза стали, что прежде. Может, и поглупели, не знаю, тебе видней. В дом не зовешь?

— Конечно, — сказал маршал, глядя опять вслед сыну и дочери.

Они вошли в дом, в кабинет маршала, просторный и мало обжитой, и сели друг против друга за обитый медным листом с чеканкой низенький столик с коньяком и закуской. Маршал было потянулся разлить коньяк в рюмки, но друг остановил его:

— Врачи не велят. Раз и навсегда.

— Скажи, какое совпадение! Хоть вприглядку. — И все-таки наполнил рюмки до краев красноватым коньяком.

— Ты извини, что сыну я приказал пока подождать, — у нас с тобой разговор не публичный, верно? А потом он может остаться у тебя.

— Ладно, — согласился маршал. — Дисциплина.

И помолчали оба.

Они слишком давно и подробно знали друг друга, чтобы эти пять лет, что они не видались, что-нибудь для них значили, но все-таки это были пять лет, а к концу жизни годы, хоть и летят все быстрее, становятся куда длиннее, чем в молодости.

— И курить запретили, сволочи, — сказал друг и опять за-сопел.

— Да, да... — отозвался маршал, а сам подумал: «Что это он о моих глазах сказал?.. — И покосился в зеркало, висевшее напротив. — Глаза как глаза, какие и были, глупости!..»

В зеркале ему было видно и лицо друга. «У него-то глаза прежние — волевой офицер, уже лет десять, как в маршалах, генеральские глаза, долго в такие не насмотришься», — думал он и вспомнил, что у всех, кто начинал вместе с ним службу и дослужился до командных должностей и званий, глаза, рано или поздно, становились такими же — волевыми и тяжелыми. «Что это он плел про мои глаза?! Дурь какая-то!..» — И снова покосился на себя в зеркало.

— Ни пить, ни курить, — вздохнул друг и вытащил из кармана брюк кожаный плоский кисетик, взял из него щепотью табак. — На самообмане только и держусь. — Он поднес к носу табак, потянул его сначала одной ноздрей, потом другой. — Прямо как в старинных романах, — пошутил он невесело и с шумом втянул в себя табак обеими ноздрями.

Потом спросил в упор:

— О чем разговор — догадываешься?

Маршал ушел от прямого ответа:

— С тем только и приехал?

Друг усмехнулся, спрятал кисет в карман.



— Служба. Дружба дружбой, само собой, но и... Ты как живешь-то?

Маршал перевел взгляд с отражения в зеркале на его лицо.

— Живу, сам видишь.

«Не-ет, не те у него глаза, право слово... — думал, глядя на маршала, друг и мучился тем, что не мог взять в толк, что же все-таки изменилось в старом однокашнике. — Шут его знает что... Поголубели, похоже... штатские какие-то стали, не поймешь...»

И оттого, что не мог объяснить себе это, он заерзал в кресле и почувствовал себя беспокойно и неуютно.

— Живу вот, — повторил маршал и вдруг, ни с того ни с сего, неожиданно для самого себя, спросил: — Ты — счастливый?..

Друг только отмахнулся обеими руками.

— Ты что?! Когда мне об этом думать-то!..

В окно кабинета было видно водохранилище и берег, и маршал увидел, как возвращаются, держась за руки, его старший сын и его младшая дочь, которой было меньше лет, чем его внукам от этого сына.

Друг поймал его взгляд и тоже поглядел в окно и вдруг понял, о чем думает маршал и почему задал ему этот странный и малоуместный вопрос.

— Не знаю... — ответил он не маршалу, а самому себе. — Не задумывался. Тоже — живу. Служу. Служба. — И помолчав, добавил: — Сын твой хорошо служит, я им доволен. Толковый офицер, два раза объяснить не надо. Получился у тебя из него человек.

«У меня... — подумал маршал. — А что я ему дал? Что я ему мог дать в его время, когда из него человек-то и прорезался? Я-то тут ни при чем, к сожалению...»

— Я рад, что он у тебя служит, — сказал он и добавил погодя: — У тебя-то из него человек получится, знаю.

«Что он имел в виду, когда спросил насчет счастья?... — все еще недоумевал, морщась от желания чихнуть, а чих все никак не получался, друг. — Философ стал. Вольно ему философствовать — живет не тужит! А что такое — счастливый?!» — И спросил вслух: — А что такое — счастливый?

Маршал не ответил, только пожал плечами.

«Не у дел давно, а — как с гуся вода, — думал о нем друг, и глухое раздражение зло его царапнуло. — Сник, свылся с тем, что не у дел. Отвоевался. Сник, сник!..» Но эта мысль его только разравила еще больше.

К дому подъехала машина, из нее вышли жена маршала с сынишкой и домработница. Домработница вытащила с помощью шофера тяжелые сумки с покупками, понесла их черным ходом на кухню. Шофер вырулил к гаражу.

Мальчик увидел сестру и сводного брата, побежал к ним, а за ним, по-молодому придерживая ладонью волосы от ветра, пошла к берегу и жена.

«Детей у него много, это да. Это можно понять, — думал друг, и уже не раздражение, а что-то вроде незлобивой и печальной

зависти кольнуло его. — Это большое дело, когда много детей. Двое да еще двое — четверо. Это я понимаю, когда дом полон детей, это — да, да... От этого у кого хочешь глаза поголубеют, даже если одной ногой уже там, за переправой... Это он успел, что ни говори. И жена... Я ее хорошо помню... по донесениям, конечно, по его личному делу... И как она его тогда спокойно так, как маленького, надежно взяла за ручку, когда его чуть было под трибунал не подвели... Да, жена — она жена и есть... Хотя я той, первой, как был друг, так и остался, но его понять — могу. Взял — и ушел. И детей еще нарожал». И вздохнув, обернулся к маршалу:

— Ладно, что-то тянем мы с этим разговором...

Но тот встал с кресла.

— Ты извини, я сейчас. Она тебе обрадуется. — И быстро пошел через террасу и лужайкой к берегу.

Друг глядел в окно, как он быстро шел к ним в старых вельветовых штанах и вязаной куртке, и почувствовал что-то похожее на жалость к самому себе.

Маршал подошел к жене и детям, и по тому, как обернулась к нему жена, не отнимая рук от разлетевшихся на ветру волос и улыбаясь, а он еще издали что-то весело кричал ей, друг понял, что они друг для друга значат. Потом маршал подошел к старшему сыну, они обнялись, и отец оставил руку на его плече, а детишки облепили с двух сторон его вельветовые штаны и что-то говорили ему взахлеб.

Друг глядел на них в окно и думал не о них, а о себе самом и о том, когда он сам уйдет в отставку, а ждать этого уже недолго, будет ли у него то, что вот есть у маршала, старого его друга?.. Не у дел — это-то будет, этого никому не миновать, а вот того, что лишь к немногим приходит на смену службе и делу, что остается при них до конца и что никто у них отнять не в силах, — у него у самого-то будет? Это?..

И еще он думал о смерти. Не о своей, а — вообще.

Он вдруг вспомнил, как несколько месяцев назад, месяца четыре, не больше, он хоронил тоже старого друга и однокашника, тоже маршала, тоже героя войны и любимца армии и народа.

Несмотря на непогоду, у Дома Советской Армии, кольцом огибая площадь Коммуны и уходя вниз вдоль бульвара, терпеливо стояла многотысячная молчаливая очередь, словно живой венок с траурно-черными цветками зонтов. Доступ внутрь еще продолжался, его должны были прекратить лишь к одиннадцати, когда проститься с покойным — проститься или простить ему напоследок страх и зависть, которые он, живой, внушал им на протяжении двадцати лет? — приедут члены Политбюро.

В комнате, рядом с большим залом, где было выставлено для прощания с народом — с народом, который ни разу, начиная с сорок пятого года, не видел своего героя не то что вживе, но даже на фотографиях в газете, — тело усопшего, гуляли промозглые сквозняки. Впрочем, ночью, втайне от близких и семьи и вопреки обещанию похоронить его не в Кремлевской стене, а за Мавзолеем, рядом

со Сталиным, Орджоникидзе, Калининным и другими, тяжелое, большое его тело в погонах, лампасах и орденских планках во всю грудь кремировали, и от него осталась горстка еще, может быть, хранящего жар печи крематория пепла в мраморной урне на высоком постаменте.

Через эту комнату поминутно вносили в зал венки с черно-красными, в золотых надписях лентами, пол был усыпан скрипящими под ногами еловыми иглами, осыпавшимися с венков, по ним было скользко ступать, и стоял праздничный, новогодний запах свежей хвои.

По залу тоже ходили сырые сквозняки, горьковато, но почему-то вовсе не празднично пахло той же хвоей, а также мокрым сукном шинелей и пальто. Сдержанно шаркали по полу подошвы безвестных соратников покойного по войне, безымянных его солдат, свято в него веривших и по одному его слову шедших под пули и мины, его именем подхлестывавших себя, преодолевавших свой ужас перед смертью. Очередь безмолвно ползла, огибая постамент с урной, ею тоже молча, одними жестами, руководили военные с черно-красными повязками на рукавах, поторапливая замешкавшихся, выравнивая строй, и невидимые оркестр и хор попеременно вступали торжественно-печальными вздохами траурной музыки, тяжело гремела мощь духовых, словно воздвигая сверкающий медный мост из жизни в смерть, в небытие.

И все это — монументальный, словно цветочная пирамида, постамент, увенчанный мраморной урной с остывающим прахом, и затянутые черной паутиной крепа люстры и зеркала, и деловитая, бесшумная суетливость распорядителей похорон, и молчаливая, скрипящая хвойными иглами под ногами очередь, и важная медная скорбь оркестра — все было так упорядочено, так наперед отрепетировано, что казалось величавой и пышной декорацией, в которой нет места простой человеческой печали и горечи последнего прощания с тем, что было еще недавно жизнью, а теперь стало смертью, стало н и ч е м, где — ни званий, ни заслуг, ни почестей, ни страха.

Доступ к телу прекратили, закрыли двери на улицу, в зале остались лишь родственники да сменяющиеся в почетном карауле маршалы и генералы. Умолкли оркестр и хор, резче стал запах хвои. И вдруг по пустому гулкому залу прошелся — как недавние сквозняки — нет, не шепот, не слово, а нечто, не нуждающееся даже в том, чтобы быть услышанным:

— Приехали...

И родственники, близкие и высшие военачальники, словно все тот же сквозняк поднял их с мест и властно направил к единой цели, поспешили торопливой гурьбой в комнату рядом с залом, молчательно сгрудились вдоль стен. Слышно было, как сопит кто-то простуженным носом, как другой с трудом сдерживает кашель, чье-то старческое, стесненное волнением дыхание, от множества набившегося народу быстро запотевали стекла окон.

Сперва вошли в открытую нараспашку дверь двое рослых, молодых, похожих не то на спортсменов, не то на периферийных комсо-

мольских вожаков, бегло ощупали глазами комнату. Родственники и генералы поджались, еще плотнее вдавились в стены. Потом вошли еще двое, встали по обе стороны двери, и лишь за ними вошли о н и. Вернее, вошел лишь о н, и одного его ради были и эти дюжие телохранители, и вмиг ставшая пустой середина комнаты, и вжавшиеся в стены близкие усопшего. Он был не просто главный среди тех, кто вошел следом за ним, а — единственный. Все остальные: и этот — с младенчески-розовой лысинкой, в золотых очках, и этот — хмурый, весь в морщинах и подглазных мешочках, ни на кого не глядящий и как бы вовсе отсутствующий, и тот — длинный, худой, с желтым, изможденным монашьям лицом, — все они были не более как сопровождающие его лица. Впрочем, и не менее.

С а м же был высок, дороден и держался не по годам молодцевато, чуть напыщенно, но вместе и деловито-дружелюбно. Седеющие, зачесанные назад густые волосы и кустистые брови оттеняли загорелость — он недавно вернулся из Крыма — его тяжеловатого лица, из-под нависающих надбровных дуг глаза глядели молодо и даже как бы весело, на груди поблескивали золотом справа — лауреатские значки, слева — звезды Героя. Он быстро прошел на середину комнаты и, поискав глазами вдову и не найдя ее или же не будучи уверен, что она здесь, низко, по-русски, чуть театрально поклонился неведомо кому. Остальные остановились за его спиной, сгрудившись в дверях.

Главный распорядитель похорон — генерал с испуганным, торопливым лицом — стоял наготове с траурными повязками, тесемки свисали, словно корни выдернутого из черной земли растения.

С а м окинул комнату долгим соболеющим взглядом, и, хотя он и был, надо думать, искренне настроен на скорбь и сочувствие, со стороны казалось, что в нем не менее, чем искренности и сочувствия, — любования своей скорбной и вместе величавой искренностью, он как бы глядел на себя в зеркало и был собою доволен.

Окинув всех этим величаво-сочувственным взором, он протянул, не глядя, левую руку генералу-распорядителю, тот почтительно и поспешно стал натягивать на нее траурную повязку, никак не мог овладеть с тесемками.

— Как много народу на улице, товарищи, — сказал с а м густым, хрипловатым басом. Слово «товарищи» далось ему с трудом, он выговорил его, словно прожевывая. — Это знаменательно.

— Много, — хмуро подтвердило третье лицо в государстве, глядя в пол. И добавило еще более хмуро и, казалось, крайне неодобрительно: — Очень много.

— Очень много, очень, очень! — подтвердило второе — иерархически — в державе лицо, и опять было непонятно, то ли одобряет оно этот факт, то ли, напротив, порицает.

Желтолицый же, изможденный, который был не вторым и не третьим лицом, но, может быть, был при первом важнее и ближе и второго, и третьего, лишь многозначительно покивал.

— Это знаменательно, — повторил с а м. — Что ж, товарищи... — И стал подходить поочередно ко всем родственникам, близ-

ким и сослуживцам покойного, пожимая им руку, некоторым — обеими своими ладонями, а иных обнимая за плечи и касаясь щекою щеки. Женщин же, особенно молодых, успевал окинуть беглым, но внимательным взглядом и задерживал в своих объятиях чуть дольше, чем других.

Вслед за ним потянулись и остальные.

Распорядитель надел на всех повязки, и когда с рукопожатиями было покончено, с а м сказал негромким и внушительным голосом:

— Что ж, начнем, товарищи, как говорится...

Родственники ждали, чтобы члены Политбюро первыми прошли в зал, но распорядитель быстро и внятно прошептал:

— Сперва близкие, сперва близкие!..

Близкие испуганно потянулись гуськом к двери.

У Кремлевской же стены, в которую навечно заточили урну с прахом, церемония похорон продолжалась недолго, пошел мокрый снег с дождем пополам, толпа провожавших покойного быстро разошлась.

«И — все?! — недоуменно думал тогда друг, возвращаясь пешком Александровским садом домой, на Сивцев Вражек. — Все?.. И жизнь, и война, и слава, и страх, и народная любовь?!..»

Вот что вспомнилось ему, пока он ждал маршала, который все еще стоял на берегу с детьми и женой.

«Все, — подтвердил он про себя, хоть и сам не мог бы сказать, что именно имеет в виду. — Все». И, не дожидаясь маршала, вышел на террасу, спустился, опасливо нащупывая ногою ступени, вниз.

— Мне пора, — сказал он, когда маршал подошел к нему. И, что-бы тот не стал его зря отговаривать, повторил решительно: — Пора, дела. Ты извини.

— Ты что?! — удивился маршал. — Куда тебе?..

— Нет, — сказал друг. — Пора.

— А — разговор? — спросил маршал и повернулся к жене и детям: — Вы идите, мы сейчас.

Жена и младшие ушли в дом, а старший сын отошел к машине своего начальника.

— Разговор?.. А-а!.. — солгал друг и поморщился от неловкости. — Другим разом. — И протянул ему руку. — Не удерживай, некогда. Я к тебе еще приеду. — И усмехнулся. — Как на пенсию выйду. Бывай. Будь здоров.

Он быстро пошел к машине и, садясь в нее и втягивая с трудом внутрь неловкие ноги в красных лампасах, бросил через плечо его старшему сыну:

— Можешь быть свободным на двое суток. Побудь с ним. Это тоже надо — с отцом побыть. — И — шоферу: — Не жалея газу.

Он так и не оглянулся на дом и на своего старого друга, с которым прошел три большие войны и еще несколько малых, которого не видел пять лет, а поговорить поговорил каких-нибудь полчаса, так и не выполнив возложенного на него важного поручения. А это с ним было впервые за долгую его жизнь, за долгую и верную службу.

«Ничего, — отмахнулся он от этой последней мысли, — отбре-  
шусь. Ничего». И еще ему пришло в голову, что — под семьдесят,  
пора бы вспомнить и о главном.

Маршал долго глядел вслед машине, потом к нему подошел  
старший сын, и когда они повернулись, чтобы войти в дом, солнце  
уже скрылось, небо было совсем безоблачное, пустынное, и на нем  
в самой середке, еще совершенно светлой, пробила первая звезда —  
крохотная, белая, немигающая.

1965 год

## Тамара ЖИРМУНСКАЯ

---

### Мне не за что больше держаться

П. С.

Мне не за что больше держаться,  
земля уплыла из-под ног.  
Ты мог моей смерти дожидаться,  
но жить ожиданием не смог.

И вот в голубой круговерти  
твой лайнер вершит виражи,  
и, как репетиция смерти,  
взлет плотью одетой души.

Навек разлученные силой...  
Ведь там, в измеренье другом,  
не скажешь «до скорого, милый!»,  
мы вечность с тобой обречем.

Вон гусеница электрички,  
вон дом, обреченный на слом,  
вон кладбище. Только таблички  
моей еще нету на нем.

1981

### Блаженный Августин\*

В мирские страсти погружен,  
захвачен суетным круженьем,  
ни величавым не был он,  
ни уж тем более блаженным.

---

\* Август — величественный, величавый (лат.).

Его бесчувствие зашло  
за край, и мать Августина  
свое печальное чело  
к епископу оборотила:  
— Доколе же, святой отец,  
ему бесчинствовать, доколе?  
Он много сокрушил сердец,  
но сердце матери — всех боле.  
В удуше дымного столба  
безверья гаснут искры веры.  
Пока душа его слепа,  
она гоняет в поле ветры.  
— Молись! — мудрец сказал. — Тебе  
с надеждой надо причаститься.  
Сын сам прозреет и в себе  
возненавидит нечестивца.  
Но обрыдавшая мать —  
ей вдруг открылась ада бездна —  
владыку стала умолять  
поставить грешника на место.  
Тогда епископ произнес:  
— Ступай же! Быть того не может,  
что чадо столь горячих слез  
Господней славы не умножит. —  
Жизнь — миг. Продлим же этот миг —  
мне больше ничего не надо.  
Прозреешь... Тайных слез моих  
неуправляемое чадо.

\* \* \*

Сынок заезжен и замотан,  
уклончив друг.  
Схватила чудом «Бурда моден»  
из третьих рук.

И счастлива. Как в том апреле,  
как жизнь назад.  
Красавица! Вы присмотрели  
себе наряд?

«Дерзайте», — призывает немка,  
магистр иглы.  
Блестит неюная коленка  
из-под полы.

Толкучка. Климакс. Перестройка.  
Житье-вытье.  
Но успокаивает кройка,  
бодрит шитье.

**В этом яростном  
и раздерганном мире**

Нищий просит икорки,  
Минус таранит плюс...  
— Ущипни меня! — сказала корпия. —  
Ага, понятно, не сплю.  
Будем смотреть спокойненько.  
Воскрешают телегу. Ага!  
А тут убивают покойника,  
Помолившись на лик батога.  
А у этих девиц усатых  
Лифчики из ряда.  
А эти друг друга кусают,  
Потому что они — родня.  
А эта корова в джинсах  
Перешла на арендный подряд.  
А это прием джиу-джитсу,  
А это семейный зад.  
В нем светится гордость нации.  
А вот «Березка» для брюк.  
А это склад профанаций,  
А также умелых рук.  
А это «долой» закричало  
Из позитивных идей.  
А вот на колу мочало.  
И все это вместе — начало  
Жизни свободных людей.  
Кто хочет, просит икорки.  
Кто хочет, вертит вола.  
А кто хочет, щиплет корпию,  
Заряжает ружье со ствола.  
Оно чуть не в дырах — ржавое.  
Но грохнет и — наповал.  
Весна,  
Весна над державою!  
Ты ждал ее?  
— Больше! Я звал!  
Она — предмет моей жажды,  
В ней нам себя вершить.  
— Но сдохнем же!  
— И не однажды.  
Но все же научимся жить!



Ох, как свежую могилу  
 Да насыпят косо-криво,  
 То ли конь я, то ли осень,  
 То ли комья, то ли грива?..  
 Лег — лежи. Какое дело,  
 Что там сверху? Прах не мыслит.  
 Жизнь черна,  
 А осень в белом:  
 Кони, кони, как в кумысе.

Ох, как свежую могилу  
 Да покину, да оставлю!..  
 То ли ходит кто по свету,  
 То ли ночь качнула ставню,  
 То ли горе заскрипело,  
 От меня отдельно стоя.

Ох, как свежую могилу!..  
 Боже правый, где я, кто я?..

## Бежит дорога к лету

Бежит дорога к лету,  
 Пустует клин утрат...  
 Весь хлеб ушел в котлету.  
 Как жить, чем сеять, брат?  
 Плотина на плотине —  
 Полтинники побед.  
 Все брали — не платили,  
 С того и жизни нет.  
 Толкали в глотку трубы.  
 Хрипит река, орет...  
 Но если выбить зубы,  
 То снова шаг вперед.  
 О, Человек-Отвага!  
 Подумаешь — и рад...  
 Нет Бога, есть бумага.  
 Подай на бедность, брат.  
 Идем в победных формах  
 За нищенской сумой...  
 Победа суть не кормит —  
 Пойдем, судьба, домой.  
 Пойдем в тоску-берлогу,  
 Где чахлая, но высь.

Но бьет об страх дорогу:  
 — Стопчу-у-у! Поберегись!  
 И снова трубы, трубы...

Уж сам ты — часть трубы...  
— Кто крайний, эй вы, трупы?  
И что дают?  
— Гробы.

Бежит дорога к лету,  
Пустует клин утрат.  
Мы все ушли в котлету  
И канули, как в Лету,  
В парашу иль в парад.  
Подай на бедность, осень,  
Приставь стволы ко лбу!  
О боги, что за очередь?  
И что дают?

— Судьбу!  
Мир пуст, а поле немо.  
Хоть в этот крайний час  
Подай на бедность, небо,  
Врежь светом промеж глаз.  
Мы все ушли в котлету!..  
— Э-эй! Есть хоть где-то жизнь?

Скала.

Несемся.

— Нету!

и страх, и память:

— Нету!

И только боль:

— Держись!

---

## Шампанское с желчью

Рассказ

---

Ибо вижу я тебя исполненного горькой  
желчи и в узах неправды.

*Деяния апостолов*

### I

«Лето катится неудержимо, — думал театральный режиссер Ю., убирая после ухода гостей со стола на кухне пустую посуду и остатки еды, — невозвратно, необратимо, еще черт знает как», — думал Ю., гремя пустыми бутылками. Было две бутылки из-под крымского шампанского, бутылка из-под «Зубровки» и бутылка из-под «Саперави». «Некому бутылки убрать, живу один, — думал Ю., — три жены укатили невозвратно, неудержимо... Если б наподобие чеховской драмы «Три сестры» кто-либо написал бы «Три жены» — хороший получился бы спектакль».

От второй у Ю. рос любимый сын, мальчик восьми лет, третья ушла к молодому актеру. Он, Ю., ночью храпит, чешется, сморкается, а у молодого актера маленький, костлявый задок туго обтянут джинсами.

Ю. прошел темными комнатами. Три комнаты в центре Москвы, в старом барском доме — награда от Покровителя. Ранее квартира принадлежала известной театральной фамилии, вымершей без наследников и оставившей после себя хаос и запустение, как в усадьбах спившихся русских бар. Разбитый паркет, странные, пахнущие мочой пятна на стенах, кладовая, туго забитая пустыми бутылками из-под водки. (Только водка и никаких других.) Пришлось делать капитальный ремонт, начатый еще с третьей женой, собственно, ею и начатый, но оконченный уже без нее.

Ю. открыл балконную дверь. Балкон вкосу летел над ночной Москвой. «Ночь, улица, фонарь, аптека, — думал Ю., — упал, и нету человека». От выпитого с гостями алкогольного разнообразия, от съеденных рыбных консервов и жирной колбасы, от ночной августовской сырости лихорадило, было тревожно, и опять чувствовалась, как уже неоднократно, какая-то близкая опасность, где-то, за чем-то или за кем-то скрывающаяся. Вот-вот должно было произойти нечто непоправимое. Но время шло, и непоправимое не происходило.

По своему происхождению Ю. был из бывшей черты оседлости, и эти места своего детства и юности он любил, хоть и не афишировал, карьеру же свою делал в самой гуще русского, национального

искусства, сочетая хороший, мужской профессионализм с мягкой женственностью в обхождении с покровителями и врагами. Это умение Ю. вовремя сдаться, отдаться врагу своему с обаянием в духе истинно еврейского раннего христианства не раз спасало и позволяло добиваться удачи там, где, казалось, неизбежны были беды.

Так подружился Ю. с Кашлевым, сотрудником КГБ. Встречался Ю. с Кашлевым в одной из московских гостиниц, точнее, Кашлев встретился с Ю. В гостинице этой остановилась прибалтийская актриса, первая взрослая любовь Ю., начавшего карьеру в прибалтийском театре. Удивительное было время. Сколько горячих страстей, волнений, ночных прогулок по сухой, золотистой прибалтийской листве. И вот опять звонок, опять — привет из Прибалтики. Ю. тогда тоже был один, находился в промежутке между второй и третьей женами, жил далеко на окраине Москвы, снимал комнату в Нагатино. В номере у актрисы он засиделся, точнее, залежался допоздна. Вышел из номера глубокой ночью. Не успел спуститься на лифте, как дежурная по этажу позвонила и у выхода из лифта его уже ждали. Человек, ожидавший Ю., молча взял его об руку, крепко, точно клещами, и молча повел через вестибюль, так же крепко держа об руку. Но поскольку Ю. сразу же сдался, нажатие это несколько ослабело, и в дежурную комнату Ю. вошел уже добровольно, без внешнего принуждения. Так же, без принуждения, Ю. сам предъявил документы и на вопросы Кашлева отвечал дружелюбно. Лицо у Кашлева было русско-монгольское, кожа желтоватая, глаз косою, волосы гладко зачесывал назад и, несмотря на сухое сложение, часто потел, вытирая платком шею и затылок.

Когда Ю. получил новую квартиру и развелся с третьей женой, Кашлев вдруг как-то позвонил ему. Начал захаживать на «кухоньку», кстати, довольно обширную. Пил вначале умеренно и разговоры вел тихие, аполитичные, про то, как солонину из мясной дичи готовят в бочках в Сибири, или нечто подобное. Потом пить стал крепче. Однажды рассказал:

— В пятьдесят четвертом году многих работников органов уволили. Одних устроили на другую работу, а других и устраивать не стали — езжайте на периферию. Много было самоубийств. Друг мой, вместе в кабинете сидели, повесился в туалете. Я открыл дверь — он висит. Я перочинным ножиком веревку обрезал, он упал, я на него, как бы в обнимку, не удержался на ногах. Слышу, он как бы произнес «ох» или «ах» — шумно. Это в нем воздух застрял, а я думал — жив. Кинулся за врачом. Врач приехал, доказал, что друг мой еще в два часа ночи умер. А жена его потом на форточке повесилась.

От водки Кашлев пьянел умеренно, но как-то выпил бутылку дорогого французского шампанского и вдруг опьянел сильно. А опьянев, обозлился.

— Вы, — говорит он Ю., — нашего русского царя убили... Вы, международная жидня.

Ю. притих, съежился от таких неожиданных для чекиста слов.

С самого взбаламученного национального дна, видно, подняло эти слова французское шампанское. Сидел тогда Ю. в собственной «кухоньке», как на допросе то ли в ЧК, то ли в деникинской контрразведке. «Сейчас, — подумал в хмельном страхе Ю., — сомнет чекист, повалит на паркет и начнет хлебным ножом на коже красные звезды вырезать». Однако никаких дополнительных контрреволюционных слов Кашлев не произнес, ничем более он Ю. не угрожал. Оскотинился лишь сильнее обычного, ел сардины из баночки руками, а когда уходил, то поцеловал Ю. в подбородок мимо губ и ущипнул пальцами за зад. После его ухода у Ю. долго лицо горело огнем, как у девицы, которую барин обесчестил и которая только этим молчаливым стыдом своим в темноте где-либо, в закоулке, и может протестовать. До утра Ю. провел в глухой тоске, в отчаянии. Конечно, Ю. — известный столичный режиссер, у него высокий Покровитель, но Ю. знал, что есть некие зоологические проблемы, которые и сам Покровитель старался обходить. Покровитель, при всех своих должностях и званиях, ведь тоже приемш у этой власти, кровь его тоже не мазутом пахнет. А самое опасное в национальной зоологии — это обида законных единокровных детей на свою родную мать.

Например, сидит на служебном входе вахтерша. Вахтерша вахтершей, а на праздник Победы две медали надевает: «За победу над Германией» и «За оборону Москвы». Ночью на крышах дежурила в сорок первом, зажигательные бомбы гасила песком, на руках ожоги имеются. Кстати, желтизной кожи Кашлева напоминает, но постарше. Если не в матери, то в старшие сестры Кашлеву годится. Ю. с ней отношения старался сохранять хорошие: и улыбнется, и здоровья пожелает. И она в ответ — того же и вам. Но вдруг окликнет:

— Вам сегодня с утра пьесу приносили.

— Кто?

— Не упомню. Записала где-то на газетке, да найти не могу.

— Где же пьеса?

— Пьесу я не приняла. Мало ли пьес пишут, все принимать, что ли? Пришел не ласковый. Я тут тридцать лет сижу, а его первый раз вижу.

— Да кто ж приходил, Павлина Егоровна?

— Фамилия странная... Болезненная... Вроде бы простудная... Вот нашла на газетке. — Надевает круглые очки и читает как бы по складам: — Першингорл.

— Гершингорн, — хватается за голову Ю. «Гершингорна обидели, — с досадой думает Ю., — еле уговорил его принести, еле согласился. Поди теперь договорись с капризным талантом, поди уговори обиженное тщеславие. Зачем, зачем я попросил второпях принести пьесу в театр, а не ко мне домой? Гершингорн — нет, конечно, псевдоним необходим, но это уже второй этап. Главное, чтоб пьесу прочел Покровитель».

Пьесу Гершингорна читали у Ю. все на той же «кухоньке». Было время, интеллигенция собиралась в салонах под зеленой лампой, а на «кухоньках» лакеи шупали кухарок. Есть какой-то особый

оскорбительный смысл в этом добровольном самовыселении нынешнего интеллигента-мещанина из собственных комнат на собственную кухню. Как дворянская эмиграция вспоминала с умилением брошенные барские усадьбы или брошенные хутора, так нынешние уехавшие в эмиграцию вспоминают брошенные московские и ленинградские «кухоньки». Сколько слабого, праздного, ненужного было в этом кухонном времяпрепровождении, а все же случались и на «кухоньках» трогательные, искренние моменты.

Когда Гершингорн окончил чтение пьесы, все сидели молча. Окна были распахнуты в теплый лунный вечер, и на кухне приятно пахло легким белым вином.

— Так он же Гоголь! — вдруг восторженно, романтично воскликнула пожилая дама.

— Нет, Чехов, — спокойно, бытово возразил ей молодой человек.

Приятно ласкать непризнанного гения. Как часто, пишет Шекспир, желая подчеркнуть торжество момента, «все уходит при звуках труб». Уходят, чтоб заняться текущими, живыми проблемами, а гений остается в своей неживой, разреженной, горной атмосфере, где дыхание затруднено, а состояние неестественно и напоминает длительную, непрерывную агонию со всеми признаками отсутствия бытового сознания и присутствия сознания потустороннего. Поэтому нужда в гениях гораздо меньшая, чем это кажется на первый взгляд. Особенно в непризнанных. Если уж ты гений, так сиди где-либо на недоступной высоте в альпийском замке своем или среднерусской усадьбе. А на этих непризнанных и доступных смотри со страхом и раскаянием, переходящим, как естественная реакция самозащиты, в дерзость и насмешку. «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Преступник и гений, каждый со своего конца, лишают и покоя, и воли. Причем в наше-то беспощадное время, когда российскому интеллигенту хочется демократии хотя бы на собственной кухне. Тишины хочется, тишины, какая стоит где-либо на далеком болотистом пруду. Простоты хочется, чтоб все просто было, как утиное побрякиванье или свиное похрюкиванье.

Вот приезжает к Ю. Юра Борщенко — сокурсник по институту, провинциальный режиссер. В столице люди стареют быстрее, чем в провинции, может, потому, что в провинции все менее всерьез. В столице взрослые страсти, в провинции детские подражания.

— Ставил я пьесу на революционную тему, — говорит Юра, аппетитно жуя им же привезенную в подарок черкасскую колбасу, — обращаюсь в управление культуры, прошу тридцать винтовок. Бухгалтер управления пишет резолюцию: хрена — десять. Так и пишет: хрена. Прошу пять пулеметов. Пишет: хрена — один. Прошу двадцать сабель. Хрена — десятый.

Ю. весело, вольно смеется, как не смеялся уже давно. Реденькие, седеющие волосы у Юры зачесаны через загорелую лысину, но глаза на одутловатом лице выпуклые, туманно-голубые, как у невинных младенцев. Когда Ю. засмеялся, засмеялся и Юра, но тут же закашлялся и кашлял долго, надсадно.

— Курить надо бросать, — говорит Юра, вытирая платком гла-

за, — да разве бросишь при такой жизни... На спектакле что получилось? За кулисами сутолока. Белые не успевают передавать оружие красным, красные — белым. В результате, когда те и другие одновременно вышли на сцену для рукопашной схватки, красные оказались безоружными, а белые с оружием. Мизансцена построена правильно: красный лежит на белом. Но красный без оружия, а белый с оружием. Вызывают меня в управление: «Ты, мать твою, что делаешь? Ты как революцию показываешь?» Я сразу бумагу с резолюцией: «Хрена!» Это спасло. А недавно попросил сто яиц для горизонта, сценической перспективы. У нас на дереве горизонт делают: яйца, спирт, мыло, скипидар. Так спирт выпили, яйцами закусили, горизонт только из скипидара и мыла сделали. Он и облупился.

Юра уже давно уехал к себе назад в провинцию, к своим веселым бедам, а Ю. нет-нет да и вспомнит этот облупившийся горизонт из скипидара и мыла.

Вспомнил Ю. его и на заграничных гастролях в Западной Германии, куда театр отправился в июне. Везли несколько спектаклей, в том числе и его, Ю., спектакль-премьеру по Шиллеру. Ю. уже бывал за границей — в Югославии и Греции, но Германия произвела на него шоковое впечатление. Тем более что видел он, как всякий турист или гастролер, лишь фасад, и фасад этот действительно был парадеен для российского человека. Улицы чистые, зеленые, аккуратно мощенные, без ям и колдобин. Люди на улицах друг на друга не огрызаются, не подгоняют, не толкают. Кругом такое обилие, что жалко продавцов. Ю. в свободное время ходил бы только и покупал в угоду вежливым продавцам, но расплачиваться было нечем, немецких марок выдали мало, и Ю. берег их, в рестораны не ходил, питался на каждодневных приемах салатом, бутербродами и соками или легким кислым вином, рассчитывая купить себе приличные джинсы и что-либо сыну своему от второй жены. Германия вообще производит на российского человека впечатление большее, чем, например, Греция или даже Франция. Там совсем все чужое, а в Германии что-то родственное, что-то российское, но лучше, богаче, и есть надежда, что когда-нибудь и мы будем такими и у нас будет так. Особенно нравились Ю. немецкие вечера, когда люди в вольных, спокойных позах сидели за столиками на тротуарах под открытым звездным небом, чувствуя себя так же надежно, как дома, и давая тем понять, что весь город с его витринами, вывесками, автомобилями — это и есть их дом и здесь на улицах господствуют они, тихие мирные граждане, а не как в Союзе — хулиганы и милиционеры, перед которыми мирные советские граждане одинаково беззащитны.

Спектакль Ю. по Шиллеру немцам нравился, и на дискуссиях Ю., не нарушая долга советского гражданина, говорил только то, что немцам нравилось, вызывая аплодисменты. О спектакле написало несколько известных немецких газет, и в Дюссельдорфе к Ю. в гостиницу пришла немецкая журналистка брать интервью. Журналистка была женщина лет под тридцать, темноволосая, с длинными темными ресницами. Она была на голову выше Ю., который, впрочем, был ниже

среднего роста. Звали журналистку Барбара. Джинсовая, светло-синяя, почти голубая куртка, белая спортивная рубашка свободно расстегнута, так, что мелькала сочная большая грудь, джинсы туго обтягивали окорока. Барбара прилично говорила по-русски, а недостающее Ю. заменял плохим немецким, который специально изучал, готовясь к Шиллеру. Впрочем, возможно, это был отчасти и идиш, который Ю. знал со времен своей жизни в бывшей черте оседлости. Они с Барбарой проговорили больше трех часов, и чем больше Ю. говорил, тем меньше чувствовал стеснение. В интервью Барбаре Ю. сказал, что хочет продолжить работу над шиллеровской драматургией, поставить неоконченную драму Шиллера «Димитрий» на тему русского Смутного времени. Это было смело для западного интервью, поскольку Ю. знал, что к его идее в инстанциях относятся неодобрительно. Русское Смутное время полно исторических параллелей, тем более если о русской Смуте пишет немец, а режиссировать хочет еврей. Но Ю. все же надеялся, как всегда, на Покровителя, который был не только директором театра, но и знаменитым актером, романтиком-резонером и которого Ю. надеялся соблазнить в который раз шиллеровской «Бурей и натиском». Заговорили о Шиллере, о бунтарстве в его драмах и вере в идеалы гражданской свободы, о его отношении к французской революции и якобинской диктатуре. Потом о женщинах, игравших и в жизни Шиллера, и в его драматургии роковую роль. Барбара рассказала, что студенткой писала работу о Шарлотте фон Кальб, приятельнице и любовнице Шиллера, в доме которой одно время служил гувернером поэт Гельдерлин. Ю. уже сидел рядом с Барбарой на гостиничном диванчике, как бы невзначай касаясь ее то коленкой, то рукой, вдыхая сладкий запах ее духов, которые надолго, может, навсегда будут ассоциироваться для него с запахом свободы. Кружилась голова, сохло в горле.

— Пойдем в кафе, — угадала его состояние Барбара, — пить хочется. И есть тоже.

Они встали и вышли из номера. «Хорошо, — думал Ю., — иду с женщиной по гостиничному коридору, и никто не смотрит мне вслед. Это и есть свобода, которая пахнет духами Барбары. О запахе свободы и должен быть мой спектакль», — думал Ю., пока он и Барбара ехали в лифте в свободном демократическом обществе японцев и каких-то англоязычных людей.

Но едва Ю. вышел из лифта, как его крепко, точно клещами, взяли об руку. Это был Кашлев. Ю. был ошеломлен лишь первое мгновение. Подсознательно он всегда чувствовал, что его могут взять об руку в Дюссельдорфе точно так же, как в Москве. Вдруг вспомнился театральный задник, о котором рассказывал Юра Борщенко, горизонт-дерюга, пропитанный скипидаром и баннным мылом, на которой намалевано восходящее солнце родной отчизны. Этот дерюжный горизонт всегда с нами, куда бы мы ни ехали и какие бы свободные сны нам ни снились, потому что наша свобода пахнет скипидаром и баннным мылом. Но Кашлев, опять Кашлев... Совпадение. Кто не верит в совпадения, можно отослать в крымский,



ялтинский газетный архив, пусть полистает «Ялтинскую правду» за июль семьдесят первого года. На последней странице одного из номеров помещено траурное объявление: «Выражаем соболезнование сотруднику ялтинского КГБ Льву Николаевичу Толстому в связи со смертью его жены Софьи Андреевны».

Ю. собственноручно вырезал это объявление и некоторое время веселил им на «кухоньке» друзей. Совпадения в этой жизни не так уж редки, однако во всяких совпадениях всегда второстепенные детали все-таки разнятся. Так, ялтинский Лев Николаевич отличался от яснополянского Льва Николаевича тем, что не Софья Андреевна его похоронила, а, наоборот, он Софью Андреевну. Второстепенными деталями отличался и дюссельдорфский Кашлев от московского Кашлева. В отличие от подобного же задержания в московской гостинице, когда на лице Кашлева была суровая месть пролетариата буржуазно-мещанским радостям, недоступным ему, теперь Кашлев улыбался улыбкой Молотова на Потсдамской конференции. Одет теперь Кашлев был в недорогой, но приличный костюм серого цвета. Светло-голубая рубашка повязана зеленым галстуком. Из верхнего карманчика пиджака торчит кончик зеленой, под цвет галстука, расчески. Кашлев лишь первые мгновения железной хваткой держал Ю. об руку, затем отпустил и железной хваткой пожал руку.

— Не ожидали? Я слышу, дойче с недойчами разговаривают, дума, посмотрю соотечественника.

Кашлев уже несколько месяцев не звонил и не появлялся на «кухоньке», куда любил наведаться, выпить и закусить. Но это еще черт с ним. Главное, чего боялся Ю., — это чтоб кто-либо из приятелей не застал Кашлева. Поэтому Ю. придумывал разные причины, просил всех предварительно звонить.

— Вы здесь, как я понимаю, первые дни, — сказал Кашлев, — а я уж три месяца. Работаю в Союзвнешстрансе. Я ведь в юности ПТУ кончал, работал слесарем на Красноярском машиностроительном заводе имени Ленина.

Они втроем вышли из гостиницы. Был уютный теплый немецкий вечер. Пахло липами. Повсюду в ресторанах и кафе, за столиками, прямо под открытым небом, в свободных, спокойных позах сидели люди, говорили меж собой, смеялись, ели и пили. У ярко освещенных витрин стояли проститутки с голыми загорелыми ляжками или в туго обтягивающих ляжки блестящих брюках.

— Извините, и курвы здесь не то, что у нас, — сказал Кашлев.

О семейной жизни Кашлева Ю. ничего не знал, не знал, женат ли он. Но по какому-то особому блеску глаз Ю. догадывался, что Кашлев испытывает сексуальный голод. Однажды Кашлев заговорил с Ю. о какой-то актрисе «из балетного театра». Спросил, знает ли ее. И в разговоре этом чувствовалась завистливая обида на недоступную женщину. «Пока они там в балете подышающего лебедя танцуют, ты тут вертись, хоть сам подыхай». Сейчас, идя по уютной, демократически обжитой людьми улице, среди сладкого запаха лип, Кашлев, видно, тоже, хоть и по-своему, вдыхал воздух

свободы, свободы от поводка, когда хочется просто так побегать без цели или упасть на спину, задирая лапы, кувыркаться, распрямляя затекшие от служебного порядка мышцы.

— А немочка ничего, — шепнул Кашлев Ю., прижав свои губы вплотную к уху. От него пахло по-прежнему хамски, но уж на немецкий манер: пивом и чем-то свиным и капустным. — Немочка ничего. Лицо у нее желто-медовое и тает, как пончик.

«Быстро же они здесь разлагаются, — подумал Ю., — гораздо быстрее, чем мы, интеллигенты. У нас, интеллигентов, чувство родины сильнее развито. Культуру в чемодан не упакуешь, а они едут с рюкзачком, сало с картошкой меняют на сосиски с капустой».

— Нравится вам у нас? — спросила Кашлева Барбара, которая, кажется, с запозданием, но начала постигать происходящее.

Кашлев подмигнул Ю., улыбнулся, раздвинул руки и зашел: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».

«Возможно, провоцирует, — подумал Ю., — но ведь провокаторы как раз часто и бывают перебежчиками».

Они свернули в тихий, малолюдный переулок и уселись за столик в маленьком ресторанчике.

— Русской водки здесь нет, — сказала Барбара, листая шпайзкарте, — выпьем нашей, немецкой водки? Господин Кашлев, выпьете доппель-корн?

— Выпьем, — сказал Кашлев, — как говорится, на безрыбье и рак свистнет. — Он засмеялся.

Барбара подошла к бару, начала о чем-то тихо говорить по-немецки с хозяином. Ю. потянулся к своему кошельку, где лежали жидкой стопкой выданные марки, но Кашлев положил руку на его кошелек.

— Что ты в своих марках копаешься, — как заботливая строгая нянька, сказал Кашлев, — знаю я, какие ломаные гроши нашему брату за границу дают. Пусть немка платит, у нее валюты много.

— Что будем кушать, — спросила Барбара, возвращаясь и садясь за столик, — вот бифштекс по-гамбургски или короунблянц?

— Короунблянц — это что? — спросил Кашлев.

— Это фаршированная телятина.

— Годится, — сказал весело Кашлев и подмигнул Ю.

Хозяин принес на подносе два доппель-корна и белое мозельское вино для Барбары. Поставил три салата.

— Фройндшафт, — сказал Кашлев, чокнулся с Ю. и Барбарой и начал копаться в салате. — Хлеба бы дали поболее, да не такого черствого. Еда и выпивка у них хорошая, а хлеб в ресторанах подают плохой, черствый.

Хозяин принес фаршированную телятину, большие, остро пахнущие горячим жиром и приправой куски с картофелем во фритюре с горошком.

— Это уж не знаю, как подступиться, — сказал Кашлев, — с какой стороны атаковать.

— Вы разрежьте, — сказала Барбара, — телятина, фаршированная свиной и голландским сыром.

Принесли еще доппель-корна. Кашлев выпил свой стакан залпом, потом наклонился к Ю. и громким шепотом попросил узнать, где туалет.

— Мимо бара налево, — ответила Барбара.

— Данке, — сказал Кашлев и пошел, спотыкаясь левой ногой о правую. — Я сейчас вернусь, — сказал он Ю.

— Пойдем, — шепнула Барбара Ю. и взяла его за руку.

Они встали, и Барбара на ходу сунула деньги хозяину.

От теплой тьмы, от близости красивой женщины, пахнущей свободой, от выпитого, от того, что избавился от преследующего по пятам отечественного крепостного хамства, Ю. не ощущал тяжести своего тела, и казалось, что тело его рабски осталось сидеть, ожидая возвращения Кашлева из туалета, а убежала только невесомая облачная душа. Еще шаг, еще шаг — и головой пробить тряпку, пропитанную банным мылом и скипидаром. Но как же бежать с одной лишь облачной душой без тела своего? Без большой московской квартиры, без Покровителя, без будущей шиллеровской премьеры? Ю. остановился.

— Барбара, — сказал Ю., — помнишь, у Гельдерлина: ночь выплачивает свои сокровища... Und ihre schätze die Nacht rallt... Лунный свет ночь выплачивает, как кассир золото... Ты, Барбара, мое сокровище, которое выплатила мне немецкая ночь...

— Я тебя люблю, — сказала Барбара, длинные ее ресницы затрепетали, и от трепета этих ресниц повеяло прохладным, свежим воздухом задержанного пространства.

Еще полшага... Но уже бежал сзади, цепляясь за деревья, Кашлев, уже дышал в затылок. Уже тяжелое, рабское тело прочно поглотило облачную душу. Еще все было рядом, но все уже было позади. «Я тебя люблю» — что значит эта фраза из немецко-русского разговорника для Барбары? Может, это значит: я хорошо провела с тобой время. Спасибо. Или: я знаю, тебя теперь ждут тяжелые времена, я тебе сочувствую. Нет, не этой скучной фразой хотелось бы мне проститься с Барбарой».

— От имени КГБ я разрешаю вам ее поцеловать, — сказал вдруг Кашлев слова, надолго запомнившиеся, неприятно удивившие и особенно напугавшие, потому что либерализм в палаче пугает еще больше, чем жестокость.

Барбара быстро шагнула к Ю., поцеловала его в щеку и исчезла, растворилась в теплой тьме. В последний раз ощутил Ю. нежно-сладкий запах свободы...

Спустя два дня Ю. уже спал в своей большой московской квартире. Он вылетел в Москву, прежде чем кончились гастроли, сказавшись больным. Кашлев проводил его до аэродрома.

## II

После случившегося в Дюссельдорфе Ю. ожидал «ликвидации последствий». Но никаких последствий не было. Наоборот, в кабинете у Покровителя состоялся обнадеживающий разговор по поводу

драмы Шиллера «Димитрий». Большое значение в этих надеждах сыграл успех шиллеровского спектакля Ю. на гастролях в Германии. Вдохновленный и успокоенный, вышел Ю. от Покровителя. Секретарша Покровителя Анна Тимофеевна как бы эхом повторила комплименты Покровителя об успехе спектакля в Германии и попутно дополнила интимным шепотом, что бумаги, посланные в министерство для присвоения почетного звания, почти утверждены, остались небольшие формальности. Появилась вторая секретарша Люся с мороженым, которое она ходила покупать для Покровителя. Проходя в кабинет Покровителя, она улыбнулась Ю. и попросила его задержаться. Вскоре, вернувшись, Люся сообщила, что звонили из Дома дружбы с зарубежными странами. Его, Ю., выдвигают в Общество советско-арабской дружбы. Точнее об этом можно справиться у доцента Попова из театрального института. «Вот оно пришло, но с неожиданной стороны, — подумал Ю., — вот она, плата». Ю. знал, что из себя представляет Дом дружбы с зарубежными странами и тем более Общество советско-арабской дружбы. Знал он, и кто такой доцент Попов, нынешний секретарь парт-организации театрального института.

Попов, лохматый, с проседью, сутулый мужчина тяжелого веса — похоже, астматик, судя по цвету лица, — был человек влиятельный, со связями в ЦК и Министерстве культуры. В июне, перед самыми гастролями, Ю. присутствовал в театральном институте на вечере солидарности с жертвами израильской агрессии. Не прийти — значило проявить солидарность с Израилем. В своей вступительной речи Попов говорил чуть-чуть жестче, чем писалось на эту же тему в газетах. Вместо «израильский агрессор» он употребил выражение «израильский враг». Более того, Попов даже публично покритиковал некоторых журналистов-международников, которые постоянно в газетах употребляют выражение «арабо-израильский конфликт».

— Конфликт, — сказал Попов, — это равная ответственность сторон, меж тем как налицо преступная политическая уголовщина израильского врага по отношению к честному, трудолюбивому арабскому народу.

Потом на сцену выпорхнула блядושечка в русском сарафане и кокошнике на пшеничных волосах.

— Выступает сводный хор левого и правого берега реки Иордан, — объявила она сормовским звонким гудочком. — «Ревет та стогнет Днепр широкий». Песня исполняется на арабском языке.

И гортанно заревел, застонал по-арабски Днепр, побратим арабского Иордана. В сводном хоре обоих берегов реки Иордан выступили не только студенты-арабы из разных арабских стран, но также и осетины, азербайджанцы, туркмены. Таков был идейный замысел Попова, который, как Ю. слышал, работая в Совэксспортфильме, участвовал в пятьдесят пятом году в дубляже на арабский язык пропагандистского фильма Геббельса «Еврей Зюсс». Фильм потом был послан в арабские страны. Вот кто таков был доцент Попов.

После арабского хора выступил жидковолосый русак, который

читал свои стихи, жестикулируя кулаком, оглушенный собственным криком: «Что ты врешь на иврите про Россию мою...» Поэт раскатисто, напевно рычал в-р-р-р- в умело сопоставленных, близких по звучанию «врешь» и «иврит». И далее — п-р-р-... р-р-р-... Влажный чуб вкосу через лоб падал на бешеный бычий глаз. Вдохновенный продолжительными аплодисментами, поэт сменил сторожевое рычание радостным визгом у сапога хозяина.

— «В семье единой!» — объявил он звонко. — ГБ Украины, ГБ Белоруссии, ГБ Казахстана, эстонцев ГБ. О первом из равных слагаем былины — о русском, советском, родном КГБ...

Вот в какой семье предстояло находиться отныне Ю. в качестве троюродного приемыша доцента Попова...

Как-то Ю. увидел Попова в театре, куда тот зашел, очевидно, по делам общественным.

— Иван Макарович, — сказала Попову, сладко улыбаясь, Анна Тимофеевна, — вам Насер звонил...

«Какой Насер? — в недоумении подумал Ю. — Гамаль Абдель звонил Попову сюда, в театр? Непостижимо. К тому же, слава Богу, Насер уже мертв».

— Да, — подтвердила Люся, — вам Насер Иванович звонил, искал вас.

Оказывается, Насером Попов назвал своего сына, и этот сын-подросток звонил в театр, зачем-то разыскивал отца. Многое знал Ю. о Попове. Многое, но не все. Не знал Ю., что у Попова помимо общих были еще и личные причины ненавидеть евреев.

Происходил Попов из очень набожной православной семьи тамбовских мещан. Отец его, Макар Попов, был церковным старостой, сам же Иван обладал хорошим звонким голосом и в детстве пел в церковном хоре. Потом, в начале двадцатых, церковь закрыли, имущество конфисковали. Мать, и прежде не слишком здоровая, кликушествовала по церквям, просила подаяние. Но сам Попов, к тому времени молодой крепкий парень, каким-то образом репрессий избежал, пошел работать на завод в дизель-моторный цех. Работал хорошо, стал ударником труда, комсомольским активистом и даже сам участвовал в антирелигиозной пропаганде, в закрытии церквей и снятии крестов с могил. Увлекался и комсомольским искусством, пел в хоре, рисовал карикатуры. Однажды в городской газете была помещена его карикатура: четыре брюхатые монашки лежат в роддоме, и над каждой кроватью надпись: от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Прошлое Попова, казалось, прощено и забыто. Но вдруг Соломону Шнайдеру из комсомольского ансамбля «Легкая кавалерия» зачем-то понадобилось копаться в этом прошлом. На вечере активистов Шнайдер выступил с разоблачительными стихами:

Давно ль Попов с попом в обнимку  
Справлял то свадьбу, то поминку,  
Теперь Попов попа за шкуру  
И в лацкане проделал дырку  
Для комсомольского значка... Ха-ха.

И не имело значения, что следующий свой куплет Шнайдер прочел, обращаясь к набожному еврею:

Пейсы сбрей, сними ермолку,  
Возьми в жены комсомолку.

Выпад Шнайдера в свой адрес Попов воспринял как доказательство травли евреями русских. После выступления Шнайдера у Попова возникли некоторые трудности, но не надолго. Тогда уже началась сталинская, антитроцкистская кампания, в которой исподволь проступали антисемитские мотивы. Попов воспринял эти мотивы с истинно церковной страстью. И действительно, в его юдофобстве чувствовалась какая-то религиозная бескомпромиссность. Когда же внутренние многоликие юдофобские способности совпали с внешними имперскими потребностями на Ближнем Востоке, положение Попова стало особенно прочным.

Вот что надвигалось на Ю., на его жизнь, на его блага, на его удачи, потому что все, чего добился до сих пор Ю., было связано с его способностью балансировать. Теперь же от него требовали сделать бескомпромиссный шаг. И, как всегда в тупиковой ситуации, Ю. бросился к Покровителю.

Покровитель молча слушал путаные, неубедительные объяснения Ю., из которых сам Ю., слушая себя, мог бы заключить, что это говорит слабый, беспорядочный и неправдивый человек. Пока Ю. таким образом объяснял, почему он не может войти в Общество советско-арабской дружбы, Покровитель пил чай с лимоном, который подала ему Люся. По своему актерскому амплу он был резонер, хоть начинал свою карьеру как герой-любовник. У него были светло-серебряные волосы поседевшего блондина и в лице нечто львиное, царственное, что-то от бронзовых львов, однако выцветшие глаза были бойкие, подвижные, взгляд осмысленный.

— Но ведь это интернационализм, — сказал Покровитель, когда Ю. кончил наконец говорить. Покровитель сразу усек суть проблемы. — Вам это поможет, — добавил он, — это очень почетно.

И Ю. вдруг подумалось, что если не сам Покровитель выдвинул его кандидатуру в Советско-арабское общество, то по крайней мере он в этом деле принимал участие. Покровитель был уже стар и болен. Поднося стакан чая с лимоном к губам, он морщился — очевидно, побаливал позвоночник. «Этот старый русский интеллигент, старый русский актер все понимает, — подумал Ю., — но он живет согласно обстоятельствам и хочет помочь мне также жить по обстоятельствам. Потому мое нынешнее поведение ему особенно неприятно... Что сказать», — думал Ю., мучительно перебирая аргументы и ничего не находя.

— О людях судят по их поступкам, — сказал Ю., — поэтому лучше отказать, чем совершить поступок, к которому не готов. Политическая обстановка в арабском мире сложная, об этом пишут наши газеты. Коммунистические партии во многих арабских странах запрещены. Слышал я также неофициально, что присвоение Насеру Героя Советского Союза было волюнтаризмом.

— Вы должны изложить свои аргументы тем людям, которые вам предложили войти в общество, — сказал Покровитель. Он сделал еще несколько глотков, морщась, допил чай и добавил, укоризненно покачивая головой: — Не очень, не очень...

От Покровителя Ю. вышел еще более встревоженным. Лег он необычно для себя рано, в полночь, но не спалось. В два часа ночи позвонил Авдей Самсонов, Авдюша, лет десять назад популярнейший писатель молодого атакующего поколения. Ныне, к семьдесят третьему году, популярность эта увяла, но люди, подобные Авдюше, были по-прежнему известны, с прочными связями, с крупными покровителями и, в отличие от Гершингорна, которого не приняла вахтерша, принимались в достаточно высоких инстанциях. Авдюша только вчера вернулся из Приэльбрусья и теперь хотел зайти к Ю., поговорить о замысле новой пьесы. Ю., сославшись на болезнь, предложил перенести встречу дня на два.

— А что с тобой?

— Разваливаюсь по частям, — сказал Ю., — сердце, печень, желудок... И вообще трудно живется.

— Могу занять тысячу, — сказал Авдюша.

— Нет, у меня не материальные, а психологические трудности.

— Извини, психологию занять не могу. Тем более что я теперь увлечен сатирическим символизмом, а не психологией. Есть интересный замысел о современном советском Дон-Жуане — Иване Донцове, но именно в духе сатирического символизма...

Проговорили до трех. В три Ю. принял освежающий душ и улегся на диване, а не на широкой постели, где он еще не так давно спал со своей третьей женой. На диване лежать было прохладнее, чем на мягкой широкой постели. Сколько на этой широкой постели третьей женой было пролито слез, сколько криков, сколько проклятий. С тех пор он полюбил диван. Но сегодня и на диване что-то давило в поясницу. Нашарил рукой таблетки от головной боли. Сердито бросил их на полочку, прибитую над диваном, и тотчас же получил с полочки ответ цветочной вазочкой по голове, которую сбил слишком размашистым, неловким движением. Выругался, бросил вазочку в сторону, разбил. Пошел на кухню, взял веник, подобрал осколки. Заснул под утро. Утром ел без аппетита, слюна во рту была какая-то пенистая. Съел немного, а было такое чувство, будто объелся, давило под ребра. Отрыгнул два раза, но пустым воздухом, без запаха съеденной пищи.

Звонить в Дом дружбы с зарубежными странами решил из автомата. День был жаркий, уже с утра шел, потяя. Дошел до Арбатской площади, сел в маленьком скверике, рядом с памятником печальному Гоголю, с полчасу погрузили вместе. Вспомнилось гоголевское: о, Мольер, великий Мольер! Ты, который так обширно и в такой полноте развивал свои характеры... И ты, благородный, пламенный Шиллер, в таком поэтическом свете высказывавший достоинство человека...

Мимо скверика шла знаменитая арбатская сумасшедшая. Ю. не любил сумасшедших и опасался их. Только внутренне уверенные в

себе люди радуются, увидев сумасшедшего. Сумасшедшая была седая, лет так шестидесяти. На голове ее белая кепка от солнца, на шее стеклянные бусы, на груди комсомольский значок.

— Сталин умер в пятьдесят третьем году, — весело кричала сумасшедшая, — ну и что? А теперь сперва... — она грязно выразилась, — сперва... А потом женятся.

За сумасшедшей бежали дети, смеялись, показывали на нее пальцами. Прохожие вокруг улыбались. Ю. ушел из скверика. За сквериком в тупичке был телефон-автомат, о котором мало кто знал, и он чаще других пустовал. Сейчас телефонная будка также была пуста. Ю. вошел в будку, вынул бумажку, на которой был записан номер, набрал, назвал себя. Ответил любезный голос:

— Мы знаем. Иван Макарович передал нам список новых членов общества.

— Простите, с кем я говорю?

— Моя фамилия Щербань, — ответил любезный голос.

— Товарищ Щербань, я много думал по поводу этого предложения, и я глубоко благодарен людям, оказавшим мне доверие. Но учитывая сложность политической ситуации на Ближнем Востоке и мою политическую неопытность...

— Да или нет, — перебил голос, который, судя по тембру, несомненно принадлежал Щербаню, но вдруг совершенно преобразился, утратил мягкость, любезность и стал жестким, уличным, еще чуть-чуть пожестче, поуличнее — и этим голосом уже можно будет кричать то, что они обычно кричат.

— Да или нет?

— Нет.

Ту-ту-ту-ту...

Ю. повесил издающую частые гудки трубку и вышел из телефонной будки. «Вот и все, — с облегчением подумал он, — механические звуки». Ю. с трепетом ожидал членораздельных обличений, но ему ответили невинными механическими гудками, потому что он впервые публично сказал «нет».

И опять Ю. начал ждать «ликвидации последствий». Прошел день, прошло три дня, прошла неделя, последствий не было. Вдруг среди почты — открытка. Светло-голубое небо над разноцветными в два-три этажа игрушечными домиками, желтые и красные тенты над витринами в нижних этажах этих домиков, заботливо выращенная зелень южных деревьев, аккуратно округлых или аккуратно продолговатых, теплая рябь темно-голубой воды, подступающей к каменной набережной песочного цвета, и вместе с шеренгой белых, явно ручных лебедей у набережной на ряби этой плещется составленное из по-лебединому белых латинских букв название маленького немецкого городка на швейцарской границе, где отдыхает Барбара. «Да, в свободе есть что-то игрушечное, может, поэтому она бывает так уязвима и так непрочна, в то время как в нашей жизни все всерьез». По-русски Барбара говорила, хоть путала слова и понятия, но писать, очевидно, не умела. Открытка была заполнена немецкими округлыми буквами, и Ю. представил себе, как Барба-



ра писала, сидя у окна какого-либо из этих игрушечных домиков, глядя на лебедей и на теплую темно-голубую рябь. «Ночь, ледяная рябь канала, — вспомнил Ю. блоковское, — у нас повсюду ледяная рябь, даже в Крыму... Холодная, старческая кровь...»

Дать прочесть эту открытку кому-либо знающему немецкий язык Ю. не захотел, достаточно уже, что по этим волнующим сердце буквам шарил глаз почтового цензора. Ю. взял немецко-русский словарь и с трудом, кое-что читая, кое о чем догадываясь, узнал, что Барбара помнит его, надеется на новую встречу и грустит, что сейчас он не рядом с ней на этом озере. Озеро называлось Бодензее, то есть Нижнее озеро. «Все-таки время не пропало даром, — думал Ю., — даже в тепловатые хрущевские времена такую открытку могли бы не пропустить, и получатель мог бы иметь неприятности. Теперь же время застойное, то есть центровое. Ни шаг влево, ни шаг вправо. Дюссельдорф не имел последствий, и, кажется, не имеет последствий мой отказ участвовать в советско-арабской дружбе. Никаких последствий, кроме личной утомленности, дурного сна и частого покалывания в сердце. Надо бы в отпуск, и если нельзя на Бодензее, то хотя бы в Крым».

В этом году Ю. отпускное время пропустил из-за разнообразных хлопот. Многие приятели или в отпуску, или уже вернулись. Придется ехать одному. Что ж, в этом есть свое преимущество, полная отрешенность где-нибудь подальше, в крымской глуши. И Ю. начал хлопоты. Вскоре через профком театра он уже взял путевку в небольшой крымский дом отдыха. Путевка была с двадцатого сентября. Теперь надо было еще достать хороший билет, чтоб ехать прилично. Но это Ю. предпочел сделать не через профком, а частным образом. Он сначала созвонился, а потом заехал на работу к Вадиму Овручскому, своему приятелю, хореографу известного московского ансамбля. У Овручского каким-то образом были хорошие связи с железной дорогой.

В репетиционном зале пахло смесью парфюмерии и пота. Русокудрый, похожий на Есенина танцор в черной потной майке и черном, туго обтягивающем мускулистые ноги трико стучал каблуками. Черноглазый, с типично семитским обликом Овручский хлопал в ладоши и выкрикивал:

— Опа-опа-опа-опа-опа-опа... Молодцом! Гоп-опа-опа-опа-опа... Молодцом!

Увидев Ю., Овручский сунул ему потную ладонь труженика и автоматической скороговоркой спросил:

— Как дела?

— Двигутся, — дипломатично ответил Ю.

— У одного дела движутся со скоростью света, а у другого — со скоростью того света, — пошутил Овручский. — Подожди минут пять. — Он подбежал к другой паре танцоров. — Скомороший перепляс! — выкрикнул весело Овручский. — Егорка и Митяйка... Егорка в костюме барина плетет кренделя. — И Овручский умело пошел вприсядку, выкрикивая: — Эх, есть! Эх, есть! Эх, есть! Эх, есть... Митяйка подыгрывает на балалаечке и подпекает. — Овручский ру-

ками изобразил балалаечку и запел: — Так танцует ваша честь! Так танцует ваша честь!

Наконец Овручский вернулся к Ю., тяжело дыша и утирая потное лицо полотенцем.

— Ты едешь двадцатого? — спросил он.

— Нет, девятнадцатого, — ответил Ю., — с двадцатого у меня путевка.

— Ну, не важно. Четырнадцатого сентября позвонишь по телефону... — Он вынул из портфеля блокнот. — Записывай: 221-65-48. Записал? Попросишь 00-52. Андраш Михаил Яковлевич. Он тебе заказал на 169-й поезд. Выходит в 12.50 дня, на месте в 11.00 утра. Десятый вагон, двадцать пятое и двадцать шестое места. Все понятно?

— Все понятно. Спасибо, Вадим. Но мне нужно одно место.

— Как, ты едешь без молодой жены?

— Я развелся.

— Ну, извини, за тобой не уследишь. — И тут же, обернувшись, закричал танцору: — Коля, специфику! Дай специфику! Коленца, коленца... Настя, улыбочку держи, улыбочку... Играй ногами. — И сам Овручский, надев на лицо улыбочку, пошел на играющих ногах. — А я по лугу, а я по лугу, да я по лугу гуляла, да я по лугу... раз, два, три...

Незадолго до отъезда в Крым к Ю. зашел Авдей Самсонов, Авдюша. Принес наброски пьесы «Иван Донцов» о современном советском Дон-Жуане. Сидели на «кухоньке», ели заказанные в ресторане на дом блины с красной икрой, пили водку и шампанское. Авдюша с веселым вдохновением говорил о себе. Называл известные театральные имена.

— Такому-то показывал черновой вариант — завелся, такому-то — загорелся, такому-то — выпросил экземпляр, начал самостоятельно репетировать.

— Гениально, — перелистывая черновик, говорил Ю., — есть легенда о Дон-Жуане Байрона, Мольера, Пушкина... Блок писал, Алексей Толстой писал... Авдей Самсонов — почему бы нет? Скромность в творчестве — не моцартовское чувство. А сколько лет, Авдюша, твоему Ивану?

— Разве это важно, — вдруг насторожился Авдюша.

— Важно... У Пушкина Дон-Жуан молодой, у Мольера — старый.

— Мой Иван средних лет, наших лет, вокруг сорока.

— Гениально, — повторял Ю., — не представляю, правда, как у нас в театре отнесутся. Знаешь специфику нашего театра... Традиция, русофильство.

— А это пьеса очень русская, — парировал Авдюша.

Ю. листал рукопись, вычитывал куски.

— Замечательно, — засмеялся Ю. — Вот: «Иван (гневно): Говно!» Гениально, как хрюканье. Я вообще считаю, что некоторые ремарки надо сохранять на сцене... Недавно читали мы здесь пьесу Гершингорна... Знаешь его?

— Знаю, — ответил Авдюша, — талантливый парень. Такой местечковый Шагал с чесночком. Его Олежек очень метко обозвал: Першингорл. — Авдюша засмеялся.

— Какой Олежек?

— Из Сатиры. У меня там мюзикл начинают репетировать. Назывался «Трое на одной тахте». Конечно, название поменяли. Писал тоже в стиле сатирического символизма. Роли выписывал специально на актеров. В роли Заходящего Солнца Аглая Преображенская, по кличке Преображенская.

Посмеялись. «Першингорл, — думал Ю., — как это распространилось в театральной среде? Наверное, я где-то пьяный проболтался. Ах, свинья».

— Дон-Жуан вообще тема символическая, — сказал Ю., — особенно финал, появление фигуры Командора.

— В финале у меня как раз символики не будет. Скорей, бытовая фантастика. Когда Иван завлек молодую девственницу в постель, предвкушая удовольствие, юная девственница вдруг крикнула ангельским голоском: «Крекс, фекс, пекс», — хлопнула в свои маленькие розовые ладошки и превратилась в огромного волосатого мужика. Такой киплингковский образ. В нем должно быть нечто звериное, искреннее, лесное. Он приходит восстановить справедливость, приходит в постель к Ивану.

— Этот поворот опасен, — осторожно сказал Ю., — могут приписать не только сексуху, педерастию, но еще черт знает что политическое.

Авдюша затихает, сидит, молчит. Постепенно он мрачнеет.

— Ужасное время, — говорит Авдюша, — всюду застой, скука, холодное безразличие, нынешняя молодежь лишена даже любопытства. Выступаешь где-нибудь, вопросов не задают; кажется, нет на свете ничего такого, что могло бы их расшевелить. И над всем царит тупая, обывательская надменность... Тяжело...

Вышли на балкон. Балкон делал свой очередной виток над ночной Москвой.

— В Москве новый роман пошел по рукам, — сказал Авдюша, — называется «Обглоданная кость» с подзаголовком «Собачья жизнь одного человека». Первая часть — «В конуре», вторая часть — «На случке». Я считаю автора яркой восходящей звездой первой величины в новой русской прозе... Не читал?

— Еще не читал, но название гениально — «Обглоданная кость».

Стояли, вцепившись в поручни, смотрели в московскую тьму.

— У меня в Госкино сценарий зарезали, — сказал Авдюша, — там теперь в главке новое начальство. Василий Блинок из Белоруссии.

— Какой Блинок?

— Автор популярной солдатской песни «Портяночки» и романа «Беседы у пулемета». Активист Воениздата.

— Хорошее шампанское, — сказал Ю.

— Да, кружит голову, — ответил Авдюша и наклонился через балконные поручни. — Хорошо бы упасть, — вдруг повторил Авдю-

ша мысль, которая иногда приходила и самому Ю. здесь ночью на балконе, — хорошо бы упасть, но по-горьковски, не убится, а рассмеяться...

Рассмеялись, потом помолчали.

— Иногда кажется, — сказал Авдюша, — что шестидесятые годы были не десять лет назад, а по крайней мере сто лет прошло с тех пор. Эпоха минула... Как нас тогда ругали. Боже мой, как нас тогда ругали в Кремле. Какое время было счастливое...

### III

Ехал Ю. в Крым в мягком вагоне образца 52-го года, дату он прочел на табличке, привинченной в купе. В вагоне все скрипело, дребезжало, стучало, занавески на окнах были тяжелые и пыльные. Соседи по купе — обычные осколки чужой жизни: женщины, мужчины, пожилые, молодые, капризные от дорожной неустроенности дети, запах крутых яиц и чесночных котлет, проводник с жидко заваренным чаем в лихо заломленной, по-кавалерийски, набекрень железнодорожной форменной фуражке. Едешь один, вокруг ни одного лица, с которым можно нормальным словом обмолвиться, не знаешь, куда себя деть, как сесть. Облокотившись о столик локтями, смотришь в окно — надоедают телеграфные столбы, откинешься, упрешься спиной — внутренняя обстановка в купе надоедает еще больше. А тут еще ноги в носках с верхней полки, свесившись, спрашивают, какая станция и сколько стоим. Отвечать не хочется, делаешь вид, что дремлешь. Но главные мучения предстояли ночью. В вагоне холодно, диван твердый, хоть и оплачен как мягкий, и под головой твердый валик. Выбросил валик на пол — стало чуть полегче, задремал, хоть и не надолго. В шесть утра встал с гудящей головой, со щемящими от бессонной ночи глазами, с першащим горлом. Вспомнилось: Першингорл. Улыбнулся. Ночь позади, север позади, скоро Крым.

Но что такое Крым? Это жаркое сентябрьское солнце, пыль, душное такси, пахнущая чернилами контора профсоюзного дома отдыха, скрипучая, продавленная множеством тел койка, застланная свежим казенным бельем. И так продолжается неуют до тех пор, пока, следуя указателю «На пляж», по тропке через парк, через запахи южных цветов не приходишь к морю.

Ю. по возможности решил общаться только с морем, однако прошло несколько дней, и он уже был знаком с некоторыми отдыхающими, уже разговаривал с ними Бог знает о чем. В обеденном зале Ю. сидел с директором конторы Туркментекстильторг Чары Тагановичем. Чары Таганович жаловался:

— Крым — золотой сосуд, наполненный говном... Где прухты и овочи? Где? Завтрак — каша, обед — лапша. Дыля шахтеров питание.

Столики в столовой стояли в два ряда, посередине был устланный дорожкой проход. Параллельно со столиком Ю. через дорожку

у окна под фикусом сидели трое шахтеров из Караганды. Держались они всегда тройкой, приходили тройкой, уходили тройкой, на пляж шли тройкой. И шли всегда в определенном порядке. В центре высокий, жирный, главный, очевидно, среди них авторитет, лицо имел постоянно серьезное; второй, невысокого роста, наоборот, часто улыбался, и лицо у него было точно без кожи, красное, мясное, может, обмороженное; третий был какой-то безликий, Ю. его не помнил, наверное, оттого, что он сидел постоянно к Ю. спиной, тогда как краснолицый сидел анфас, а жирный — в профиль. И разговаривал жирный чаще с краснолицым, чем с безликим, губы серьезно шевелились, точно жирный краснолицему выговаривал или что-то ему объяснял. Ю. никогда к карагандинцам не приближался, никогда не слышал, что они говорят, а если карагандинцы встречались с Ю. в парке на аллее, то проходили мимо, не глядя и не здороваясь. И Ю. сразу понял: эти зоологически бескомпромиссны. Особенно жирный пролетарий, который явно имел на двух других влияние. Ю. тоже старался их сторониться, а однажды, когда случайно оказался недалеко, вдруг испытал томящее ощущение в полости живота, какое случается во время качки при морской болезни или в слишком быстро спускающемся лифте. «По сравнению с этими неподкупными Попов, не говоря уж о Кашлеве, выглядит умеренным», — подумал Ю. И он постарался более к карагандинцам не приближаться даже случайно. Вторым полюсом, которого Ю. сторонился, был лысеющий человек, очень курносый и длиннолицый, в которм, однако, без труда можно было распознать еврея. Звали его Давид Файвылович, так Ю. слышал. Обедал Давид Файвылович за общим столиком с блондином-прибалтом, с которым громко разговаривал на каком-то из прибалтийских языков. Несколько раз Ю. чувствовал на себе взгляд Давида Файвыловича, который смотрел на Ю. издали своими темными глазами, наглыми и грустными. Давид Файвылович явно хотел заговорить с Ю., познакомиться с ним. «Нет, мошенник, тебе это не удастся», — думал Ю., почему-то сразу же мысленно обозвав Давида Файвыловича мошенником, даже не перекинувшись с ним ни единым словом и ничего о нем не зная. Между карагандинцами и Файвыловичем Ю. выбрал середину — Чары Тагановича, беседовал с ним на производственные темы.

— Делаем тыкани по плану. Девяносто процентов у нас Россия брать должна. Не берут. А наш среднеазиатский рынок мы давно насытили.

— Нужно делать модную ткань, — новаторствовал Ю.

— Модная ткань, — сердился Чары Таганович, — а кырасители? Где вызять кырасители? Без кырасителей пылан сорву, оштрафуют за нарушение договора... Э, плохо...

К началу октября погода испортилась, море заштормило, на солнце было по-прежнему жарко, но тени холодные, и вечера стали холодные. Отдыхающие одевались потеплее и ходили гулять по парку, а с наступлением сумерек сидели на скамейках на краю обрыва и до одурения смотрели на темнеющее, беспокойное море. Дом от-

дыха располагался на горе, а чуть ниже, километрах в трех по крутому спуску, по дороге, вдоль которой грохотала по камням горная речка Карасу — Черная Вода, был типично крымский, татарский городок Карасубазар, ныне переименованный в Яблочное. Говорили, что в прежние, татарские времена окрестности городка утопали в прекрасных фруктовых садах, хоть теперь в это трудно было поверить. Повсюду рос только дикий кустарник. Когда погода испортилась и море заштормило, Ю. начал совершать прогулки вдоль Карасу в Яблочное, чтоб скоротать время. В прежние времена, бывая в Крыму, в иных местах Ю. уже встречал несколько небольших речек — Карасу. Он вспомнил, что и на Кавказе встречал речку такого названия, и, наверное, где-нибудь в Турции или Туркмении тоже течет Карасу. От однообразного шума воды и от однообразного названия стало скучно и тревожно. Вдруг вспомнилось, что сегодня за завтраком жирный карагандинец, который обычно сидел к Ю. в профиль, повернулся анфас, посмотрел в упор и то ли улыбнулся, то ли оскалился. Такую улыбку иногда можно увидеть на мордах больших тяжелых псов перед броском, перед укусом.

Когда, погуляв по городу, Ю. вернулся к обеду в дом отдыха, первым, кого он увидел, был все тот же жирный шахтер из Караганды. Он стоял на набережной и держал в своих тяжелых кулаках трепещущую от морского ветра газету. Точно газета пыталась вырваться, а он не пускал, как добычу свою, наклонив к ней голову, зубами рвал новости, крайне ему по вкусу пришедшиеся. Каменная шея, каменный загрибок был напряжен, тоже участвуя в этом жадном поедании новостей. Подбежал краснолицый и крикнул:

— Сейчас передавать будут!

И оба заспешили к дому отдыха. В коридорах было общее движение, хлопали двери, все спешили в комнату, где стоял телевизор.

«Война, — испуганно подумал Ю., — война с Америкой». Ю. ошибся, это была не третья мировая, а очередная локальная война на Ближнем Востоке, война октября 1973 года. Но патриотический подъем отдыхающих был так высок, точно речь действительно шла о мировой войне. Последние известия начались необычно: первым номером показали не внутренние правительственные сообщения, не сообщения с заводов и полей, а зарубежные новости. После надписи «Война на Ближнем Востоке» пошли кадры победоносного наступления египетских войск на Синае. Вместо наступления, правда, показывали ликующих египетских солдат, которые маршевым порядком ехали на советских военных грузовиках и, подняв руки кверху, потрясали советскими «калашниковыми». Показывали израильских пленных, изнеможенных, обросших.

— Судить этих жидов надо, судить! — кричал краснолицый.

— Сыколько уже убили? — спрашивал Чары Таганович у жирного карагандинца.

Чувствовалось, что жирный карагандинец становится общим лидером.

— По «Маяку» я слышал: три тысячи раненых и убитых, — ответил карагандинец.

Это уже была не международная политика, не братская помощь, как во Вьетнаме. Это была их война, третья отечественная война. Ю. вспомнилось, как в 1967 году на улице Горького были специально установлены громкоговорители и по этим громкоговорителям торжественно объявлялось, непрерывно повторялось о разрыве дипломатических отношений с Израилем, повторялись угрозы в адрес Израиля. Такого не было при разрыве отношений с Чили, с Пиночетом. Просто, как обычно, напечатали в газете, сообщили в радио и телеизвестиях. Теперь же гремело на всем протяжении улицы Горького, от Белорусского вокзала до Охотного ряда. Потому что разрыв с Пиночетом, с Чили — внешняя политика, а разрыв с Израилем — политика внутренняя. Чили для них враг внешний, а Израиль для них враг внутренний. Ненависть к этому внутреннему врагу — Израилю — была искренняя, вдохновенная, но одновременно напоминающая футбольный энтузиазм, поскольку ненависть к немцам в прошлую войну несла ответные опасности, тут же никаких опасностей не было. Злоба и праздник объединились в погромном удовольствии. Сразу между Ю. и этими людьми — с некоторыми из них он еще недавно мило беседовал — установилась внутренняя напряженная борьба. Борьба велась вокруг телевизора и вокруг газетного киоска, расположенного в конце парка у большой клумбы. Спал Ю. дурно, недолго, замученный тревожными мыслями своими. И каждое раннее утро, около семи, он слышал шаги идущих к газетному киоску карагандинцев. Вначале Ю. тоже заглядывал в газеты, пытаясь прочесть между строк иное, чем то, что там писалось, какой-нибудь намек в этом потоке дикой лжи и подкрашенной политическими терминами злобы. Иногда кое-что удавалось выудить. Так, сообщалось, что после начала войны в Израиле установилась атмосфера военной истерии, формируются новые дивизии, начался массовый призыв в армию резервистов. Но в целом ко лжи, глупости и злобе прибавилось злорадство: а мы предупреждали, что это плохо для Израиля кончится. Особенно встревожило требование советских газет о невмешательстве в конфликт ООН, поскольку речь идет о внутреннем, национальном праве арабов освободить свои земли. Это должно решаться не в ООН, не на мирных конференциях, а на поле боя. Некоторые западные либералы в ООН просили перемирия, прекращения огня, а арабы и их друзья из соцлагеря и «третьего мира» прекращение огня отвергали. Начиная с 67-го года весь этот альянс требовал вмешательства ООН для освобождения арабских земель. Либералы их в этом поддерживали. Похоже, ныне они действительно поверили в возможность уничтожить Израиль не поэтапно, через ООН, через конференции и переговоры с либералами, как они уничтожали Южный, некоммунистический Вьетнам, а одним ударом, военными средствами, открытой атакой.

Всю ночь шел дождь, шторм по-орудийному бил о набережную, тошнота подступала к горлу, более всего тревожили томящие ощущения в полости живота, потому что в минуты сильной опасности,

которая надвигалась на Ю. из победных сообщений газет, из телевизионных сообщений, не сердце, а живот становится главным объектом ненависти, так всегда бывает, когда речь идет о зоологии.

Утром Ю. решил не выходить к завтраку, чтоб не видеть победного энтузиазма отдыхающих, да и есть не хотелось. Он лежал и прислушивался к доносящимся извне звукам. И вдруг он услышал то, чего с тревогой ожидал и чего опасался: аплодисменты и крики «ура!». В дверь постучали, это пришла уборщица. Ю. накинул халат, отпер. Надо сказать, что весь персонал, особенно низший, уборщицы и официантки, также участвовал в победном веселье, и, как казалось Ю., к нему начали относиться с насмешливым пренебрежением. Уборщица была ширококостная пожилая баба, которая грубо переставляла стулья, брызгала намоченным в грязном ведре веником и как бы невзначай весело посматривала на Ю.

«Ура» кричали из-за распространившегося в доме отдыха известия о полной победе арабов. Известие это принес Чары Таганович, который на рынке в Яблочном встретил земляка.

— Земляк домой звонил. Ашхабад уже знает, Душанбе знает, Ташкент знает, скоро Москва сообщит. Тель-Авив египетские войска захватил, а Иерусалим — сирийские войска. Евреи бегут к морю спасаться. Америка согласна их спасти, Англия и Франция не согласны.

— Не пускать, — сказал краснолицый карагандист, — пусть ответственность несут.

— Э, пусть уходят, — сказал Чары Таганович, — пусть едут в Америку, пусть освобождают мусульманские земли. Епрей тоже человек, пусть уезжают. Джугут тоже человек... Э, хорошо...

— Разве это люди, — сказал жирный карагандинец, и чувствовалось, что каждое произнесенное им слово увесистое, накопленное и за каждым словом стоит много слов, еще более зоологических, более обнаженных. — Разве это люди? Мразь. Муху, таракана более жалко убить, чем таких... Недаром Гитлер их бил... Жалко, всех не угробил.

Ю. ушел в шумный от дождя, пустой парк, ходил по аллеям, сжав зубы, время от времени он, крепко стиснув, вытянув вперед кулак правой руки, произносил, теряя дыхание: «Ненавижу», — а потом тревожно оглядывался, не слышал ли кто. Ю. знал, что и за рубежом, и на Западе есть враги, есть хулиганы, есть антисемиты. Но там антисемит частное лицо и потому возможна самозащита. И в старое время в царской России, при царе, поклоннике «Протоколов сионских мудрецов», антисемит все-таки оставался лицом частным и потому возможна была самозащита. Теперь же, в социалистической России, антисемит лицо общественное и за спиной каждого уличного хулигана стоит государство всей своей громадой. Ю. все ходил и ходил по аллеям, повторяя: «Ненавижу». Ему было жарко, болел затылок, видно, поднялось давление. Вдруг подумалось: какое наслаждение было бы лежать там, в песках, и стрелять в набегающих, орущих... Если бы и эти, все вокруг, единой цепью...



Подкашивались ноги. Ю. уселся на мокрую скамью, растирая рукой сердце и живот, поглаживая затылок. Он долго сидел так. «Охамлена жизнь, — думал Ю., — но если охамлена, охулиганена вся современная жизнь, то как же не охаметь, не охулиганиться культуре...» Он снова встал и начал ходить по парку. «Надо уезжать, черт с ним, с Крымом, с отдыхом. Какой это Крым, какой это отдых? Надо в Москву». Но что Москва, думал Ю., не из Москвы ли надвигается все это, не в Москве ли придумываются в разных инстанциях, в том числе в Обществе советско-арабской дружбы, куда он отказался войти. Но теперь, если Израиль действительно погиб, этот камуфляж с Интернационалом, с прогрессивными евреями им больше не понадобится.

Ю. посмотрел на часы и заспешил к дому отдыха. Сейчас должны были передавать последние известия. Ю. покачивало, как на корабле в шторм, сердце его было барабаном, и кто-то словно извне бил по нему: бум-бум-бум.

Появился известный, приветливо улыбающийся телевизионный диктор, и аудитория встретила его радостным гулом. Потом, после надписи «Война на Ближнем Востоке», опять понеслись грузовики с египетскими солдатами, поднимающими вверх «калашниковы». Повторяли старые, уже виденные кадры. Ю. вынул платок и вытер со лба испарину. «Нет, еще не конец. Во что-то уперлись, где-то зацепились, раз повторяется».

— Переговоры ведут с Америкой, куда епреев девать, — говорил Чары Таганович, — потому не сообщают. Может, вечером сообщат.

— В Москве салют должен быть по случаю взятия Тель-Авива, — сказал краснолицый. — Я думаю, там наши ребята воюют... Наши хлопцы.

Победное веселье в доме отдыха продолжалось. Вечером в кинозале выступал абхазский ансамбль гагринской филармонии. Длинноносый пожилой абхазец в черном костюме и белых штиблетах пел:

Предположим, я красивый, ай-яй-яй,  
Предположим, я ревнивый, ай-яй-яй,  
Предположим, я стою, предположим, я курю,  
Жду жену и говорю: ай-яй-яй...

И ансамбль из трех абхазцев и молодой женщины-абхазки, возможно, дочери солиста, очень на него похожей, подхватил:

Предположим, я красивый, ай-яй-яй...

Когда песня кончилась, один из хористов спросил у белоштыблетника:

- У тебя шансы есть?
- Есть.
- Дай полкило.

Опять смех и аплодисменты. «Нет, уж лучше ходить по парку», — подумал Ю.

Было ветрено, но дождь утих, и шторм как-будто бушевал потише.

Неподалеку от входа в парк к Ю. подошел человек и сказал:

— Простите, вы тоже из оперы «Аида»?

Это был Давид Файвылович, которого Ю. в своей социальной спесивости совершенно сбросил со счета.

— Я вижу, вы переживаете, — продолжал Давид Файвылович, — я тоже переживаю, но у меня здесь приемник, я слушаю за границу. Слышимость плохая, но можно поймать, особенно вечером. Хотите послушать?

— Хочу, — обрадованно ответил Ю.

Они познакомились. Давид Файвылович сразу представился коротке: Дава...

Дава жил не в главном корпусе дома отдыха, а в одном из флигелей, неподалеку от спуска к морю.

— Когда хорошая погода, можно сразу в трусах на пляж спускаться, — сказал Дава.

Дава действительно загорел хорошо, лицо и тело шоколадного цвета, тогда как Ю. лишь покраснел. В Даве чувствовалась ловкость и цепкость умельца, ремесленника, он действительно был сапожником, точнее, работал в обувном цехе в Литве. Все, что ранее Ю. в Даве не нравилось: его маленький курносый носик, лошадиное лицо, даже темные глаза, которые не переставали смотреть с печальной наглостью, — теперь нравилось Ю., и он внутренне упрекнул себя за то, что из-за своей спеси не сблизился с Давой ранее и в одиночку противостоял этому скопищу зоологических недругов. «Эта наша книжная, наша саддукейская, наша раввинская спесь по отношению к своему простолудину, которую осудил еще Иисус Христос, не она ли причина многих наших бедствий, нашей хилости, нашего отщепенства?»

— Вы тоже были на концерте? — спросил Дава. — Ерунда какая-то. Вот к нам в Вильнюс приезжал одесский ансамбль Мони Житомирского, выступал в ресторане. Это другое дело. Хотите послушать, я на кассету записал. Время до передачи у нас еще есть.

Он включил кассету, и сочный голос запел с еврейскими завитушками:

Ой, папа, папа, я еврея мама,  
Родила я сына от Абрама,  
Бьет папаша чайные стаканы,  
Стал папаша от известья пьяный.  
Ой, азохен вей, ой, азохен вей,  
Ой, азохен, ой, азохен, ой, азохен вей.

— Ой, азохен вей, азохен вей, — подпевал Дава, прищелкивая пальцами.

И Ю. тоже вместе с Давой подпевал:

— Ой, азохен вей, азохен вей...

Никогда прежде Ю. не испытывал такого приступа национального чувства, которое было чем-то подобно чувству полового удовольствия. Включили приемник, начали шарить по эфиру, слышимость была плохая, треск, шум, наконец поймали Лондон. Лондон сообщал, что Си-

рия потеряла много танков и отступает, одна египетская армия окружена, другая прижата к Суэцкому каналу. Ю. обнял Даву и поцеловал его в пахнувший луком рот.

Утром в комнате, где стоял телевизор, как всегда, было тесно. Ждали новых счастливых известий с Ближнего Востока, с фронтов третьей отечественной войны. Однако новостью номер один вдруг оказалась миролюбивая встреча Брежнева с немецким социал-демократом Брандтом.

С возрастом лицо Брежнева все более становилось похоже на мягкий блин, испеченный неряшливой хозяйкой. В одном месте пальцами примяла, в другом ложкой избородила. Не лицо — гоголевская печеная харя. У Брандта же лицо гофмановское, лепное, театральное.

В новелле Гофмана «Из жизни трех друзей» показаны миролюбивые настроения после битвы под Ватерлоо. Трое друзей попивают свой миротворный кофе на открытом воздухе в берлинской ресторации. Также и советское телевидение показало новостью номер один миролюбивые настроения после Синайской битвы. Двое друзей попивают свой миротворный коньячок на террасе роскошной приморской виллы, конфискованной у прежних русских царей и ныне принадлежащей «новым царям», как называют советских руководителей китайские гегемонисты. Но публика, собравшаяся смотреть теленовости, была настроена менее миролюбиво, чем Брежнев и Брандт. Она настроилась на кадры победного шествия египтян и сирийцев с «калашниковыми», на кадры горящего Тель-Авива, в беспорядке лежащих на песке трупов израильских солдат, в страхе бегущих к морю толп еврейских женщин, стариков и детей, которых можно было бы созерцать со смехом и улюлюканьем... А вместо всего этого — гоголевское лицо Брежнева и гофмановское лицо Брандта. Публика как бы единым ртом издала вздох разочарования. Тем более что события на Ближнем Востоке показали в самом конце передачи, в скромной рубрике «За рубежом». Причем, вместо солдатского победного марша, опять в ООН интеллигенция жестикулировала. Расходились хмурые, с кислыми лицами, как после несостоявшегося погрома. Крови, крови хотелось... И по странному совпадению в тот же день краснолицый карагдинец шлепнулся с горы.

Это была обычная, рутинная смерть, заранее предусмотренная крымской статистикой. В таком-то году на горе было столько-то смертных случаев, в таком-то — столько... Кривая смертности шла то чуть вверх, то чуть вниз, но в целом на постоянном и заранее предусмотренном уровне. Как ни предупреждали отдыхающих — ни на один камень Черной горы надеяться нельзя, — отдыхающие ежегодно надеялись, участвуя в смертной статистике. Гора манила и притягивала. Была она вулканического происхождения, и высоко врезающаяся в небо вершина ее поросла лесом.

На следующий день, которого уже не увидел краснолицый карагдинец, была переменная облачность, показывалось солнце. Дава раздобыл где-то напрокат лодку, и поехали осматривать гору с моря, тем более что у подножия горы располагалось несколько красивых бухт. После непогоды и шторма море во многих местах было покрыто

кустами морской травы, вырванной с корнем, которую приходилось отталкивать веслами. Иногда объезжали целые холмистые острова такой травы, плавающей на волнах. Но прогулку это не портило, наоборот, разнообразило. Солнце припекало, йодистые запахи плавающих травяных холмов, смешиваясь с запахом моря, прочищали легкие от воздуха, который, казалось, застоялся там за время прошедших волнений. Ю. греб обеими руками, держа рукоятку своего весла и стараясь попасть в такт с гребущим Давай. Приплыли в овальную бухту, огражденную несколькими острыми, выступающими из плещущих волн скалами. Ю. зацепил веслом небольшой кустик, поднял из воды длинные побеги, длинные листья и голубенькие цветочки. Почему-то вдруг вспомнилась Барбара, образ которой поблек и удалился во время последних бед и тревог. И вот сейчас, в тишине овальной бухты, глядя на тонкие мокрые побеги, на голубые цветочки, повисшие над морской волной, Ю. ясно увидел Барбару и послышались звуки скрипки, загудела флейта. «Durch die Nacht die mich umfängen Bliket zumir der Töne Licht» — «Сквозь ночь, меня обступившую, глядит на меня свет звуков». Свет звуков — это у Брентано.

— Хорошая трава, — сказал Дава, глядя на мокрые длинностебельные побеги, на голубые цветочки, — в хозяйском государстве эту траву сушат и скоту скармливают. Я помню, так делали в старой Литве. Но лучше всего она годится на набивку мягкой мебели.

— «Von Blumen der Garten und Schläf rigfast», — произнес Ю. вслух из Гельдерлина, потому что, готовясь к Шиллеру, он пытался читать в подлиннике и иных немецких поэтов.

Дава пристально посмотрел на Ю.

— Вы хорошо говорите по-немецки?

— Не очень, — ответил Ю.

— А что означает то, что вы сказали?

— И сад, почти усыпанный цветами...

— Ах, это стихи, — сказал Дава разочарованно, — но все-таки, если вы знаете немецкие стихи, то должны уметь по-немецки писать.

— Я пишу, — сказал Ю., — но не очень хорошо.

— Все-таки я хотел бы с вами посоветоваться, — сказал Дава, — попросить у вас помощи. Сегодня вечером я хотел бы вам кое-что показать.

Вечером опять пили шампанское и выпили много. Ю. купил две бутылки, и три бутылки купил Дава. Пили за Израиль, за победу, за здоровье родных и близких.

— Закуска дрянная, — говорил Дава, — вот купил в Яблочной симферопольский сыр и чесночную колбасу... Приезжайте ко мне в Литву. Вы бывали в Литве?

— Не долго, — ответил Ю., — но я работал в Прибалтике, в Эстонии.

— Так вы не знаете, что такое прибалтийская закуска. «Индири-ти огуркай» — огурцы фаршированные или якхине — паштет из печени. Отец мой был набожный, ел только кошерное, и дед набожный, а у меня жена литовка. Помните, блондин сидел со мной за столиком? Это брат моей жены. И недавно вернулся их отец... Приехал, да...

Даву, как и Ю., тоже развезло, говорил он медленно, тяжело, то наклоняясь вперед, то выпрямляясь, точно искал центр тяжести.

— Нас столько убивали, вы, конечно, слышали, как литовцы убивали... детей били лопатами по голове... И вот теперь у меня трое детей... — Дава встал на шатких, непрочных ногах, прошел к чердану, вынул оттуда портмоне и высыпал несколько фотографий курносого мальчика лет восьми, курносой девочки с косичками, лет десяти, еще одного мальчика, лет четырнадцати-пятнадцати. — Скажу откровенно, главное для меня теперь — семейное гнездо и желудок. Вам, конечно, такое слышать странно, вы человек искусства... Так к чему я это говорю... Не знаю, как вы, но я уж некоторое время думаю о выезде. Жизни здесь нет и не будет. Я вам скажу: если б эти отсюда арабов не поджучивали, арабы давно бы примирились с Израилем. У меня есть брат, Аба, большой шутник, так он прочитал в газете: «Советско-сирийские переговоры». «Перего» он зачеркнул, получилось — «советско-сирийские воров». Мы так смеялись. Мой брат Аба совершенно не похож на меня. Курчавый, толстогубый. Он похож на негра. Мы так и зовем Абу: неигро ид... В Крыму тоже были свои евреи: крымиды...

— Караимы, — улыбнулся Ю.

— К чему я все это говорю? К тому, что нам пора отсюда сматываться... А тоска по родине? Так, как поет мой брат Аба: «Я тоскую, зукт эр, по родине, по родной, махт эр, стороне своей...» Я уже выбрал себе страну, куда поеду, новую родину... Это Германия, разумеется, Западная... Страна богатая, вот и вы рассказывали, какая там хорошая жизнь. К тому ж немцы нам, евреям, сильно задолжали и осознают это. Говорят, дадут нам большие деньги, дадут хорошие квартиры. Но у меня положение особое, я хочу поехать в Германию, как возвращенец на родину, у меня для этого все права. Возвращенец на родину — это большие льготы, гражданство, немецкий паспорт и прочее... Скажите, немецкое посольство в Москве находится где-то возле зоопарка?

— Да, где-то там.

— У меня к ним не простой разговор, а документы, — сказал Дава, — поэтому мне нужен человек, который все напишет по-немецки, заявление и прочее. Конечно, не даром...

— Не знаю, смогу ли я написать заявление по-немецки, — сказал Ю., — так хорошо немецкий я не знаю.

— Жаль... Ну, хотя бы посоветовать. — Он вынул из портмоне аккуратно сложенную бумагу, развернул. На бумаге стояла гербовая печать и подпись с завитушкой. — Это копия. Подлинная справка у отца моей жены. Но если немецкому посольству понадобится, я вышлю. — Он протянул бумагу Ю.

Это была копия справки из управления лагерей. В ней значилось, что такой-то отбыл десятилетний срок за службу в литовских отрядах войск СС. Ю. молчал, все время перечитывая справку, потом он поднял глаза на Даву, по-прежнему ничего не говоря.

— Конечно, — сказал Дава, — если б у него была тогда такая голова, как теперь... Он был тогда простой крестьянский парень, и в восемнадцать лет у него уже было трое детей, моя жена и ее брат...

Свое он отбыл, но теперь он, как я понимаю, считается немецкий служащий, ветеран, воевавший за Германию, и его дочь, моя жена, имеет все права на немецкие льготы и на немецкое гражданство. И дети мои тоже имеют в Германии все права, и я, конечно, как их отец. А мертвых уже не разбудишь...

Дава еще что-то говорил, но Ю. слышал только глухое: буль-буль-буль-буль — как из-под воды. К глазам и горлу Ю. подступила тяжесть, и ему хотелось то ли заплакать, то ли вырвать. Не известно, сколько шампанского он выпил — может, бутылку, а может, и две. Он ничего не ел — ни твердый сыр, ни чесночную колбасу, а только пил шампанское, стакан за стаканом. Ни слова не говоря, Ю. встал, налил себе шампанского, выпил один, без Давы, и вышел. От опьянения голова стала тяжелая, а ноги очень легкие, сами несли, чуть ли не скакали по тропе.

Ночь была без луны и звезд, непроглядная, бесконечная, по-адски тяжелая. Страшны такие ночи для одинокого человека в гористой местности у моря. Моря не видно, лишь слышно, как оно шумит далеко внизу, слышна стихия, слышен голос хаоса, для человека неразличимый, но пугающий и угрожающий. «Дегенерат, — думал Ю. о Даве, — дегенерат, дегенерат, дегенерат... Вырожденец... А чем я лучше? Или Овручский, который танцует вприсядку... Но есть и хуже нас — те, кто сами участвуют в фараоновом угнетении... Если мы, евреи, просуществоваем еще сто лет в России, среди этой клокочущей, как горячая адская смола, злобы, среди лжи и клеветы, среди ненависти, бесконечной и разнообразной, как хаос, то все превратится в моральных и физических уродов... Может, в таком качестве мы как раз здесь и нужны. Наш труд, наши идеи, наши открытия — это только побочный продукт, а главное — это наше существование. В книге одного сербского писателя сказано: "...Людям всегда нужны хромые и юродивые, чтоб было на ком вымещать свое скотство"»

Ю. шел, не думая куда, повинувшись лишь легким ногам своим. Сначала они несли его с горы, потом понесли на гору, все выше, выше... Вдруг какой-то камень сорвался и покатился с гулом вниз, далеко-далеко... Одно мгновение, один шаг, полшага — и Ю. покатился бы следом, увеличив ежегодную рутинную статистику смертности на Черной горе. Он откинулся назад, запоздало ухватился руками за ствол дерева. Болело сердце, болел желудок. Боли были схваткообразные: возьмет — отпустит... Но с каждым разом брало сильнее. Томящие ощущения в полости живота превратились в силу, давящую снизу, и хлынуло, потекло само собой. Рвало долго, мучительно, сначала шампанским, запах был прокисший, гнилой, потом горло, рот, губы обожгла нутряная горечь. «Желчь, — подумал Ю., — шампанское с желчью... В евангельские времена вино с желчью, пахучий напиток, обычно давали осужденным на распятие, чтоб их усыпить и сделать их менее чувствительными к мукам и оскорблениям... Богатые либеральные дамы специально благотворительствовали, приносили на место распятия сосуда вина, смешанного с желчью. Одни убивали и издевались, другие успокаивали... Такие, как мой Покровитель, как прочие с человеческим лицом... Но Иисус

Христос не принял обманного утешения, он отказался пить. А мы пьем».

Уже рассвело. От рассветного тумана потягивало свежим холодком, но чувствовалось по светлеющему небу, что день сегодня будет теплый и пляжный. «Какой-то средневековый религиозный философ, — думал Ю., — предупреждал: остерегайтесь мыслей своих, ибо мысли ваши слышны на небе. Доходят ли до неба наши мысли или их перехватывают здесь, как перехватывают письма, отчего мы своих мыслей должны опасаться еще более».

Опьянение не минуло, но после того, как Ю. вырвало шампанским с желчью, голове и животу стало легче, ноги же, наоборот, отяжелели. Ю. сел на скалистый выступ. От ночной тоски лоб был холоден, потен. Ю. вынул платок и стер пот. Какая-то рассветная птица кричала в кустах с однообразным переливом. Послышалось, что она кричит: «Нетрезвый — фью-фью-фью, нетрезвый — фью-фью-фью!»

Море внизу было тихо, манило к себе уставшее тело, звало быстрее окунуться в голубизну, на которой играли блики утреннего света. Воздух вокруг также все более голубел. «Мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить», — вспомнилось из Бальмонта. «Нетрезвый — фью-фью-фью, нетрезвый — фью-фью-фью!» — без устали кричала птица.

На море, как в степи, горизонт виден далеко, но, наблюдаемый с горы, он кажется вообще в первобытной бесконечности, и над этой бесконечностью всходило доисторическое светило, первобытное, огненное божество, которое обжигало лицо косыми своими лучами. Хотелось пить.

*Западный Берлин,  
август 1986 года*



*Г. ПОМЕРАНЦ*

---

## **Красная книга народов**

(Заметки 1987—1989 гг.)

---

В 1953 году, выйдя из лагеря по амнистии, я начал работать учителем в станице Шкуринской бывшего Кубанского казачьего войска.

Сразу очень удивило, что здешние школьники восьмого класса почти не говорят по-русски. Уроки они отвечали по учебнику наизусть. А за пределами текста с трудом подбирали слова. Кубанцы — потомки запорожцев, их родной язык — украинский, но за семь лет можно было чему-то научиться...

Я решил обойти родителей самых безъязыких учеников, чтобы понять, в чем дело. Начал случайно с девочки, у которой была русская фамилия. Мать ответила мне на нелитературном, с какой-то диалектной примесью, но бесспорно русском языке. С явным удовольствием ответила, с улыбкой. «Так вы русская?». — «Да, мы из-под Воронежа. Нас переселили в 1933 году вместо вымерших с голоду»\*. — «Отчего же вы не выучили дочку своему родному языку?» — «Она по-русски говорила — так ей проходу не было! Били смертным боем!»

Оказалось, что мальчишки лет пяти (которых и в милицию не потащишь) заставили детей переселенцев «балакать» по-местному. В школе это продолжалось. За каждое русское слово на перемене — по зубам. Отвечать по-русски разрешалось только на уроке, учителю. Запрет снимался с восьмого класса. Ученики старших классов —

---

\* В 1932 году станция Шкуринская была на черной доске: не выполнила план хлебозаготовок. Отбирали и последние горстки зерна, и полстанции вымерло.



отрезанный ломоть, они собирались в город, учиться, и им надо говорить на языке города. Действительно, к десятому классу мои казачата уже сносно освоили разговорный русский.

Любопытно, что по национальности все жители станицы себя считали русскими (но казаками). Единственная украинка (по документам) была Людмила Осадчая, дочь учителя-украинца, приглашенного в 1927 году проводить украинизацию. Тогда было постановление: всюду, где есть значительные группы национальных меньшинств, учить их на родном языке. С 1927 по 1933 год кубанских казаков учили по-украински. Потом украинизацию отменили. Тогда и началось сопротивление.

Я не думаю, что сопротивление было сознательно организовано взрослыми. Любую организацию выбили бы в 36—39-м годах или в 43—44-м (во время ликвидации неблагонадежных, встречавших немцев хлебом и солью). Нет, никакой организации не было. Было казачье самосознание, которое дети чувствовали, и детская самодеятельность. Дети сохранили господство украинского говора в кубанских станицах; дети же сохраняли традиции юдофобства в те годы, когда юдофобство взрослых преследовалось...

Я «пустил корни» в русскую культуру ребенком. Антисемитизм в то время казался умирающим пережитком, и никто не заставлял меня забывать еврейский язык. Если бы заставляли, непременно бы заартачился. И чем сильнее нажим, тем туже натягивалась бы пружина...

Можно представить себе, какое пламя горит в душе крымских татар! Все обвинения, выдвинутые против них в печально памятном заявлении ТАСС (1987 г.), — это обвинения против отдельных лиц. Такие же (если не более серьезные) обвинения можно выдвинуть против отдельных украинцев. Разве не было дивизии СС «Галичина»? Не было украинской охраны в гитлеровских лагерях уничтожения? Не было упорного сопротивления советским войскам на западе Украины?

А русские не сотрудничали с немцами? В 1949 году в камере № 16, на Малой Лубянке, я встретился с двумя хиви (сокращение от *Hilfswillige* — добровольные помощники). Читатель, вероятно, впервые увидел хиви в фильме «Проверка на дорогах». Между тем по официальному докладу, представленному Гиммлеру в 1945 году, общее число этих «помощников», перешедших на сторону немцев и служивших в вермахте, достигало 800 тысяч. Учитывая потери в 1942—1944 годах, можно предположить, что сперва их было больше, около миллиона. Миллион человек в Отечественную войну изменили своему Отечеству? Из них явно не одна сотня тысяч — великороссы. Как это получилось?

В Бутырках я играл в шашки с бывшим учителем, заведовавшим русской школой на оккупированной территории. Как-то, задержав ход, я спросил его, почему он так поступил. Партнер, взглянув на меня своими серо-стальными глазами, ответил: «Я был свидетелем коллективизации. Простить это не мог». Кивнув, я двинул шашку вперед.

Думаю, что миллионы крестьян не простили Сталину коллективизации. И те, кто попал в плен, при случае могли поднять оружие против Сталина. Конечно, и голод прижимал (как кормили пленных — известно). Но, убежден, дело не только в голоде...

Мужикоборец не мог не мстить мужикам за зло, которое он же им причинил, и охотно отправил бы в ссылку всю Украину. Хрущев говорил правду, рассказывая, как Сталин бранил украинцев. Но угроза поголовной высылки нависла только над малыми народами.

В России, на Украине возможен стратоцид — истребление социального слоя: ликвидация кулачества как класса, высылка дворян из Ленинграда и т. п. А «всю Фонтанку не пересажаешь». Охраны не хватит. Вот и обрушилась кара на калмыков, чеченцев, карачаевцев, на крымских татар. Они были выбраны козлами отпущения за общий грех.

Потом калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев вернули. Но не вернули немцев Поволжья и крымских татар. Немцев сослали особо, еще в 1941-м, за укрывательство шпионов и диверсантов. Сколько таких случаев было реально зафиксировано? В какой мере можно доверять сталинской юстиции, ссылавшей по статье ПШ (подозрение в шпионаже)? По какой причине республика не восстанавливается сейчас, через полвека после войны? Обо всем этом ничего вразумительного пока не сказано. И как говорил один немец (Дильтей), «недоказуемое непроверяемо».

С крымскими татарами дело хуже. Обвинения против них доказывались, потом опровергались, потом (в том заявлении ТАСС 1987 г.) опровергались и одновременно снова доказывались. И вышла совершенная путаница. Да, эта земля была отобрана неправильно. Но нас много, а их мало. И поэтому общие интересы народов Союза (то есть больших народов, практически и составляющих большинство) стоят выше мелких интересов крымских татар.

Какие же общие интересы? Греться на крымском солнышке мне лично крымские татары несколько не мешали. И от других отдыхающих в 1937 году, когда впервые заехал в Крым, про «ущемление интересов» тоже не слышал.

Чем вообще способна помешать курортнику автономная республика, входящая в состав союзной (РСФСР или СССР)? Практически в этом случае могут быть задеты интересы только нескольких десятков тысяч людей, живущих в старых татарских домах. Этот частный спор можно было бы решить за счет нового строительства. Вот, пожалуй, с позиций здравого смысла, и вся «высокая политика».

Но допустим, есть еще какие-то нам неизвестные общие интересы, и пусть даже очень важные. Все равно право народа на свою землю выше желания других народов пользоваться его землей — для отдыха, для добычи нефти — для чего угодно. Иначе что останется от принципа федерации, если Москва вправе выгнать с земли целый народ, вошедший в федерацию? И что получится, если перенести идеи комиссии по делам крымских татар 1987 года в международное

право? Почему бы тогда американцам просто-напросто не оккупировать эмираты Персидского залива?

Впрочем, не все заключения той комиссии нелепы. Есть там и разумная идея: обеспечить народу, попавшему в диаспору\*, возможность сохранять свою национальную культуру. Действительно, не все изгнанники возвращаются на родину, часть остается на месте переселения, но сохраняет в течение нескольких поколений свою самобытность. Хорошо, что это признано. Почему, однако, право на национальную культуру в диаспоре — особая привилегия крымских татар (и притом взамен Крыма, а не вместе с Крымом)? Почему такие же возможности не предоставить и другим распыленным группам?

\* \* \*

Возвращаясь сейчас, в 1989 году, к тексту, написанному осенью 1987 года, хочется сказать, что эта проблема до сих пор решается как-то очень вяло и совершенно безо всякого конституционного обеспечения. В Конституции у нас народы не представлены. Только административно-территориальные единицы.

Сталин теоретически доказал, что евреи — не нация. Потом он практически упразднил несколько других национальностей — тех же крымских татар и немцев Поволжья. Народ в нашей Конституции — это группа нулей, приобретающих значение после административно-территориальной единицы. Если нет единицы, то и народа, при выборах в Совет Национальностей, как бы и нет. Поголовная ссылка немцев и крымских татар признана ошибкой, но их место в Совете Национальностей не восстановлено. Таким образом, для борьбы за восстановление своей единицы им оставлена только уличная демократия, а уличная демократия пресекается иными указами. Как выйти из этого порочного круга?

Вне «своей» административной единицы живут у нас в стране 55 миллионов человек. При выборах в Совет Национальностей они могут голосовать только за тот народ, среди которого рассеяны: крымские татары — за узбеков, казанские (живущие в Москве) — за русских. Было бы очень просто голосовать по национальным куриям и сделать Совет Национальностей представительством народов. Но такое решение противоречит духу административно-командной системы.

В 20-е годы не было Совета Национальностей, но интересы национальностей учитывались гораздо лучше. Не было Биробиджана, но было пять еврейских театров. Были какие-то культурные очаги у ассирийцев. Я уже писал, что в кубанских станицах с 1927 года

---

\* Диаспора — от греч. diaspora — рассеяние. Этим словом изначально обозначалась совокупность евреев, расселившихся вне Палестины. Затем термин получил более широкое употребление — стал применяться к любым этническим группам, живущим вне «исторической родины», среди других народов на положении национально-культурного меньшинства.

школьное обучение проводилось на украинском языке. Все это было упразднено в основном после принятия «великого закона», как писал (а точнее, пел) Джамбул, — «сталинской» конституции. Упразднено при почтительном одобрении Совета Национальностей, в котором народы не представлены.

Административно-командная «мудрость» доходит до того, что еврейская театральная труппа, сформированная недавно в Москве, числится за Биробиджаном. Так и на вывеске, украшающей Таганскую площадь: «Отдел культуры Биробиджанской автономной области. Еврейский музыкально-драматический театр. Репетиционная база». По административной логике театр, обслуживающий население Дальнего Востока, репетирует свои постановки на Таганке и только попутно, мимоходом, так сказать, между делом показывает кое-что московской публике. Народ признается только тогда и постольку, поскольку у него есть своя бюрократия (хотя и биробиджанская). Если же бюрократии нет, то и народа нет. Стало быть, выведенный нами раньше «закон» можно переформулировать еще и по-другому. Народ — группа нулей, имеющая значение только в том случае, если стоит после начальственной единицы. Какая деградация национальной политики сравнительно с 20-ми годами! Не говоря уж о национально-культурной автономии за рубежом...

Следующий толчок моим размышлениям дало интервью с Г. Х. Поповым, опубликованное в «Знамени» за январь 1988 года. Я тотчас на него откликнулся, послал в редакцию письмо Гавриилу Харитоновичу (на которое он, впрочем, не ответил) и опубликовал свой отклик в неформальном издании (за что меня в сентябре 1988 г. выбрала «Вечерняя Москва»).

«Интервью замечательное, — писал я тогда. — Я очень рад, что мнение ученого совпало с моими заметками, неоднократно опубликованными за рубежом, в двух важных пунктах:

1) «Наша страна просто не может нормально экономически развиваться, не решая возникающие в процессе развития национальные проблемы» («Знамя», 1988, № 1, с. 197).

2) «Это не сводится к проблеме национальных республик и областей. Распыленные этнические группы тоже должны получить национально-культурную автономию» (с. 200)».

Немало интересных соображений высказывает Г. Х. Попов и по поводу «Памяти», в связи со статьей Е. Лосото. И вдруг ужасно резануло (с. 195) то, что автор признает право бюрократии (и царской, и советской) пресекать попытки «толкать ее под руку». Может быть, я чего-то не понял? Судите сами:

«...Таким "толканьем под руку" выглядят иногда и внешние события, — рассуждает интервьюер Н. Аджубей. — Реформе 1861 года в значительной степени "мешало" восстание в Польше; некоторые проекты либерализации общества были "сняты" убийством Александра II. Иногда это наводит на размышления о том, что кто-то сознательно "подталкивал" историю "под руку"».

Г. Х. Попов эту идею, кажется, охотно подхватывает:

«И в наше время было много похожего. Вскоре после XX съезда

КПСС возникла необходимость подавить венгерскую контрреволюцию, и это оказалось в интересах сторонников «твердости». На судьбу реформы 1965 года во многом повлияли чешские события. Любимой темой всех противников реформы после 1968 года стало: вот-де до чего доводят преобразования! Конечно, затронутая проблема — предмет для серьезного, особого разговора. Думаю, когда активисты «Памяти» сознательно обостряют национальный вопрос, когда татары или евреи устраивают демонстрации в Москве, а кто-то «подогревает» молодежь в Прибалтике, — это все тоже «толкание под руку». Кому-то — и за рубежом, и у нас — выгодно оживлять «толкачей». А потом поднимать на удивление синхронизированные крики. На Западе кричат: «Смотрите! Нет в СССР перестройки! Есть прежние ограничения свобод!» У нас кричат: «Смотрите! До чего доводит попустительство!» А вывод — общий: оставьте все по-прежнему, оставьте нас на своих местах».

Трудно поверить, что все это написал человек, который только что утвердил право всякого народа на свою память. Н. Аджубей осторожно взял в кавычки слово «мешало». Он понимает, что есть польская точка зрения, по которой нельзя мерить героику национальной борьбы удобствами и неудобствами петербургского правительственного либерализма. А в ответе Г. Х. Попова совершенно спокойно утверждается необходимость наводить свои порядки в чужом доме\*. Перед кем возникла необходимость свергнуть правительство Имре Надя? Перед народами России? Или перед группировкой начальников, которая два-три года спустя беславно сошла со сцены? Перед Булганиным, Ворошиловым, Кагановичем, Маленковым, Молотовым... Вот кто «толкал под руку» Хрущева! И еще: может быть, его «толкали под руку» люди, не способные отделить имперские интересы от национальных и любой ценой готовые сохранить военные базы в центре Европы. А вовсе не венгры. Так же как не Пастернак «толкал под руку» Хрущева, когда затевалось «дело Пастернака». Если венгры сами виноваты в интервенции, то и Пастернак сам виноват: нечего было ему печатать «Доктора Живаго» у Фельтринелли\*\*...

Прошло несколько лет, и Янош Кадар, воспользовавшись изменившейся после XXII съезда обстановкой, фактически вернулся к той внутренней политике, которую пытался проводить Имре Надь, и Венгрия стала нашим экономическим образцом, оазисом надежды в СЭВ. Не в последнюю очередь — благодаря политическим сдвигам,

---

\* Хотя, как сообщали авторитетные западные средства информации, к началу интервенции порядок в Будапеште был полностью восстановлен, именно в связи с этим, рассказывали мне венгры, министр обороны Пал Малатер был приглашен в штаб советского командования для переговоров об эвакуации советских войск. Однако здесь на него наставили автоматы, взяли в плен (а потом вместе с Имре Надем казнили; дата сообщения об этом — 17 июня 1958 г.); и без объявления войны, без всякой провокации с венгерской стороны советские войска обрушились на ничего не ожидавших будапештцев. Кому это понадобилось?

\*\* Эта аналогия может показаться странной, но мне она представляется совершенно естественной. Интервенция в Венгрии, травля Пастернака и введение смертной казни за экономические преступления — три поступка, которые я никогда не смогу простить Хрущеву, хотя признаю его заслуги.

о которых советская пресса умалчивала (каждый венгр может уехать за границу, когда ему вздумается; в парламенте есть легальная оппозиция и т. п.).

Неужели от фраз о венгерской контрреволюции не страдает русская совесть? Неужели забыто решение Генеральной Ассамблеи, осудившее «советскую интервенцию»?

Как можно ставить рядом шовинистические выходыки «Памяти» и борьбу обездоленных за элементарные человеческие права? Почему мирная демонстрация крымских татар — помеха перестройке? Кому мешает честная борьба за честное соблюдение Хельсинкских соглашений? Может, их подписали не для того, чтобы выполнять, но все-таки подписали. Что это за перестройка и демократия, если им мешают такая демонстрация и такие документы? Ведь даже Е. Лосото, статьи которой не претендуют на глубинный научный анализ, понимает, что желание евреев эмигрировать — следствие антисемитизма. А уже стало трюизмом, что бороться надо не со следствием, а с причиной.

Неужели народы обязаны сидеть смиренно, не шевелиться и ждать, пока кто-то за них все решит? Неужели не ясно, что каждый шаг действительно перестройки и демократизации непременно будет связан с попытками народов, свернутых в бараний рог, вывернуться из этого неудобного положения? Неужели при каждой такой попытке русская интеллигенция будет отступать на заранее подготовленные позиции «Русского вестника» и петь хвалы деятелям типа Муравьева-Вешателя?

Любопытно, кто «подогревал» знакомых мне кубанских казаков сопротивляться русификации школы? Повторяю еще раз: я прибыл в станицу Шкуринскую в 1953 году, до хрущевской либерализации, и застал хорошо сложившуюся систему этнического сопротивления, выдержавшую самые твердые сталинские порядки. Я априорно не испытывал особо теплых чувств к казачеству, но роль учителя-русификатора, выпавшая на мою долю, была отнюдь не однозначной, ибо я не мог не восхищаться стойкостью, с которой кубанские станицы боролись за свою самобытность, нашли возможность хоть в чем-то противостоять всеильному диктату Сталина.

Я не собираюсь эмигрировать, но я понимаю отказников, борющихся за право на выезд. Они не восприняли всерьез нашу перестройку и не хотят ставить в зависимость от ее успехов свое личное будущее. И все же такая позиция, на мой взгляд, ошибочна, потому что от судьбы России зависит судьба всего мира. Но как не понять людей, которым надоело терпеть? Которым дают пинка под зад, а дверь оставляют закрытой?

Интервью Г. Х. Попова — первый серьезный подступ к национальному вопросу, подступ человека умного, образованного и доброжелательного. И, видимо, не личная вина Гавриила Харитоновича, а порок всей нашей советской культуры, что интернациональное совершенно перепуталось с имперским — до неразличимости этих понятий и подходов. «Анализируя прошлое, мы должны смотреть на него с позиций интернационализма», — пишет Г. Х. По-

пов. — Искать в первую очередь то, что в ходе контактов обогащало народы, сближало их, подымало, а не то, что разъединяло и ссорило. Этот урок я бы назвал и уроком национальной терпимости» (с. 201). Прекрасно сказано! Однако несколько выше читаем, что нам «есть на что опереться. Прежде всего — на историческую русскую традицию. Россия как многонациональное государство не могла не выработать достаточно разнообразных методов решения национальных проблем, и методы эти заслуживают тщательного анализа. Дореволюционная Россия была, конечно, тюрьмой народов, но она была тюрьмой народов. А что касается господствующих классов этих народов, то было множество систем их «кормления», стабилизации, сохранения и т. д.» (с. 198). Если это положительный опыт, заслуживающий «тщательного анализа», то чего же хочет автор? Действительно интернационального решения, федерации свободных народов? Или Российской империи, подкрашенной интернационализмом? Боюсь, этот вопрос в душе автора (и не только его) не решен и даже отчетливо не поставлен.

Как это ни грустно, но, видимо, не только Г. Х. Попов находит в движениях подавленных этнических групп одни помехи большому имперскому делу. Такая слепота способна довести протестующих до отчаяния, а чувство одиночества и заброшенности не раз уже толкало на крайности. Если русская интеллигенция не поймет, что всякая борьба за народное право — дело ее чести и совести (каким движение крымских татар стало для Григоренко и Костерина), то она заслуживает новых брежневых и суловых.

\* \* \*

В феврале 1988 года я выступил в клубе «Московское время» и говорил о двух возможных способах преобразования империи: в подлинную федерацию (как в Швейцарии) или конфедерацию (как ЕЭС). В первом случае сохраняется сильное центральное правительство, но функции его строго ограничены. Отдельные области живут по своим собственным законам — тульским и рязанским, как швейцарские кантоны, как американские штаты. Этот общий порядок обеспечивает и национальную автономию. Господствует дух уважения ко всяким меньшинствам — идейным, конфессиональным, национальным. Во втором случае суверенитет передается союзным республикам, центр сохраняет только координационное значение, без принудительной власти. Вместо единой армии — объединенное командование... Задним числом я все больше ощущаю недостатки этой альтернативы. Проблемы национальных меньшинств переносятся внутрь республик, и не совсем ясно, выигрывают ли от этого малые этнические группы. Выигрывают евреи в Латвии. Проигрывают армяне в Азербайджане, таджики в Бухаре... Впрочем, тогда еще не начались события в Карабахе и не обрисовались особенности азербайджанского этноса.

Доклад вызвал ряд вопросов и выступлений с мест. Запомнились два высказывания слушателей. Первый начал с идентификации:

«Я — татарин» — и задал вопрос: «Зачем федерация?» Я что-то ответил о ценности общих культурных традиций Евразии, общих ценностях свободы и достоинства личности. Второй, русский, недоумевал: зачем обсуждать проблемы, которых практически нет? Структура Союза, по его мнению, ни в каких коренных реформах не нуждается. [Социологический опрос, опубликованный в бюллетене «Век XX и мир» (1989, № 3), свидетельствует, что таково до сих пор убеждение 75 процентов жителей РСФСР.]

Дня через три или четыре я узнал о решении депутатов НКАО (февраль 1989 г.) выйти из состава Азербайджана. Я испытал минутное удовлетворение человека, имеющего возможность сказать: «Вот видите!» Но потом пожалел о своем легкомыслии и много ночей не спал.

Цепной процесс на западе и на юге страны то радовал (демократическим развитием), то пугал. Иногда мне хотелось закричать: «Не торопитесь! Дайте России время освободиться от имперских привычек! Иначе будет как в октябре 1956-го, в августе 1968 года». Есть какая-то средняя линия между терпеливым ожиданием решений свыше и попытками сразу получить все и даже больше того, что нужно (если отбросить прошлые обиды и смотреть не назад, а вперед, на общие интересы союза свободных народов). Я убежден, что только демократическая Россия сможет найти новое, демократическое сосуществование с другими народами. А русские скалозубы, получив полномочия навести порядок, растопчут и ваши, и наши надежды. Поэтому я хотел бы движений, подталкивающих Россию, а не отталкивающих ее; движений, в которых национальные потребности найдут свое место, но (если можно так сказать) в общем демократическом строю...

Впрочем, несовпадение темпов демократического развития в центре, на западе и на востоке страны — дело естественное (хотя и тревожное). Ужаснуло другое: волна погромов в Азербайджане. И еще больше, чем сами погромы, — какая-то вялая, заторможенная реакция Москвы. Реакция на моральную катастрофу — не меньшую, чем Чернобыль (который тоже пытались замолчать).

Погромы — спутник всех прежних революционных сдвигов в России. И в 1905—1907 годах, и в 1918—1921-х. Но советская власть прекратила погромы. Этой заслуги у ленинского периода не отнять. Откуда же снова то же? Как в расшатанной царской империи? Тот же общий склероз? Но в Алма-Ате ответные действия были решительные и санкции серьезные. 3000 студентов — участников погрома — были исключены из университета\*. А после Сумгаита...

Никакого понимания, что требования армян, поддержанные забастовкой и демонстрацией, — это нормальные проявления протеста в демократическом обществе и власть обязана эту норму уважать, а погром — катастрофа, крушение цивилизации. Если бы такое сознание было, если бы после Сумгаита были приспущены траурные

---

\* Национальный вопрос сегодня // Дружба народов, 1988, № 12.



флаги по всей стране, если бы главные виновники кампании, развязанной азербайджанской прессой, предстали перед судом — положение, скорее всего, удалось бы стабилизировать. Но господствовало раздражение армянами, не вовремя выступившими со своим карабахским вопросом (для таких вопросов никогда нет времени), и все делалось так, чтобы уравнять стороны, разрушить контроль интеллигенции над армянской толпой, довести армян до эксцессов, подобных азербайджанским. И только после этого найти имперское решение.

После одной, не самой худшей статьи в не самой худшей газете я почувствовал себя вынужденным что-то еще написать. К сожалению, за прошедшее время (с октября 1988 г.) то, что я набросал, не устарело. Прибавилась новая вспышка абхазско-грузинского антагонизма. Прибавились события в Тбилиси, где толпа не была погромной, а власти реагировали так, словно произошло нечто во сто раз худшее, чем Сумгаит... Вот эти (к сожалению, неустаревшие) странички.

\* \* \*

Я не армянин и не азербайджанец. Но я чувствую как свой собственный позор, что наше такое сильное государство не смогло предотвратить резню и что мои сограждане-азербайджанцы резали моих сограждан-армян, а центральная пресса ставит тех, кого режут, и тех, кто режет, на один уровень, даже как будто с предпочтением относится ко вторым, — потому что те, кого резали, добивались изменений, а государство, на сегодняшний день, не склонно менять национально-территориальные отношения. Я думаю, что это ошибка, способная все погубить: нельзя стоять сразу на двух эскалаторах, одном — движущемся и другом — неподвижном...

Мне кажется, что спор о Нагорном Карабахе ведется в неадекватных терминах. Подчеркивается, что нынешнее деление на союзные республики, автономные республики, автономные области и автономные округа было инициативой Сталина и вызвало огорчение у Ленина. А разве имеет значение, что несколько тысяч лет назад в Карабахе жили не армяне (хотя, впрочем, и не азербайджанцы)? Все это не столь уж важно, суть конфликта в другом: маленький народ не хочет подчиниться большому народу, а большой считает его территорию своей по праву завоевателя. Какое право сильнее? Какое право принадлежит сегодняшнему и завтрашнему дню?

Наша Конституция проводит различие между номинально суверенными союзными республиками и явно несuverенными автономными республиками, областями и округами, не имеющими права на отделение. Разница, на первый взгляд, чисто словесная, потому что всем правит Коммунистическая партия Советского Союза, а она не признает за коммунистами Грузии или Эстонии права на неподчинение решениям Москвы и в случае необходимости перетряхивает кадры. Не нужно углубляться в историю: совсем недавно ликвидация рашидовщины и кунаевщины была проведена в таких формах, что

в Узбекистане возникло глухое недовольство, а в Алма-Ате — открытый бунт. Тем не менее различие «рангов самостоятельности» вполне реально. Оно давало и дает большие и меньшие возможности для развития национальной культуры. Автономная Татария имеет меньше возможностей, чем союзная Туркмения. Почему? Потому, что у татар не было сил справиться с большими возможностями, освоить их? Ничуть. Потому, что Туркмения граничит с Ираном, а Татария в центре России? И это не все. Казахстан и Киргизия до 1937 года были автономными республиками, не союзными. Хотя подходящая граница есть (с Китаем). Помню, что каждый раз при взгляде на карту меня поражало огромное пятно, занятое тогда автономным Казахстаном. Туда влезла бы Украина вместе с Белоруссией до присоединения западных областей. И все-таки — лишь автономная республика. Потому что на земле казахов и киргизов еще до революции поселились русские и украинские крестьяне и автономия (в рамках РСФСР) страховала русских переселенцев от возможных притеснений. В Туркмении русских крестьян не было. Потому — союзная.

В 1937 году, в обстановке полного произвола, когда ни одно право не было реальным, Сталин пожаловал Казахстан и Киргизию союзными республиками, — одновременно усиленно продолжая колонизацию Казахстана, — а Татарии и Башкирии он такого подарка не сделал. Почему-то не захотел. Хотя отсутствие границы с иностранными государствами практически не имело значения. Захотел бы Сталин — стали бы и татары союзными.

Если говорить о заслугах при защите отечества, то во время войны татары и башкиры были нашими лучшими пехотинцами. Это мои личные наблюдения, подтвержденные статистикой наградений. По общему числу награжденных татары и башкиры уступали евреям (среди которых было много офицеров; офицеру легче получить награду); но по числу Героев Советского Союза отодвинули евреев на шестое место, заняв четвертое и пятое (первые три принадлежали большим славянским народам — русским, украинцам и белорусам)\*.

Сталин поблагодарил только русских, на татар и башкир не обратил внимания, а евреев с 1943 года понемногу начал травить. То и другое показалось ему политически выгодным. Так же как поголовная ссылка народов, будто бы сотрудничавших с немцами больше других. Что это вздор, показывает решение не трогать кабардинцев — из-за приветствия народу Кабарды, опубликованного в сочинениях Сталина (неудобно было менять текст). Еще больший вздор, что в число штрафных народов постепенно включились евреи, которые с немцами никак не могли сотрудничать и не сотрудничали. Просто началась эпоха этнических репрессий. Классовые враги были ликвидированы, подошел черед этнических врагов. А малые народы, как уже отмечалось, в качестве объекта травли удобнее больших.

---

\* Эти данные, опубликованные в «Блокноте агитатора» сразу после войны, ни разу не перепечатывались. В пересчете на миллион населения они становятся скандальным опровержением стереотипов послевоенного шовинизма.

Еще в 1934 году, почти сразу вслед за ликвидацией кулачества, главной опасностью Сталин назвал местный национализм. Ради борьбы с ним повсеместно и решительно внедрялся русский административный язык (чисто формально схожий с языком Пушкина, Достоевского и Толстого; русским духом от него не пахло). Коренные русские области по-прежнему разорялись неудачными социальными экспериментами, а численность русского народа (основной военной опоры империи) искусственно поднялась за счет ассимиляции.

Еще с той поры тлеет по всем «окраинам» бикфордов шнур, давший ныне взрыв в Закавказье. Решительной перестройки требует вся система национальных отношений. В каком направлении? Может быть, опять же стоит оглянуться на опыт Швейцарии, где несколько веков мирно живут и сотрудничают четыре языковые группы, два вероисповедания. В чем швейцарский секрет? Почему в Бельгии не исчезает напряженность между фламандцами и валлонами, а в Швейцарии напряженности нет? Думаю, этот секрет — в совершенной автономии кантонов и этнически нейтральном правительстве. Сотни лет сохраняется маленький кантон, в котором говорят на ретороманском языке. Ретороманские швейцарцы изучают другие языки федерации — немецкий, французский, но свой экзотический язык они тоже берегут. У нас их давно бы ассимилировали. Хотя зачем? Действительно ли прогресс этого требует? Во всяком случае, прогрессу Швейцарии автономия ретороманцев не помешала, и нет там забастовок против ассимиляции. Если взглянуть на проблему НКАО глазами швейцарцев, они удивятся и спросят: почему 180 тысяч человек не могут образовать свой кантон и подчиниться прямо федеральному правительству? Вот у нас был кантон, где протестанты и католики не ладили друг с другом, так они разделились на два кантона, и все. Федеральное правительство не возражало, и конституция не препятствовала. Почему бы не разделиться христианам и мусульманам? Почему одни вправе командовать другими?

Когда ассимилируются отдельные люди, культура богатеет, приобретает новые черты. Но когда ассимилируются целые народы, человечество беднеет. К сожалению, есть совсем малые народы, вернее, племена, которые вряд ли способны шагнуть в ногу с современной цивилизацией. Их исчезновение почти неизбежно. Но и это потеря, а не приобретение.

Редкие цветы заносят в Красную книгу. Ландыш запрещено рвать: этому виду грозит исчезновение. Но неужели своеобразная группа армян, несколько отличающихся от армян Еревана, менее ценна, чем трава полевая, которую завтра скосят, высушат и, может быть, сожгут? Борьба вылилась в спор союзных республик, потому что только союзные республики имеют голос, только они могут пригрозить выходом из Союза. На самом деле это не карабахский вопрос, а всесоюзный вопрос народов, остающихся без суверенитета. Это вопрос народов, сосланных и возвращенных (потерявших половину по дороге), и не возвращенных вовсе (как немцы Поволжья и крымские татары), и давно расплывшихся между другими народами (а потому ищущих каких-то иных прав, какой-то национально-куль-

турной автономии), и не расплывшихся, но практически лишенных власти над своей собственной землей. Это вопрос, касающийся доброй половины населения нашей страны, а в конечном счете — всей страны. Потому что миллионы русских живут в союзных и автономных республиках и хотят жить мирно, не доводя коренных жителей до возмущения.

Коммунальная квартира, в которой ответственный съемщик тиранит жильцов послабее, — отнюдь не идеал. Каждый народ вправе рассчитывать на свое независимое жилье в нашем общем доме. Однако ни сегодня, ни завтра нельзя удовлетворительно решить все вопросы. Но если есть возможность максимальной автономии народа, возможность непосредственного подчинения этнически нейтральному правительству, минуя национальную иерархию, то эта возможность должна быть использована. Подчинение одного народа другому — всегда зло (даже если это зло необходимо). И когда мыслимо избежать зло, надо его избегать. Каждый народ должен быть суверенном своей культуры. Это — принцип. Это — цель. А средства... Если пожелать, и средства найдутся.

Главное, надо понять, что правительство, сознательно стремящееся к ассимиляции народов, совершает преступление перед человечеством и готовит развал государства. Если не будет политики максимального благоприятствования народам, национальное чувство станет разрушительной силой.

Между тем в свое время в Закавказье было этнически нейтральное правительство. До 1937 года суверенитетом обладали не Азербайджан, Армения и Грузия сами по себе, а только их союз — ЗСФСР. Это значило, что в случае спора между Степанакертом и Баку надо было жаловаться не в Москву, а поближе — в Тбилиси, интернациональному правительству, в которое входили и азербайджанцы, и армяне, и грузины.

Потом все это было ликвидировано. Одновременно (точнее, несколько раньше) прекращена была украинизация городов Украины (традиционно русских по своему языку); народный комиссар Скрыпник, несогласный с этим, мог протестовать только одним способом: застрелился. Латинизированные алфавиты восточных народов были заменены кириллическими (чтобы легче было учить русский язык и труднее читать по-турецки). Протест против решений Москвы стал невозможен. «Местный национализм» подавлялся со сталинской беспощадностью.

Декоративный суверенитет Азербайджана и других республик ничего не значил в отношениях с Москвой, но очень много значил в отношениях Тбилиси — Сухуми, Баку — Степанакерт, в отношениях между узбеками и таджиками и т. п. Майор стоит навтыяжку перед генералом, но может чваниться перед сержантом.

Наконец, Сталин произнес свой знаменитый тост: «Спасибо русскому народу...». «Интернационал» уступил место новому гимну:

«Союз нерушимый республик свободных  
Сплотила навеки великая Русь...»

Первые же строки гимна логически несовместимы. Если республика свободна (то есть могут отделиться), то каким образом Русь могла их навеки сплотить? А если Русь их навеки сплотила, то что остается от свободы?

Вернувшись домой, Ходжа Насреддин не нашел ни крохи плова. «Где же плов?» — спросил он жену. «Кошка съела». — «Сколько его было?» — «Четыре фунта». Насреддин взял весы и взвесил кошку. Потянуло ровно на четыре фунта. «Если это плов, — спросил Насреддин, — то где же кошка? Если это кошка, где же плов?»

Плова не было. Интернационализм (переименованный в космополитизм) стал предметом травли. И если русских стали учить гордиться Дмитрием Донским, то почему татарам не гордиться Едигеем? Они попытались, но инициаторов сослали: нельзя гордиться победами над старшим братом. А гордиться победами над армянами можно? Или армянам — гордиться своими недолговечными победами, от одной резни до другой? И так постепенно разгорался костер... И если русским можно решать судьбы крымских татар и даже, признав их высылку несправедливой, оставлять эту несправедливость без изменений, потому что своя рубашка ближе к телу, — то почему азербайджанцам не выгнать армян из Карабаха? Великорусский шовинизм проложил дорогу местному шовинизму. Рыба гниет с головы.

Интернационализм 20-х годов, связанный с классовой ненавистью и нигилистическим отношением к культуре, невозможно, да и не нужно восстанавливать. Нужен какой-то новый вселенский дух. О пришествии его можно только молиться. Но задача разума — создать простор для духа, создать такие внешние условия, которые не подавляют дух. В том числе и государственно-административные структуры. Они могут быть созданы в рамках Совета Национальностей, если этот Совет станет представительством народов, а не административно-территориальных единиц. Его комиссии могут получить право инспекции национальных отношений и право законодательной инициативы, они могут обзавестись своей прессой и своей администрацией, способной взять в опеку ту или иную территорию, не дожидаясь взрыва — а тем более после взрыва.

Призрак имперского величия, которым Сталин поманил русский народ, ничего этому народу не дал, кроме нищеты и нравственного оскудения. Гигантские расходы на вооружение разоряли в первую очередь именно Россию (иные окраины изловчились и создали свою подпольную экономику). А спесь, упорно пропагандировавшаяся в течение многих лет, растлевала народный дух. Имперские претензии — одно из главных препятствий на пути перестройки.

Старшему брату стоит кое-чему поучиться у младшего. Политической культуре, которую демонстрирует Эстония. Способности к самоорганизации и чувству ответственности армянских митингов (поразительному, несмотря на срывы, раздутые центральной прессой). Наконец, бережному отношению к природе, умению добросовестно трудиться. Пора учиться, как жить без «социалистического подхода к прилавку». Учиться не стыдно. Стыдно оставаться неучем.

Есть, однако, проблемы, решению которых не у кого учиться, — неповторимые проблемы России, связанные с ее положением на стыке культурных миров. Здесь простор для творческого разума... Но его нет — и не может быть, пока нет открытой дискуссии, пока нет даже элементарной информации об этнических конфликтах. Я возвращаюсь к тому, с чего начал: нельзя закрывать, табуировать важнейшие темы. Нельзя рассчитывать на перестройку, сохраняя брежневский принцип: по линии наименьшего сопротивления у нас все обстоит благополучно.

Во всем этом есть еще своя этическая сторона. Моральное оправдание верховной власти — защита слабых от сильных. За последние годы сплошь и рядом делалось противоположное: защищались большие народы, чтоб их не беспокоили вопли малых (крымских татар, армян из Карабаха). К сожалению, эту политику поддерживает часть русского общественного мнения. Само выражение «малый народ» стало символом зла в модных теоретических построениях, и обдумываются средства, как от него избавиться. Ветер национальной обиды, раздуваемой в Москве, становится бурей во всех углах, где для обид гораздо больше оснований, и чувство обиды становится всеобщим.

Надо учиться трезвости. Наша страна надолго останется больной. Нет никаких быстрых и окончательных решений проклятых вопросов (в том числе национального). Те, кто предлагает хирургические меры, — шарлатаны. Больное сердце, больные легкие, больную печень не вырежешь. Остается возлагать надежды на терапию, которая облегчит течение болезни и создаст возможности для развития культуры и для воспитания следующих, менее больных поколений.

\* \* \*

События в Абхазии и Тбилиси напомнили нам, что великодержавная спесь бывает и не русской. Напротив, абхазцы хотели бы иметь своими сюзеренами русских, а не грузин, и армяне Карабаха — кого угодно, только не азербайджанцев. Но русские тоже бывают спесивы. И так как Россия занимает центральное положение в огромной империи, то прежде всего русским надо освобождаться от высокомерия к малых сим, а потом уже требовать этого от азербайджанцев.

Русский язык — общий язык Союза, русская культура (несмотря на русскую администрацию) сохранила свое обаяние. Это вызывает естественную ассимиляцию (Искандер, Айтматов пишут по-русски). Но вселенский дух вовсе не хочет этнической казармы, одетой в один и тот же языковой мундир. Национальное разнообразие — недостаток только с казарменной точки зрения. Европа обогнала великие древние культуры Азии благодаря своему многообразию открытых, перекликающихся друг с другом этнических организмов. Поэтому Европа в целом не знала застоя (отдельные страны на 100—200 лет попадали в эволюционный тупик, но потом их подхватывало общее движение). И мой идеал — перекличка республик,

идущих каждая своим путем, но связанных некоторой общей культурной традицией, которой, по-моему, еще не хватает, которая еще должна быть углублена и расширена. И объединяющая роль Москвы — столицы Союза — должна быть утверждена духовно, а не административно.

Укрепление позиций малых народов — не препятствие в этом процессе. И надо понять энтузиастов своей народности, спасающих гибнущий язык, гибнущий обычай. Даже если энтузиасты перебарщивают и создают чрезмерные барьеры живому общению. Думаю, что жизнь в конце концов ослабит эти барьеры, а пока — можно (и нужно) критиковать чрезмерности, но не запрещать. Запрещать — значит подливать масла в огонь национальной ненависти.

Имперский порядок, к которому мы привыкли, — это организованный беспорядок, нагромождение друг на друга противоречивых распоряжений и нарастание хаоса. Стремление наиболее организованных малых народов вычлениваться из этого хаоса не противоречит основному курсу перестройки — напротив, может стать указующим перстом и для русских областей. Национальная децентрализация — часть общей децентрализации, часть общего отказа от угрюм-бурчевской системы.

Да, но как быть с требованием учить эстонский язык? Мы к этому не привыкли... Позвольте напомнить еще раз: в 1921—1933 годах все городское население Украины училось говорить и писать по-украински. Впрочем, тут вряд ли можно и нужно действовать по стандарту. Языковую политику может правильнее всего определить каждый город, по воле большинства жителей.

Социолог Георгий Кузнецов писал мне, что в Альметьевске (Тат. АССР) продавщица отвечает покупателю на том языке, на котором он к ней обращается. Никакого организованного обучения русских татарскому языку нет, русские продавщицы учатся на слух — примерно так, как Лукашка (герой «Казиков» Льва Толстого) выучился языку горцев. Гончаров, проезжавший через Якутию после высадки с фрегата «Паллада», удивлялся охоте местных русских жителей говорить друг с другом по-якутски. Что мешает русским жителям Эстонии выучиться азам эстонского языка? Была бы охота.

Разумеется, нелепо требовать знания местного языка с временно-го рабочего, живущего в общежитии, или с солдата срочной службы. Но когда человек получает квартиру (то есть укореняется в стране), то совершенно естественно ожидать от него знакомства с языком и культурой республики, гражданином которой он стал. Это ему же не будет лишним. Второй (или третий) язык — еще один взгляд на мир, еще одна философия жизни (заложена в языке)...

*Май 1989 года*



Эта статья о событиях почти тридцатилетней давности и сегодня звучит актуально. Читая ее, понимаешь, что литература всегда является неотъемлемой частью общественной и политической жизни и активно в ней участвует. Она, конечно же, испытывает на себе самые разные влияния, добрые и злые, но от того, как решаются ее судьбы, зависит в немалой степени и дальнейшее развитие страны, ее курс в будущее. Историю, рассказанную В. Лакшиным, широкий читатель, особенно современный, не знает, а она, несомненно, представляет немалый интерес.

*Владимир ЛАКШИН*

---

## **«Один день...» и три года**

---

Уставая от чтения бесцветных, посредственных рукописей, Твардовский, бывало, говорил, что вся невидная миру, черновая, нудная редакторская работа, тысячи прочитанных и отброшенных безнадежных страниц — все получает оправдание и смысл, если журнал открывает хотя бы одно имя действительно выдающегося или хоть попросту значительного автора. Ради этого впрягаешься в эту лямку, по-бурлачьи тянешь журнальную баржу, утомляешься, досадуешь на убегающее время, отодвигая собственные труды, в терпеливой надежде дать миру нового Толстого, Достоевского или хотя бы Бунина, Куприна... И такой писатель появился.

Начало этой истории относится к декабрю 1961 года. В ту пору я еще не работал в «Новом мире», но часто печатался в нем и был, по старомодному выражению А. Т., одним из «ближайших сотруд-



ников» журнала. Как-то я заглянул в редакцию, Твардовский заметил меня в коридоре и поманил в свой кабинет. Обычно невозмутимое лицо его несло на себе печать торжественности и одновременно веселого лукавства. Он был немногословен. Спросил для порядка, как дела, помолчал немного, разминая сигарету и щура один глаз, как бы взвешивая, стоит ли доверить нечто важное собеседнику, и объявил, что прочел необыкновенную рукопись «Один день одного зэка». Он достал из ящика тонкую папку и передал мне, взяв слово, что я никому не скажу о прочитанном и через день-два верну рукопись. «Увидите, что это такое, а потом поговорим».

Я поинтересовался, кто автор. «Да я сам толком не знаю... Но живет не в Москве», — уклонился он. И вдруг стал рассуждать, как бы вне связи с темой разговора: «Все, что сделано доброго в литературе, сделано без разрешения начальства. Стоит только спросить «можно ли?», и тебе непременно запретят...» Я понял, что он прикидывает возможности публикации той самой вещи, какую я держал в руках.

Надо ли говорить, что, придя домой, я немедленно открыл папку, на заглавном листе которой было выведено «Щ-854», и до ночи читал, не отрываясь, пока не кончил. Откуда эта подлинность, и правда, и сила рассказа? Заснул я, помнится, лишь в четвертом часу ночи. Кто он такой, этот новый автор? Твардовский называл фамилию (на рукописи ее не было), да я мимо ушей пропустил. Кажется, Солженицын...

В конце декабря в Большом зале Дома литераторов шел очередной пленум Союза писателей. В кулуарах я увидел Твардовского: он стоял в плотном кольце теребивших его какими-то вопросами, просивших автограф, предлагавших рукописи для журнала людей. Его как раз атаковал лысоватый назойливый литератор, когда он заметил в толпе меня. «Простите, уж я твердо знаю, что вашу статью не следует печатать, не пытайтесь переубедить меня», — резко оборвал разговор Твардовский и, выйдя из круга, повлек меня на площадку лестницы. Ему не терпелось узнать мое мнение о прочитанной повести. Я поделился своими восторгам, он радостно кивал.

Но можно ли представить себе это напечатанным? Да и как это сделать? Лагерь, бараки, охрана, заключенные, муки тысяч ни в чем не повинных людей — и все, показанное без всякого сглаживания, привычных уступок неправде, — сюжет, казавшийся невозможным для литературы. Одно дело — политика, доклад Хрущева на XX съезде, речи, разоблачавшие злодеяния Сталина на недавнем XXII. Другое — живая сила художественного рассказа. Ведь автор повествовал о жесточайшей народной беде как о чем-то наглядном, повседневном, касающемся не одних наркомов и военачальников, но глубокой людской толщи: лагерь будто представлял в разрезе всю задвленную сталинским режимом страну. Как же это напечатать, как обойти цензурные запреты?

Первое, что пришло в голову, опубликовать прежде отрывок в «Известиях». Мой товарищ, работавший там, мог бы попробовать соблазнить Аджубея — азартный газетчик, он вряд ли оказался бы

равнодушным к такой сенсации, да к тому же зятю Хрущева позволено больше, чем другим. А тогда и в журнале, глядишь, пройдет легче.

— Да, я тоже об этом подумывал. Напечатать повесть ох как непросто, но я сделаю для этого все, — отозвался Твардовский.

Разговор в тот день мы продолжили, уйдя в перерыве с пленума. Сидя у меня дома на Страстном бульваре, Твардовский то и дело возвращался к мыслям о повести, которую с какой-то особой нежностью называл по имени героя — «Шухов». «А вы поняли, что в ее безыскусности — великое искусство? И как хороша сцена с кавторангом!»

Очень ухватился за сказанное мной, что слабый художник в такой теме нагнал бы мраку и было бы черное по черному, а тут выбран обыкновенный и даже счастливый день зэка, когда Шухову все удается. Развивая эту тему, Твардовский заметил, что лагерный быт в чем-то близок военному — казарме, землянке. И рассказал, как на войне наблюдал однажды кашевара — добродушного, с бабьим лицом солдата. Тот крутил черпаком кашу в большом котле и приговаривал: «Эх, кашка, кашка моя горемычная...» А в этот момент подошли к нему Твардовский, приехавший как корреспондент армейской газеты, и сопровождавший его подполковник. Солдафон-подполковник напустился на повара: «Ты понимаешь, что говоришь? Какая такая горемычная? Воевать за Родину и за товарища Сталина — великое счастье!» «Так точно, великое счастье, товарищ подполковник», — отвечал кашевар, вытянувшись по швам. И такая тоска была у него в глазах, когда снова взялся он мешать свою кашу!.. Такой вот, наверное, и этот Шухов.

Всю весну и лето 1962 года, стоило нам встретиться с Твардовским, возникал разговор о повести. Осторожно, боясь чрезмерной огласки, Твардовский давал ее читать литераторам, суд которых был для него важен. Одним из первых отозвался Корней Чуковский. Свой отзыв он озаглавил «Литературное чудо». Давал Твардовский читать повесть и Маршаку — тот передал ему письмо, в котором говорилось, что опубликование этой вещи поднимет уровень нашей литературы. Твардовский ревниво отметил, что письмо Маршака несколько осторожнее и «жиге», чем отзыв Чуковского, но и оно на пользу.

Замечу, кстати, что когда я в те дни встречался с Маршаком, он, как и многие в ту пору, путая непривычное имя автора, говорил с восхищением: «Этот Солжэнцев, голубчик, еще заставит говорить о себе. Вы заметили, какая абсолютная художественная точность! Когда в его повести кавторанг ссорится с конвоем, звонко кричит, отстаивая свои права, он будто чувствует еще на себе свои ордена и петлицы... Это, знаете, как ампутированные пальцы руки, ноги — еще долго кажется, будто ими можно пошевелить... По простоте и мужеству этот Солжэнцев, пожалуй, родословной от протопопы Аввакума... В его вещи народ от себя заговорил...»

С июня 1962 года я уже работал в «Новом мире» и внутренней задачей имел, среди прочего, сколько было в моих малых силах,

помогать Твардовскому укрепиться в решении печатать повесть. Конечно, в главном он и сам был убежден, поступал, как решил, по совести, но поддержка всегда была ему важна. Получив полторы странички отзыва от философа Михаила Лифшица, он сказал мне: «Я с ним в споре был. Он иронически отозвался о последних главах моей поэмы. А тут такое письмо! Значит, думаю, мы друзья, раз одно и то же любим».

Возможно, автору и казалось, что редакция медлит с его повестью, но Твардовский не хотел действовать наобум, а внутри у него созревало твердое решение — напечатать «Шухова» или уйти. Отзывы влиятельных писателей он собирал не столько для себя, сколько для того, чтобы убедить ими тех, от кого будет зависеть решение.

Поделившись со мной желанием напечатать повесть в восьмой (августовской) книжке журнала, Твардовский сказал, что хочет просить Константина Федина — не как главу Союза писателей, а как члена редколлегии «Нового мира» — дать отзыв о повести. «Я его заставлю написать, — говорил А. Т. — Скажу: все помирать будем, Константин Александрович».

Но здесь, как и в других случаях, Твардовский оказался наивен. Прочитав рукопись, Федин сказал: «Да, это талант. Вы даже не подозреваете настоящей художественной цены этой вещи». Но от письменного отзыва уклонился. «Не знаю, не знаю, как вы это напечатаете... А папе (то есть Н. С. Хрущеву. — В. Л.) показывали?» — неожиданно спросил он.

Твардовский и сам понял, что другого пути у него нет и надо посылать рукопись «на высочайшее», как говорилось в старину, имя. Чтобы дать повести рекомендацию для возможных читателей и выразить открыто свое отношение к ней, Твардовский написал небольшое предисловие. Вдвоем-втроем мы обсуждали его в редакции, сделав небольшие поправки. С этим предисловием рукопись была передана помощнику Хрущева, занимавшемуся вопросами литературы и идеологии, Владимиру Семеновичу Лебедеву.

В начале июля 1962 года Лебедев позвонил Твардовскому и сказал, что находится в некотором затруднении: согласился, что написано впечатляюще, талантливо, но ведь автор «за Советы без коммунистов»... Впрочем, подумав немного, Лебедев порекомендовал Твардовскому написать Никите Сергеевичу личное письмо и приложить к нему рукопись повести. Но прежде еще поработать с автором по высказанным им замечаниям. Замечания эти касались всего двух-трех мест, хотя нельзя сказать, чтобы были несущественны. Предлагалось поправить в речах бригадира Тюрина то место, где о 37-м годе говорилось как о возмездии за коллективизацию с обращением к всевышнему: «Долго терпишь, да больно бьешь». Советовал также в протест кавторанга против жестокостей охраны вставить слова: «Вы не советские люди, не коммунисты». Были еще замечания, касавшиеся тех мест текста, где говорилось о заключенных литовцах, эстонцах, о бандеровцах, — можно ли считать их безвинными жертвами? Все это было изложено заместителю Твардовского

А. Г. Дементьеву для передачи автору и редколлегии. Твардовский вызвал Солженицына из Рязани телеграммой.

23 июля 1962 г. я впервые увидел Солженицына. Пришел в редакцию, немного опоздав, открыл дверь в кабинет Твардовского, а там уже полно народу за длинным столом, за которым обычно собиралась редколлегия. На столе чай с бубликами: готовятся обсуждать Солженицына. Твардовский поманил меня поближе, представил автору.

Передо мной был человек лет сорока, показавшийся мне некрасивым, в летней одежде — холщовых брюках и рубашке с расстегнутым воротом. Внешность простоватая, глаза посажены глубоко, надбровные дуги нависают над ними. На лбу заметен шрам. Говорит хорошо, складно, внятно, с исключительным чувством достоинства. Спокоен, сдержан, но не смущен. Смеется открыто, показывая два ряда крупных зубов.

Твардовский в максимально деликатной форме, как пожелание, которым автор волен распорядиться по-своему, предложил ему подумать о замечаниях, внимание к которым облегчило бы печатание повести, прибавить праведного возмущения кавторангу, снять оттенок сочувствия бандеровцам, еще что-то в этом духе.

А. Г. Дементьев говорил о том же резче, прямолинейнее, грубее. Почему-то обиделся за Эйзенштейна, его «Броненосец Потемкин», спор о котором идет в повести. Говорил, что даже с художественной точки зрения его не удовлетворяют страницы разговора с баптистом Алешкой. И советовал автору подумать, как примут его повесть заключенные из числа старых большевиков, оставшиеся и после лагеря стойкими коммунистами.

Это задело Солженицына. Он ответил, что о реакции такой специальной категории читателей не думал и думать не хочет. «Есть книга, и есть я. Может быть, я и думаю о читателе, но это читатель вообще, а не разные категории... И потом люди, о которых вы говорите, как правило, не были на *общих работах*. Согласно своей квалификации или бывшему положению, они устраивались обычно в комендатуре, на хлеборезке и т. п. А понять положение Ивана Денисовича можно, только работая на *общих работах*, то есть зная это изнутри. Если бы я, положим, был в том же лагере, но наблюдал это со стороны, никогда бы так не написал. Не написал, просто не понял бы и того, какое спасение труд...»

Зашел спор о том месте повести, где автор прямо говорит о положении кавторанга, что он, тонко чувствующий, мыслящий человек, должен неизбежно превратиться в тупое животное. Тут Солженицын не уступал: «Это же самое главное. Тот, кто не отупеет в лагере, не огрубит свои чувства, тот погибает. Я сам только тем и спасся. Мне страшно сейчас смотреть на фотографию, каким я оттуда вышел: там я старше, чем теперь, лет на пятнадцать. И я был туп, неповоротлив, мысль работала неуклюже. И только потому не пропал. Если бы, как интеллигент, внутренне метался, нервничал, переживал все, что со мной случилось, наверняка бы погиб... А спор об Эйзенштейне, показавшийся Александру Григорьевичу литературным, я не выдумал, а в самом деле слышал в лагере».

У меня не нашлось, что возразить автору, я поделился лишь своим восхищением. Но и Твардовский, как я заметил, предлагал свои поправки робко, почти смущенно, что вовсе на него не было похоже, а когда Солженицын брал слово, смотрел на него с любовью и тут же соглашался, если возражения автора были основательны. Слушая же Дементьева, беспокоился, напрягался внутренне, как бы тот не пережал и не заставил молодого автора обидеться и «полюхнуть».

Один раз по ходу разговора Твардовский неосторожно упомянул, что в последний момент «красный карандаш» может еще что-то вычеркнуть в повести. Солженицын встревожился и попросил объяснить, что это значит. Может ли редакция или цензура убрать что-то из текста, не показав ему? Твардовский стал его успокаивать. «Мне цельность этой вещи дороже ее напечатания», — объяснил Солженицын.

Он тщательно записал на листке все замечания, сказал, что делит их на три разряда: те, с которыми он может согласиться, даже считает, что они на пользу вещи; те, о которых он будет думать, трудные для него; и, наконец, невозможные — те, с которыми он не хочет видеть вещь напечатанной.

Впечатление на всех этот рязанский учитель математики произвел отличное — скромный, но одновременно и знающий себе цену, твердый, но не заносчивый, покладистый. А какая обаятельная улыбка!

Солженицын уехал, а Твардовский продолжал править и шлифовать письмо Хрущеву, ожидая знака, чтобы отослать его. Однажды приехал в редакцию мрачный и напал на Дементьева, который хотел переменить какое-то слово в уже готовом тексте. Новые отсрочки приводили его в бешенство.

— Ну, какое слово вы предложите? — с яростью спрашивал А. Т.

— Ты не волнуйся, Саша, — успокаивал его Деменьев. — Но есть какое-то такое: «разрешите просить о...» (и он щелкал пальцами, подыскивая ускользающее словечко) ...о помощи ...поддержке...

— Благословении? — ядовито отозвался А. Т. — Так вот я вам скажу («вы» к Дементьеву, с которым он был на ты, подчеркивало его раздражение), что слов в языке мало. На этот случай их всего шестнадцать... И пятнадцать из них мы уже использовали.

Наконец письмо вместе с рукописью было отправлено, и оставалось терпеливо ждать, как повернутся события. Шли недели за неделями — все было глухо. В сентябре я уехал дней на двадцать в отпуск в Болгарию, а вернувшись, узнал от Твардовского, что дело стронулось. 15 или 16 сентября ему позвонил домой Лебедев с известием, что повесть Хрущеву понравилась.

Дело, по рассказу Твардовского, происходило так. В Гагре, где отдыхал Хрущев, Лебедев, уловив удобный момент, как-то стал вслух читать Никите Сергеевичу повесть. Читали и на другой день вечером. А на следующее утро уже были отложены все дела, Хрущев пригласил Микояна, отдохавшего неподалеку, и читали второй раз вслух. Хрущев смеялся и задумывался, ему понравился эпизод про «краси-

лей», делавших коврики с лебедями. Он по-своему оценил и искусство Солженицына, восхитившись его выражением «волчке солнышко». Попросил было пригласить Твардовского для беседы, но потом передумал.

Типографии «Известий» было дано срочное задание: набрать повесть и оттиснуть 25 экземпляров на хорошей бумаге. Было ясно, что предполагается обсуждение, вероятно, на Президиуме ЦК. «Не хочет ли Хрущев дать своим сотоварищам предметный урок по критике культа личности?» — догадывался Твардовский.

«Когда раздался этот звонок, — рассказывал он нам с И. А. Сацем, — жена ждала меня обедать, все торопила идти к столу. У нас вообще-то пуританский, лишенный сентиментальности стиль отношений в семье, но тут я позвал ее с кухни, чтобы все бросила, и расчувствовался: “Победа, Маша! Победа!” Я сказал Лебедеву, — продолжал А. Т.: — “Спасибо, что вы есть, что вы помогли нам”. А он: “Спасибо, Александр Трифонович, что вы есть. Видите, правда, она все же существует”. А я ему: “Существует-то она существует, но важно, как ее д о л о ж и т ь”». Последние слова он произнес с заметным лукавством в голосе.

«Но вот я радовался: «победа, победа», — продолжал он, — а решения окончательного нет, дело как-то захрясло». «Так всегда бывает, — отозвался Сац. — В мае 45-го, разве ты забыл, какое-то время то же чувство было. Неужели победа?»

20 октября 1962 г. Хрущев принял Твардовского. На другой день я дважды выслушал его рассказ об этой встрече: более подробный — наедине и краткий — для всей собранной им по этому случаю редакции. Хрущев встретил его с такой благожелательностью, как никогда раньше. Об «Иване Денисовиче» он сказал: «Это жизнеутверждающее произведение. Я даже больше скажу — это партийное произведение. Если бы это было написано менее талантливо, получилась бы, может быть, ошибочная вещь. Но в том виде, как сейчас, она непременно будет полезна». Собеседник Твардовского дал понять, что не все члены Президиума, которые знакомились с повестью, раскусили ее значение. «А я сказал: идите домой и еще подумайте». Второй раз с ним согласились все. (Вот почему впоследствии в печати появилась формула — повесть напечатана «с ведома и одобрения ЦК».)

Хрущев рассказал Твардовскому о том, что специальной партийной комиссией собрано несколько томов материалов о преступлениях Сталина, продолжается расследование дела об убийстве Кирова и т. п. «Мы должны сказать правду об этом времени, — рассуждал Хрущев. — Возможно, не все документы и материалы нужно сейчас публиковать, но собрать надо все, чтобы предъявить потомству. Нас будут судить следующие поколения, и пусть они знают, в каких условиях нам пришлось работать, какое наследство мы приняли».

— Я так понимаю, что ваш первый доклад о культе личности на XX съезде был сопряжен и с личным риском, — сказал Твардовский.

— Еще бы! Еще бы! — живо отозвался Хрущев. Он рассказал, что перед смещением Берии он с Маленковым и Булганиным уезжал далеко за город, шли в лес, и, только отойдя подальше от дороги, Хрущев решался говорить о деле. Решимости ему прибавило то, что он заметил однажды: у лифта и в коридорах ЦК, которыми он проходил в свой кабинет, всюду оказались на постах люди Берии. «Твои люди зажирели, — сказал он Берии по телефону, — надо отправить их побегать с оружием в полевых условиях», и сменил охрану на армейских офицеров.

Хрущев намекнул Твардовскому, что аппарат срывает ему борьбу с культом личности. Литература же эти вопросы ставит.

А. Т. убеждал Хрущева, что литература может лучше помочь партии и советской власти, если ей будет дана возможность свободнее критиковать темные стороны жизни. «Советская власть не такая мимозно-хрустальная, чтобы рассыпаться от такой критики, — говорил Твардовский. — И знайте, Никита Сергеевич, что все лучшее в нашей интеллигенции поддержит вас целиком в борьбе с культом личности».

Таков, если говорить вкратце, был рассказ Твардовского об этой встрече, а главным ее итогом было то, что для повести Солженицына было срочно расчищено место в ноябрьском номере журнала, который был уже на ходу. Скорее, скорее в печать!

На праздниках, уехав на дачу, А. Т. перечитывал повесть в верстке и говорил, когда мы встретились в редакции: «Сам себе не верю. Неужели мы это напечатаем?» Радостно и гордо думая о будущей судьбе открытого им писателя, Твардовский решил написать ему большое дружеское письмо с отеческими предупреждениями и увещаниями относительно ждущих его искушений славы. Он предупреждал о неизбежно грядущей шумихе и просил Солженицына беречь свой талант, избегать встреч с репортерами, интервьюерами, инсценировщиками, расхищающими время серьезного писателя.

По поводу этого письма А. Т. советовался в редакции. А. И. Кондратович сказал ему, что он слишком в высоких выражениях пишет Солженицыну о его таланте, стоило бы умерить похвалы. Надо было видеть, как по-детски растерялся, огорчился Твардовский, и он принес письмо мне. Я сказал, что, по моему мнению, перехвалить эту вещь Солженицына нельзя, что эта маленькая повесть знаменует, может быть, новое летосчисление в нашей литературе. А. Т. успокоился и отослал письмо.

16 ноября 1962 г. был получен сигнальный экземпляр, на другой день была начата рассылка одиннадцатого номера. Через два-три дня о повести неизвестного автора говорил весь город, через неделю — страна, через две недели — весь мир. Повесть заслонила собой многие политические и житейские новости: о ней толковали дома, в метро и на улицах. В библиотеках одиннадцатый номер «Нового мира» рвали из рук. В читальных залах нашлись энтузиасты, сидевшие до закрытия и переписывавшие повесть от руки. В моем архиве случайно сохранилась записка, которую в те дни передал мне со смехом один из литераторов. Ее оставила отцу, ложась на ночь

спать, дочь-второклассница: «Папа! Одиннадцатый номер взяла я. Целую. Груня».

Редакции разрешили допечатать к обычному тиражу — дело неслыханное — 25 тысяч экземпляров. В ближайшие дни после выхода номера заседал многолюдный, с приглашением гостей, как тогда полагалось, Пленум ЦК. В киосках, расположенных в кулуарах, было продано свыше двух тысяч экземпляров одиннадцатого номера. Вернувшись с Пленума, Твардовский рассказывал, как заколотилось у него сердце, когда в разных концах зала рядом с красными обложками официальных материалов замелькали голубенькие книжки журнала. Отзывы, впрочем, были пестры. В перерыве к Твардовскому подошел один из секретарей обкома, сибиряк: «У меня в области таких «хозяйств», как тут описано, сколько хочешь было. И что особенного? Зачем о них писать?»

Одна за другой появлялись статьи в газетах — в «Известиях» К. Симонова, в «Литературной газете» Г. Бакланова. Все дружно хвалили повесть, удивлялись таланту нового автора. В. Ермилов в «Правде», уравнив отзыв о Солженицыне похвалами Вадиму Кожевникову за повесть «Знакомьтесь, Балув», заявлял тем не менее, что талант нового писателя «толстовской силы». Твардовский внимательно следил за всем, что пишется о Солженицыне, и ревниво комментировал, чутко отмечая всякий оттенок фальши. По поводу рецензии в газете «Литература и жизнь», не пользовавшейся доброй репутацией, сказал: «Эта задыхающаяся газетка поместила рецензию Дымшица, написанную будто нарочно так, чтобы отвадить от повести. Ни одной яркой цитаты, ни напоминания о какой-либо сцене... Сравнивает с «Мертвым домом» Достоевского, и то не попад. Ведь у Достоевского все наоборот: там интеллигент-каторжанин смотрит на жизнь простого осторожного люда, а здесь все глазами Ивана Денисовича, простого крестьянина, который по-своему и интеллигента видит... И, заметьте, как точно Солженицын написал: ведь 37-й год — это расплата за экспроприацию крестьянства в 30-м... Вот мой отец — какой он кулак? Разве что дом-пятистенка...»

В дни, когда вышел номер, Солженицын появился в Москве. Приехал он из Рязани не с пустыми руками — привез два новых рассказа и пьесу. Поразил Твардовского тем, что, когда был у него дома, принесли как раз свежую газету со статьей Симонова о нем. Он глянул мельком и сказал: «Ну, это я потом прочту, давайте лучше поговорим». А. Т. удивился: «Но как же? Это же впервые о вас пишут в газете, а вас вроде бы и не интересуется?» (Твардовский заподозрил здесь некоторое кокетство.) «Нет, — отвечал Солженицын, — обо мне и раньше писали... В рязанской газете, когда я завоевал первенство по велосипеду».

Пьесу Солженицына Твардовский не одобрил. «Теперь вы лучше можете оценить мою искренность, пьесу я печатать не советую», — сказал он автору. «Но я думаю еще поговорить о ней со специалистом-режиссером», — защищался Солженицын. «И напрасно, — парировал Твардовский. — Ведь это заранее известно, он скажет «великолепно!», втянет вас в колесо поправок, переделок, дополнений



и т. п., а вам надо бы заниматься большой, серьезной литературной работой». «Я понимаю, что времени мне терять нельзя», — согласился Солженицын.

Рассказы же, привезенные Солженицыным, были каждый по-своему замечательны и, что самое важное, подтверждали не случайную удачу повести. «Не стоит село без праведника» (по совету Твардовского получивший название «Матренин двор») и рассказ «На станции Кречетовка» обсуждались в редакции в конце ноября 1962 года, уже после того, как Твардовский провел над ними свою домашнюю редактуру. Передавая мне рукопись и суля удовольствие от чтения, Твардовский сказал: «Посмотрите внимательно перед обсуждением. Но, впрочем, вам остались мелкие камушки, булыжники я оттуда уже повыкидывал». Это не было редакторской самовольной придирчивостью, но желанием, чтобы после триумфа «Ивана Денисовича» новый автор даже самой малой небрежностью не уронил себя, вышел в полном блеске своего дара.

На обсуждении рассказов в редакции все, сколько помнится, помимо яркого художественного письма отмечали с радостью то обстоятельство, что Солженицын показал свою силу реалиста-художника и за пределами «лагерной темы», в которой, как казалось некоторым, замкнут его талант. Литературно не искушенным людям «Иван Денисович» представлялся чем-то вроде документа или очерка с натуры: героя путали с автором. Рассказами Солженицын подтверждал свою репутацию сильного самобытного художника. На обсуждении критиковали лишь один сюжетный поворот, казавшийся искусственным, в рассказе «Случай на станции Кречетовка» (герой забыл будто бы, что Царицын переименован в Сталинград, и тем погубил себя). Мне случилось отметить и некоторые излишества словотворчества, возрождение редких и старых слов там, где они не были вполне естественны. «Вы меня выровнять хотите», — кипятился поначалу Солженицын. Но потом миролюбиво согласился, что некоторые словечки неудачны. «Я спешил с этим рассказом о Кречетовке. А вообще-то, я люблю забытые слова. В лагере мне попался третий том словаря Даля, я его насквозь прошел, исправляя свой ростовско-таганрогский язык».

Рассказы Солженицына появились в январском номере «Нового мира» за 1963 год. Но еще прежде в общественно-литературной жизни произошли события, которые предвещали перемены, и отнюдь не в добрую сторону.

В начале декабря 1962 года Н. С. Хрущев неожиданно посетил выставку в Манеже. Подстрекаемый В. А. Серовым и другими руководителями Союза художников, он набросился на «абстракционистов» и «прочих формалистов» как на опасность, грозившую всему советскому искусству. Началась кампания в газетах. С живописи и скульптуры быстро перекинулись на литературу, обнаружив изъяны и в ней. 17 декабря 1962 г. состоялась первая встреча Хрущева с деятелями культуры, писателями на Воробьевых горах. Этим было положено начало череде «исторических встреч», как будто не было у советского правительства больших забот, чем приструнить творче-

скую интеллигенцию. Началось с абстракционистов и «проблемы Манежа», но круг критикуемых быстро расширялся: подверглись разносу молодые поэты Вознесенский и Евтушенко, досталось и И. Эренбургу за его мемуары, и В. Некрасову за путевые очерки, печатавшиеся в «Новом мире». В газетах появились статьи и «письма земляков», бранивших поэтическую «Вологодскую свадьбу» А. Яшина.

«Начали с абстракционизма, но, кажется, имеют-то в виду реализм», — проницательно комментировал Твардовский. Впрочем, вне всякой логики, солженицынская повесть находилась некоторое время вне критики как получившая «высочайшее» одобрение. На встрече 17 декабря в Доме приемов Хрущев поднял Солженицына из-за стола и под бурные аплодисменты представил его собравшимся. М. А. Суслов, подойдя, долго тряс его руку. На встрече в Кремле 7—8 марта 1963 г. Хрущев снова поминал «Ивана Денисовича» как вещь, написанную «с партийных позиций».

«Матренин двор» был беззащитнее — его стали пощипывать за очернительство: А. Сурков в «Литературной газете», В. Полторацкий в «Известиях». Постепенно стали подбираться и к критике «Ивана Денисовича» — критике лицемерной, с оговорками и вздохами, но по шажку подходившей к тому, чтобы перечеркнуть повесть. Ивана Денисовича упрекали в том, что он «не герой», не борется в лагере (как будто там можно было бороться!), что картина нарисована односторонне и т. п. Мы понимали, что каждый новый выпад против повести означал еще одно — ослабление позиций Хрущева в борьбе со сталинистами, опасные уступки его самого и его окружения. Затаившаяся, но еще сильная аппаратная бюрократия со сталинистской психологией жаждала реванша. «Новый мир», напечатавший повесть Солженицына, был точкой приложения сил, удобным полем борьбы, на котором получали проверку отнюдь не одни лишь литературные амбиции.

Внимательно следя за тем, как разворачивается эта борьба, я решил, не советуясь в редакции, на свой страх и риск написать статью о повести Солженицына и ее критиках. Для Твардовского статья была неожиданностью. Прочитав ее в рукописи, он прислал мне 2 декабря 1963 г. из санатория в Барвихе письмо, которое я целиком привожу здесь. Всегда испытываешь неловкость, цитируя похвалы своей работе, но читатель поймет, надеюсь, что не в них дело. Просто я считал бы грехом держать и дальше под спудом столь значительный литературный документ.

«Дорогой Владимир Яковлевич! Статья так хороша, существенна, исполнена достоинства и убежденности, что, пожалуй, и говорить бы не о чем. То, о чем я хочу сказать, происходит как раз, может быть, от того, чем именно хороша статья: в ней идет настолько серьезный разговор, она касается таких значительных и важных политических, этических и эстетических мотивов в связи с «Ив. Денисовичем», что в ней не нашлось места для *специального* раздела о «художественных средствах выражения», какими Солженицын действует. Но это ясно только для умных и добрых людей. А имею

в виду и других людей, не мешало бы, может быть, подчеркнуть, что вот, мол, такой выразительности и полноты содержания Солженицын достигает не в силу пренебрежения формой, а как раз по причине ее крепчайшего, органического слияния и взаимопроникновения с содержанием. Можно подчеркнуть, что в повести нет ни одного готового, взятого напрокат слова, — они все как бы впервые на свет рождаются, они всякий раз необходимы и в данном случае незаменимы. Далее: Солженицыну чужда тенденция щегольнуть «художественностью», красотой облюбованного фразеологического оборота — это было бы кощунственно в применении к его материалу и т. д. Сказать еще о ритмической целостности, музыкальности рассказа, о внезапном выходе из стиля Ивана Денисовича, когда вдруг речь идет о Буйновском; о том, как смело автор дает в точном воспроизведении «интеллигентные» разговоры в присутствии Ивана Денисовича, который наверняка не слышит, не фиксирует их, хотя все повествование дается лишь через его пять внешних чувств (очень обостренно!) и только через его сознание.

Впрочем, все это у Вас даже и есть, только уж так сдержанно, без малейшего сползания к пошлomu в своей отдельности «анализу формы». Да, может быть, в отношении этой вещи тоже кощунственным был бы этот «анализ формы». Словом, говорю Вам обо всем этом без уверенности в том, что Вы так-то и должны доработать статью. Но, может быть, следует смело и решительно оговориться, что мы, мол, не станем заниматься таким анализом отдельно, что нас больше занимает целое, существенное.

Но вот что, пожалуй, я считал бы необходимым внести в немногих строках в текст статьи. Там, где речь идет о том, где автор был в тот зимний день, когда Иван Денисович выходил с колонной на работу, — там это все хорошо насчет морозца, Кремля и студенческих малых забот, — но тут же нужно сказать, *где была в тот день страна*, что сообщали газеты, радио и т. д. Это сделает картину «дня» Ивана Денисовича еще разительнее, противоестественнее, невозможнее. Загляните мельком в газеты того времени — что-то строилось, затевалось, выполнялось, восстанавливалось, а в это время...

Необходимо еще разыскать из печати хоть полуфразу из того, что говорил о повести Н. С. (Хрущев), хотя бы по газетному изложению (помните, о «человеческом в нечеловеческих условиях», о партийных позициях автора. *Das ist sehr wichtig!*). В крайнем случае снимите мою фамилию в Ваших двух случаях (вообще — не более одного) и цитатните из моего интервью («Я никогда не забуду...» и т. д.).

Кажется, у Сергованцева же было нечто вроде противопоставления «активной» позиции шолоховского Соколова «пассивности» Ивана Денисовича? Я все ждал, что Вы и этот гвоздь вобьете в гробовую крышку над статьей «Октябрь».

Еще я, может быть, поймаю Вас по телефону. А покамест всего Вам доброго, мой юный, мудрый и благородный соредактор и друг. Обнимаю Вас.

*А. Твардовский.*

Надо ли говорить, что я воспользовался советами Твардовского при редактировании статьи. Она получила название «Иван Денисович, его друзья и недруги», появилась в январской книжке «Нового мира» за 1964 и наделала много шума и принесла немало неприятностей автору. С малоизвестным молодым критиком удобнее было сражаться, чем с писателем, поддержанным самим Хрущевым, и на какое-то время повесть вышла из-под удара. «Недруги» Ивана Денисовича оттачивали свои желчные перья на статье о нем. В Союзе писателей бушевали собрания, отчеты о которых помещала «Литгазета». Особенно негодовали на то, что я будто бы обозначил творчество Солженицына как магистральный путь развития советской литературы, а все общество или, во всяком случае, литературную общественность разделил на «друзей» и «недрузгов» Ивана Денисовича. «Вот что вы наделали, все спешат записаться в «друзья» к Солженицыну», — смеялся Твардовский.

Неожиданную остроту приобрел вопрос о «работягах» и «придурках» в лагере, к числу которых я, вслед за Солженицыным, отнес его героя кинорежиссера Цезаря Марковича. Часть благомыслящей публики обиделась на меня — не выпад ли это против москвича-интеллигента? Не ложное ли народолюбство? Статью стали атаковать и «справа», и «слева».

Мы были на встрече с читателями в Доме учителя на Пушечной, когда я передал Солженицыну только что вышедший номер журнала со статьей о нем. На другой день, зайдя в редакцию, он сказал: «Могу сделать вам самый высокий для меня комплимент: это написано с точки зрения лагерного человека». А немного спустя я получил от него письмо из Ленинграда, куда он уезжал работать в библиотеке. Вот оно.

«Дорогой Владимир Яковлевич! Когда я был в редакции, то меня несколько тревожно спрашивали (Б. Г. Закс), как я отнесся в Вашей статье к месту о Цезаре. Я и сам уже было встревожился.

Но, прочтя статью, вижу, что все отлично и все на месте. Вы верно истолковали, что не о народе и интеллигенции речь идет, а о тех, кто принимает на себя удар и кто от него уклоняется. Именно это и именно так я и хотел передать в повести. И хотя перед прототипом Цезаря мне по-человечески несколько неловко, но что делать? Amicus Plato... Ну, может быть, приравнение к красиллям есть маленький перебор, а скорее-то всего, учтя возможные в то время сценарии Цезаря, и нет. По глубокой-то сути — верно.

И великолепный удар по дьявольской повести без этой подготовки не получился бы.

В общем, спасибо за статью. От подобной статьи чувствуешь — как бы и сам умнеешь.

Привет большой Александру Трифоновичу и всей редакции. Крепко жму руку. С.»

Публикация статьи о повести Солженицына «Новым миром» имела в те дни еще один прицел. Повесть была выдвинута редколлегией

на Ленинскую премию, и успех этого дела зависел, в частности, от того, как пойдет общественное обсуждение. Выдвижение повести редакцией официально поддержала лишь одна организация — ЦГАЛИ (Центральный государственный архив литературы и искусства). Это выглядело символически: где-где, а уж в архиве знают цену большому писателю, тому, что остается для будущего.

Присуждение премий ожидалось в апреле 1964 года, и борьба вокруг выдвинутых кандидатур была тем более острой, что Солженицыну, кажется, не находилось в списке достойных конкурентов. Шансы его были реальны, и Твардовский связывал с этим большие надежды и в отношении укрепления позиции журнала, и в смысле публикации новых, более крупных работ Солженицына — романов «В круге первом» и «Раковый корпус», с которыми автор начинал нас знакомить. Получи тогда Солженицын премию, говорил не раз впоследствии Твардовский, и, возможно, вся судьба его сложилась бы иначе...

До последнего момента по прессе было трудно судить, куда склонится чаша весов при голосовании. В печати раздавались и решительные голоса в пользу повести («Правда» напечатала статью С. Я. Маршака), и осторожные высказывания против нее. Те, от кого зависело решение, кто давал обычно «рекомендации» Комитету, выжидая молчали. Н. С. Хрущев не возвращался уже к этой теме, как бы отойдя в сторону. До его падения оставалось чуть больше полугода, его окружение уже чувствовало, как уходит из-под ног почва. А он будто ничего не подозревал, увлеченный своими «проектами», политическими и хозяйственными импровизациями, которые становились все случайнее и рискованнее. Полюбил он и долгие, недели на две, поездки за границу, которые развлекали его и освобождали от неотложных государственных дел.

Оставалось всего ничего до последнего голосования Комитета по премиям, когда случай ускорил решение дела. В свете только что объявленной тогда демократизации обсуждения произведений, выдвинутых на премию, поручили телевидению дать большую передачу о возможных лауреатах. Кто-то придумал провести дело так: каждое издание, каждый журнал защищает перед телезрителями «своего» кандидата. Твардовский попросил меня представить Солженицына от журнала.

Телевидение было тогда прямым, на видеопленку не записывали, да я к тому же опоздал в телевизионный театр на площади Журавлева, и встретивший меня за пять минут до начала передачи на лестнице редактор только и успел спросить: «Ну вы-то знаете, о чем говорить? Не подведете?» Я с готовностью кивнул. Потом меня ввели в зал, где стояли камеры, и посадили на последний из стульев, расположенных полукругом. Мне объяснили, что говорить я должен не более пяти минут и смотреть, горит ли у аппарата зеленая лампочка: как только зажжется красная — эфирное время кончилось.

Я принес в студию толстую папку с письмами, шедшими в редакцию со всех концов страны: абсолютное большинство поддерживало

выдвижение повести Солженицына на Ленинскую премию. Я прочитал выдержки из этих писем, едва удерживая в руках тяжелую папку, а напоследок сказал: «С надеждой и терпением будем мы ожидать *справедливого* решения Ленинского комитета». Слово «справедливого» я невольно выделил интонацией.

После меня о своем кандидате должен был говорить еще представитель редакции «Октября». Но тут загорелась красная лампочка, осветители стали сматывать провода: время кончилось. Случайно, без всякого вмешательства режиссуры получилось так, что последнее слово было сказано о Солженицыне, да еще с призывом к справедливости решения...

Надо же было так случиться, что Хрущев в эту пору находился в очередном путешествии, а все дела в Москве вершил за него его заместитель Леонид Ильич Брежнев. Он смотрел передачу, и она рассердила его: «Говорят о Солженицыне так, как будто он уже получил премию, а мы еще этого не решили...» На другое утро, как рассказывали, председатель Комитета по телевидению Харламов получил жестокий нагоняй, а «Правде» было вменено в обязанность выступить с обзором читательской почты, в котором сделать акцент на письмах, авторы которых не приемлют повесть Солженицына.

11 апреля 1964 г. такой обзор под названием «Высокая требовательность» в «Правде» появился. Выделялись письма тех читателей, что ведут «по-хозяйски строгий и взыскательный разговор»: «Все они приходят к одному выводу: повесть А. Солженицына заслуживает положительной оценки, но ее нельзя отнести к таким выдающимся произведениям, которые достойны Ленинской премии».

Появившаяся накануне последней решающей сессии Комитета по премиям статья эта была знаком того, какое решение ожидается. И тем не менее на заседаниях разгорелась острая борьба. Твардовский несколько раз брал слово, и к его горячей убежденности и ясной логике прислушивались многие. Чтобы переломить настроение Комитета, С. П. Павлов, тогда первый секретарь ЦК ВЛКСМ, сказал в своей речи, что Солженицын сидел в лагере за уголовное преступление. «Это ложь!» — крикнул из зала Твардовский.

Помню, как среди дня, бледный, взволнованный, он приехал в редакцию с заседания Комитета и просил срочно разыскать текст постановления о реабилитации Солженицына. На другой день на заседании Комитета Твардовский заявил, что у него в руках текст «Определения» военной коллегии Верховного суда СССР от 6 февраля 1957 г., реабилитирующее Солженицына, обвиненного по политическим мотивам, за отсутствием состава преступления. «И все-таки интересно, что там написано», — не унимался Павлов. Тогда Твардовский величаво передал текст секретарю Комитета Игорю Васильеву с просьбой огласить документ, и тот «хорошо поставленным голосом», как рассказывал Твардовский, прочел его от точки до точки.

Копия этого документа сейчас передо мной. В нем говорилось: «Из материалов дела видно, что Солженицын в своем дневнике и письмах к своему товарищу Виткевичу Н. Д., говоря о правильности

марксизма-ленинизма, о прогрессивности социалистической революции в нашей стране и неизбежной победе ее во всем мире, высказывался против культа личности Сталина, писал о художественной и идейной слабости литературных произведений советских авторов, о нереалистичности многих из них, а также о том, что в наших художественных произведениях не объясняется объемно и многосторонне читателю буржуазного мира историческая неизбежность побед советского народа и армии и что наши произведения художественной литературы не могут противостоять ловко состряпанной буржуазной литературной клевете на нашу страну.

Эти высказывания Солженицына не содержат состава преступления».

Далее в «Определении» отмечалось: «Из боевой характеристики Солженицына и отзыва служившего вместе с ним капитана Мельникова видно, что Солженицын с 1942 года до дня ареста, то есть до февраля 1945 года, находился на фронтах Великой Отечественной войны, храбро сражался за Родину, неоднократно проявлял личный героизм и увлекал за собой личный состав подразделения, которым командовал».

Когда И. Васильев прочитал этот текст, наступила долгая пауза. «Я пригвожден...» — неловко попытался пошутить весь красный то ли от неловкости, то ли от негодования Павлов.

Под откровенным давлением Е. А. Фурцевой и Л. Ф. Ильичева Комитет в результате проголосовал против присуждения премии Солженицыну. Твардовский воспринял это как глубокое личное поражение. Не знаю, отдавал ли себе отчет Хрущев, что в тот час произошла проба политических сил и многое потерял он сам.

Что же касается Солженицына, то и для него, по-видимому, это был поворотный пункт, хоть и вовсе не потому, что он жаждал славы. Помню его слова в те дни: «Присудят премию — хорошо. Не присудят — тоже хорошо, только в другом смысле. Я и так, и так в выигрыше». Однако этому бодрому заявлению приходилось верить лишь отчасти. С каждым днем литературная судьба Солженицына на родине складывалась все труднее. Книг его не печатали, о нем распространяли самые нелепые слухи, как о полицае и пособнике оккупантов в войну, и не давали печатно их опровергнуть. После падения Хрущева осенью 1964 года над именем Солженицына стала сгущаться пелена крамольности, полузапретности...

Все, что рассказано здесь, совершилось за три года. Но это было лишь прелюдией к долгой, трудной и мучительной истории отношений Солженицына с Твардовским и его журналом. Солженицын обрисовал это в своих пристрастных мемуарах «Бодался теленок с дубом». Твардовский не только не смог рассказать, как виделось те же события ему, но не успел даже прочесть солженицынскую книгу, по-своему ярко, но односторонне изобразившую драматические события нашей недавней литературной истории. Мне эти семь лет представляются настоящей, невыдуманной драмой, счастливую завязку которой я бегло очертил.

Впереди были волнения вокруг романов «В круге первом» и

«Раковый корпус», героические и тщетные попытки Твардовского их напечатать, арест архива Солженицына, бесчисленные заседания секретариата правления Союза писателей, обсуждавшего «солженицынский вопрос», хождение Твардовского по начальству, добровольные унижения, переговоры и уговоры с единственной целью — отстоять Солженицына для родной земли, для русской литературы. А заодно — мало успешные попытки обуздать нрав самого Александра Исаевича, отклонить его от резких поступков, привычки отвечать ударом на удар, найти совместный разумный выход из, казалось бы, безвыходного положения.

Исключение Солженицына из Союза писателей в ноябре 1969 года предвещало неизбежный и наступивший всего через три месяца конец «Нового мира» Твардовского.

А дальше был эпилог, какого не надумало бы самое богатое воображение. «Все бояться за Солженицына, а я, признаться, больше беспокоюсь за Твардовского», — сказала мне как-то со свойственной ей сверхчуткостью Елена Сергеевна Булгакова. Тогда это поняла она одна.

Впереди у Твардовского были болезнь, немота, кресло у холодного камина, угасание, смерть. У Солженицына же — долгая, хоть и нелегкая судьба: слава Нобелевского лауреата, насильственная высылка из страны, яростные политические речи и толстые тома новых книг, неизвестных на родине, и зеленая лужайка за высокой оградой усадьбы в американском штате Вермонт — та «другая жизнь», о которой не суждено было узнать Твардовскому.



## «Толпа сполна хотела рассчитаться...»

---

Считается, что Евгению Евтушенко всегда страшно везло. Рано вошедший в литературу, рано вступивший в Союз писателей, рано добившийся широчайшей, поистине всенародной известности, он многим кажется ныне едва ли не символом преуспевания, во всяком случае, человеком, которому грех жаловаться на какие-либо притеснения, гонения, несправедливую критику.

Между тем знакомство с биографией критических суждений о нем, с завидной регулярностью появляющихся на страницах литературной и не только литературной печати, — даже беглое знакомство — показывает, что хвала с первых его шагов в литературе перемежалась с хулой и негативных высказываний было лишь немногим меньше, чем позитивных.

Мы хотели бы вернуться в относительно недавнее прошлое: полистать периодику 1963 года (не только литературную и не только центральную), ознакомиться с некоторыми документами той поры, воспользоваться чужими воспоминаниями. Дело в том, что именно 1963 год был годом беспрецедентной травли Евгения Евтушенко, в которую были вовлечены не только коллеги по писательскому союзу (эти-то всегда готовы на «что изволите»), но и самые разные слои общества. Помянуть старое полезно...

Конечно, тогда доставалось не только Евтушенко. Тяжело было его товарищам по литературному поколению — Андрею Вознесенскому, Булату Окуджаве, Белле Ахмадулиной, Василию Аксенову, многим кинематографистам (прежде всего М. Хуциеву), многим художникам (главным образом нереалистических направлений). Но история с Евтушенко представляет особый интерес. Во-первых, в ней просматривается свой законченный, цельный сюжет. Кроме того, она обнажила с большой наглядностью механизмы сопротивления командно-бюрократической машины даже слабым попыткам ограничить ее влияние. Она выявила многие скрытые до поры особенности общественного сознания. Наконец, как и с Ельциным, эта история поставила широкие массы перед неизбежностью выбора между разгневанным партийным аппаратом и притесняемым любимцем публики.

Мы расскажем о событиях 1963 года не для того, чтобы жалеть пострадавшего. В конечном счете он вышел из той ситуации победителем. Повторяем, мы рассказываем о ней исключительно по причине ее п о у ч и т е л ь н о с т и для сегодняшнего читателя.

Многие полагают, что гонения на Е. Евтушенко начались с выступления Н. С. Хрущева на мартовской (1963 г.) встрече с деятелями литературы и искусства. Отчасти это суждение справедливо: действительно разоблачительная кампания в прессе была развернута уже наутро после выступления Н. С. Хрущева, содержавшего критические замечания в адрес Евтушенко. Но, во-первых, довольно-таки резкие статьи о творчестве молодого поэта появлялись и раньше (например, в 1957 г. в «Комсомольской правде» было опубликовано письмо А. Ионова «Талант, размениваемый на пустячки», в «Литературной газете» за подписью «Литератор» на ту же тему была напечатана заметка «Ах, как хочется удивлять!», на следующий год в «Литгазете» появилась заметная статья В. Солоухина «Без четких позиций»; один только Лев Ошанин в 1958—1959 гг. напечатал четыре статьи, в которых критиковал Евтушенко). А во-вторых, прямая полемика между Евтушенко и Хрущевым началась отнюдь не на мартовской встрече.

Кроме того, нельзя забывать, что в выступлении Никиты Сергеевича 8 марта содержались и позитивные высказывания в адрес Е. Евтушенко. В самом начале доклада он отметил четырех художников, в произведениях которых «правдиво, с партийных позиций освещается советская действительность». Это были А. Твардовский, Е. Евтушенко, А. Солженицын и Г. Чухрай. В другом месте своей речи он заметил, что любит слушать песню на стихи Е. Евтушенко «Хотят ли русские войны?».

Известно, что, когда в 1962 году у Евтушенко возникли сложности с опубликованием «Наследников Сталина», он обратился с письмом к Хрущеву. Вопрос об этом стихотворении решался на Секретариате ЦК одновременно с вопросом об «Одном дне Ивана Денисовича». Выступая во время этого обсуждения, Н. С. Хрущев будто бы сказал: «Если это антисоветчина, тогда я тоже антисоветчик». Стихотворение «Наследники Сталина» было напечатано в «Правде» 21 октября 1962 г.

Личное знакомство тридцатилетнего поэта с первым секретарем ЦК КПСС произошло 17 декабря 1962 г. Можно даже точно назвать время — около одиннадцати часов утра. В правительственном особняке на Ленинских горах должна была произойти встреча руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, на которой предполагалось обсудить творчество ряда живописцев и скульпторов. Евтушенко и Солженицын одновременно были представлены Хрущеву на лестнице особняка его помощником. «Вот вы какой», — испытующе взглянув на Солженицына, сказал глава партии. Солженицын поблагодарил Хрущева от имени тысяч реабилитированных. «Ну что вы, — засопровтивлялся Никита Сергеевич, хотя услышанное было ему явно приятно. — Это не я, это партия сделала». Потом настала очередь Евтушенко. «Так вот ты какой...» — и снова долгий взгляд.

Поводом для встречи стало обсуждение произведений так называемых «абстракционистов» — так Никита Сергеевич называл тех

художников, в картинах и скульптурах которых была хоть какая-то гипербола, смещение, метафора. Если быть совсем точным, Хрущев называл их «абстрактистами» (воспоминания М. Ромма). Большинство выступавших поддержало критическое отношение Хрущева к подобным произведениям. Возражал И. Эренбург. Возражал Е. Евтушенко.

Молодой поэт, только что вернувшийся с Кубы, где он был специальным корреспондентом «Правды», рассказал о случае, о котором ему, в свою очередь, поведал Фидель Кастро: как при штурме президентского дворца погибли два художника: один — реалист, другой — абстракционист. Идеиные убеждения художника не связаны со стилем, который он выбирает для своей работы, говорил Евтушенко. Пикассо, к примеру, был коммунистом, а ведь у него есть и абстрактные работы.

Выступавшего некстати перебил И. Эренбург: «Ну какой, Евгений Александрович, Пикассо абстракционист. У него был супрематистский период, но где же там у него абстракции...» Эренбург наивно решил внести терминологическую точность. За его реплику ухватился Никита Сергеевич: «Илья Григорьевич все-таки понимает больше вашего. Пикассо — не абстракционист!»

На это Евтушенко сказал нечто, поразившее собравшихся. Он сказал: «Хорошо, возможно, среди картин, которые здесь висят, есть и неудачные. Но почему вы, Никита Сергеевич, не возражаете против тех реалистических картин, которые показывают вас то с колхозниками, то с шахтерами, простите, в каком-то идиотском виде?» Наступила мертвая тишина. Хрущев сидел багровый; Евтушенко понял, что выразился слишком резко. Он пошел на попятную: согласился с тем, что представленные на выставке художники, возможно, ошибаются. Но не надо ставить крест на всем их творчестве. Они живые люди, они исправятся...

«Горбатого только могила исправит!» — взорвался Хрущев и, кажется, тоже понял, что перегнул. Во всяком случае, Евтушенко звонко отреагировал: «Нет, Никита Сергеевич, времена, когда горбатых исправляли могилами, ушли, и навсегда». И, забыв, что собирался читать стихотворение «Считайте меня коммунистом», сел. Снова за столом нависло молчание.

И вдруг Хрущев заплодировал — ему понравилась концовка речи Евтушенко. И все вокруг тоже стали с энтузиазмом хлопать.

Как бы то ни было, выступление Евтушенко запомнилось Никите Сергеевичу. На мартовской встрече он вернулся к нему:

«На нашей встрече в прошлый раз, — сказал он, — в защиту абстракционизма выступил товарищ Евтушенко. Он пытался обосновать свою позицию тем, что хорошие люди бывают и среди реалистов, и среди формалистов, сославшись при этом на пример из жизни двух кубинских художников, которые резко расходились во взглядах на искусство, а погибли затем в одном окопе, сражаясь за революцию. Такой факт в жизни мог быть как частный случай.

Можно привести пример совершенно противоположного характера. После гражданской войны в городе Артемовске, на Украине,

был построен уродливый формалистический памятник, автором которого был скульптор-кубист Кавалеридзе. Это было ужасное зрелище, а кубисты им восторгались (в годы войны памятник был разрушен). Автор формалистического памятника, оставаясь на территории, оккупированной фашистами, вел себя недостойным образом. Так что приведенный товарищем Евтушенко пример не может служить серьезным аргументом в пользу его взглядов.

Позиция товарища Евтушенко в отношении к абстракционизму, по сути дела, совпадает со взглядами, которые защищает товарищ Эренбург. Поэт — человек еще молодой, многого не понимает, видимо, в политике нашей партии, допускает шатания, неустойчивость взглядов по вопросам искусства. Но его выступление на заседании Идеологической комиссии внушает уверенность, что он сумеет преодолеть свои колебания. (Об этом выступлении Евтушенко ничего не известно, заседание Идеологической комиссии с участием молодых писателей, художников, музыкантов состоялось 26 декабря 1962 г., председательствовал Ильичев, Хрущева не было. Евтушенко, видимо, не выступал. — А. М., Ю. Н.) Мне хотелось бы посоветовать товарищу Евтушенко и другим молодым литераторам дорожить доверием масс, не искать дешевой сенсации, не подлаживаться к настроениям и вкусам обывателей. (Продолжительные аплодисменты.) Не стыдитесь, товарищ Евтушенко, признавать свои ошибки. Не бойтесь того, что будут говорить о вас недруги. Вам надо ясно осознать, что если мы вас критикуем за отход от принципиальных позиций, то противники начинают вас восхвалять за угодные им произведения, и народ справедливо будет вас критиковать. Так выберите, что для вас лучше подходит. (Аплодисменты.)»

Это важное место в докладе Н. С. Хрущева. Оценим по достоинству азарт, с которым глава партии спустя три месяца вернулся к реплике Евтушенко о художниках. Хрущев, понимая, что тогда оказался не на высоте, запасся аргументами и теперь как бы брал реванш. Кроме того, именно обращаясь к Евтушенко, Хрущев заявил, что его мнение — это мнение всей партии, а его критика — критика «народа». Три абзаца Никиты Сергеевича растащат по фразам, по строчкам, раздувая обличительную кампанию вокруг Евтушенко («дешевая сенсация», нарушенное «доверие масс», подлаживание под «вкусы обывателей»).

Еще раз фамилия Евтушенко возникла в докладе Хрущева при обсуждении еще одного серьезного вопроса — о положении советских евреев. «В декабре на нашей встрече мы уже касались этого вопроса в связи со стихотворением поэта Евтушенко «Бабий Яр», — сказал Н. С. Хрущев. — Обстоятельства требуют, чтобы мы вернулись к этому вопросу.

За что критикуется это стихотворение? За то, что его автор не сумел правдиво показать и осудить фашистских, именно фашистских, преступников за совершенные ими массовые убийства в Бабьем Яру. В стихотворении дело изображено так, что жертвой фашистских злодеяний было только еврейское население, в то время как от рук гитлеровских палачей там погибло немало русских, украинцев и со-

ветских людей других национальностей. Из этого стихотворения видно, что автор его не проявил политическую зрелость и обнаружил незнание исторических фактов.

Кому и зачем потребовалось представлять дело таким образом, что будто бы население еврейской национальности кем-то ущемляется? Это неправда...» Далее следовала уже целая лекция о положении евреев — с примерами из собственного опыта, с привлечением исторического и современного материала. Не будем касаться этой, весьма значительной, части доклада Н. С. Хрущева, обратимся лучше к его заключительной части, где Евтушенко снова досталось — на этот раз за «поведение за границей». Уже была опубликована его «Автобиография» во французской и западногерманской прессе. Хрущев, однако, о ней ничего не сказал — это было сделано в печати несколькими днями позже и постепенно вытеснило все другие «прегрешения» поэта. «Подлость», «предательство Родины» — так оценивали «Автобиографию» журналисты, авторы возмущенных писем в редакции и коллеги-писатели. Об этом мы подробно поговорим несколько позже. На мартовской же встрече Никита Сергеевич сказал буквально следующее:

«...Знакомись с материалами о выступлениях некоторых советских писателей за границей и не можешь понять, чем они озабочены: то ли тем, чтобы рассказать правду об успехах советского народа, то ли тем, чтобы понравиться зарубежной буржуазной публике во что бы то ни стало. Такие «туристы» раздают направо и налево свои интервью различным буржуазным, в том числе и самым реакционным, газетам, журналам и информационным агентствам, в которых с поразительной безответственностью распространяют небылицы о жизни в родной стране.

Неприятное впечатление оставила поездка писателей В. Некрасова, К. Паустовского и А. Вознесенского во Францию. Неосмотрителен был в своих заявлениях В. Катаев во время поездки по Америке.

Польстят за границей нестойкому человеку, назовут его «символом новой эпохи» или еще как-нибудь в этом духе, он и забудет, откуда, куда и зачем приехал, и начнет плести несуразности.

Совсем недавно поэт Евгений Евтушенко совершил поездку в Западную Германию и во Францию. Он только что вернулся из Парижа, где выступал перед многотысячными аудиториями рабочих, студентов, друзей Советского Союза. Товарищ Евтушенко, надо отдать ему должное, во время поездки вел себя достойно. Но и он, если верить журналу «Леттр франсез», тоже не удержался от соблазна заслужить похвалу буржуазной публики.

Поэт странным образом информировал своих слушателей об отношении у нас в стране к его стихотворению «Бабий Яр», сообщив им, что его стихотворение принято народом, а критиковали его догматики. Но ведь широко знают, что стихотворение товарища Евтушенко критиковали коммунисты. Как же можно забывать об этом и не делать для себя выводов?»

Замечания Хрущева о том, что в целом Евтушенко вел себя за

границей «достойно», почему-то никто в дальнейшем не вспоминал. В повестке дня состоявшегося в конце марта пленума СП СССР, напротив, стоял вопрос о «недостойном поведении Е. Евтушенко за рубежом».

\* \* \*

Так что это за «Автобиография» такая, вызвавшая, если верить газетам, бурное возмущение всего советского народа? Прежде чем рассказать о возмущении, следует прояснить ситуацию с появлением этого материала.

По словам Е. Евтушенко, в феврале 1963 года они с женой находились в ФРГ. И тут как раз приходит из «Международной книги» заказ — написать для американского издательства «Датум» короткую автобиографию. Поэт сел писать и написал не короткую, а длинную. Посетивший его в те дни западногерманский издатель Буцериус заинтересовался, что это герр Евтушенко пишет, а когда узнал, предложил опубликовать в журнале «Штерн». Что и было сделано. В дальнейшем Евтушенко отправился выступать во Францию и опубликовал «Автобиографию» еще и в журнале «Экспресс».

Любопытно, что, когда Буцериус принес Евгению Александровичу в гостиницу гранки будущей публикации, он поинтересовался: «Скажите, а вам на родине дали разрешение это печатать?» «Что вы, — искренне возмутился Евтушенко, — у нас сейчас другая жизнь, никакие разрешения не требуются». «Ну смотрите, — задумчиво покачал головой герр Буцериус, — а то ведь не поздно и снять».

Первый, кому влетело за публикацию «Автобиографии», был герр Буцериус. Он состоял членом ХДС, и коллеги по партии обвинили его в том, что он напечатал коммунистическую пропаганду. В прессе ФРГ была развернута кампания против «Автобиографии». Во франкистской Испании, где «Автобиография» была переведена, ее запретили, изымали из книжных магазинов. Выступая в Париже через несколько дней после того, как «Экспресс» закончил публикацию «Автобиографии», товарищ Жак Дюкло высочайшим образом оценил ее, заявив, что многие люди, вышедшие из ФКП в 1956 году во время венгерских событий, прочитав «Автобиографию», снова возвращаются в партию. Они поверили в благотворность процессов, происходящих в СССР. Посол Советского Союза во Франции Виноградов устроил в честь Евтушенко банкет и заявил на нем, что автор «Автобиографии» так много сделал для пропаганды советской политики, что достоин звания Героя Советского Союза. (Не является ли отголоском этой оценки брошенная Хрущевым фраза о том, что в Париже поэт Евтушенко «вел себя достойно»? Виноградов наверняка сообщил об этом по дипломатическим каналам.) Естественно, после таких оценок и такого триумфа Евтушенко ожидал по возвращении на родину по меньшей мере цветов и фанфар. Ничего этого, как мы знаем, не было.

## Рассказывает Зинаида Ермолаевна Евтушенко

Неприятности начались, еще когда он был во Франции. Я ужасно волновалась. События развивались хуже некуда.

Ко мне, например, пришел заместитель главного редактора «Юности» Сергей Преображенский. Он принес письмо Б. Полевого, в котором тот просил меня, чтобы я уговорила Женю подать заявление о выходе из состава редколлегии «Юности». Сергея Николаевича я знала с военных лет, поэтому сказала ему без долгих церемоний: «Знаете что, обойдитесь в этом вопросе без меня. И вообще, вы Женю ввели в редколлегию тогда, когда он был с Калатозовым на Кубе. Вы же не спрашивали его согласия на это. Вот и выводите, не спрашивая».

Потом раздался удивительный звонок из ЦК, от И. С. Черноуцана: «Вы знаете, Евгения Александровича настраивает его жена. Она оказывает на него плохое влияние. Вы как партийный человек должны бороться за своего сына». Ему я также ответила: «Игорь Сергеевич, мой сын — взрослый человек. Пусть сам решает. Это во-первых. А во-вторых, если Центральному Комитету что-нибудь нужно от меня как от члена партии, вы меня, пожалуйста, вызовите официально и официально изложите свою позицию. Но самое главное: как бы на него ни влияли, я вам ручаюсь, что изменником Родины он никогда не будет». Вот так.

Когда Женя наконец приехал, он пришел ко мне и говорит: «Мама, не задавай мне никаких вопросов. Я попросил, чтобы мне из-за границы вернули рукопись «Автобиографии». Когда я ее получу, ты прочтешь и мы поговорим». Когда он получил рукопись, он отнес ее не мне, а помощнику Хрущева, чтобы Никита Сергеевич смог самостоятельно ознакомиться с текстом «Автобиографии», а не с его изложением. Через несколько дней Хрущев сказал: «А я, собственно говоря, не знаю, Евгений Александрович, что тут такого особенного». Но маховик был уже запущен...

Те мартовские дни были самыми тяжелыми. Его прорабатывали где только можно. Замучили телефонные звонки (кстати, главным образом сочувствующие). Женя тогда получил квартиру в Амбулаторном переулке и несколько недель вообще не выходил на улицу. Он очень тяжело переживал нападки в печати и особенно то, что этим занимались некоторые из его недавних друзей. Я носила ему туда еду. Он жил на шестом этаже, и когда я пришла первый раз, то обнаружила, что вся лестница с первого этажа до шестого занята людьми. Я даже испугалась и спросила, что они тут делают. «Мы охраняем Евтушенко», — сказали люди. Выяснилось, что многие даже приехали из других городов, они опасались, что дело не ограничится проклятиями в печати. Люди считали, что после того, как в газетах ежедневно поэта называют предателем, его непременно должны арестовать.

## Рассказывает Евгений Евтушенко

Однажды рано утром, часов в семь, ко мне вломился Женька Урбанский, страшно возбужденный и с трехлитровой банкой томатного сока: «Старик! — воскликнул он. — «Голос Америки» вчера передал, что ты покочил жизнь самоубийством. Я не поверил, по дороге купил тебе соку. Давай выпьем». Мы выпили, и не только соку.

Сидим мы с ним, а в девять утра снова звонок в дверь. Стоит участковый: «Господи, жив! Евгений Александрович, я вас очень прошу, покажитесь народу». — «Какому народу?» — «Да вы выйдите на балкон». Я вышел на балкон и увидел внизу, на улице, толпу. Ситуация глупая. Я помахал им сверху, они поаплодировали, крикнули «ура!». Урбанский был в полном восторге.

Проходит еще час, снова незванные гости. На этот раз двое: административный секретарь Московской писательской организации В. Н. Ильин и секретарь парткома И. Ф. Винниченко. Они говорят: «Женя, ну что вы сидите дома, пьете с товарищем на кухне, а в это время по городу ползут слухи о вашем самоубийстве, их муссируют разные «голоса». Вот вы бы взяли вашего друга Эрнста Неизвестного, пошли бы с ним куда-нибудь в ресторан, пошумели бы, шампанским постреляли...»

Все это было похоже на какой-то бред: почему Неизвестный, при чем тут шампанское? Но они удивили нас с Урбанским еще больше, когда сказали: «Кстати, если у вас с деньгами плохо, в этом конверте кое-что из наших фондов. Идите в ресторан сегодня же, не откладывайте». В конверте было сто рублей. Мы позвонили Эрнсту, отправились в ВТО, исполнили все, что было заказано парткомом, — и пошумели, и шампанским постреляли.

Через несколько дней приходит ко мне мама и рассказывает удивительную историю. Тогда во всех учреждениях проходили собрания, на которых меня осуждали за «Автобиографию». Я узнавал о них из газет. Провели такое и у мамы, влетело ей за то, что такого сына вырастила. Секретарь райкома, в частности, сказал: «Как же это, Зинаида Ермолаевна, получилось, что ваш сын, вместо того чтобы всерьез задуматься о происшедшем, пришел в ВТО и устроил дебош. У нас есть сигнал». Мама не успела ничего сказать, как поднялся присутствовавший на собрании представитель горкома: «Товарищи, я хочу внести ясность. Товарищ Евтушенко был в ресторане по просьбе парткома Московской писательской организации. Появилось беспокойство за его состояние, и, проявляя о нем заботу, товарищи посоветовали ему «выйти в люди»». Вот такая уникальная история.

Это было странное время. Никогда меня так не громили в печати и на собраниях, как тогда. И никогда я не чувствовал такой народной любви, как в те недели и месяцы. У меня тогда появилась строчка: «Как нежен гнев народа моего...» — но стихотворения об этом я так и не написал. Я получил массу писем, люди присылали деньги, думая, что я нуждаюсь. Это были в основном рабочие. Одна четырнадцатилетняя девочка прислала три рубля, сэкономленные на моро-



женом. Это было очень трогательно. Деньги я, разумеется, отправлял обратно, а девочке послал книжку с надписью.

Потом я уехал на станцию Зима, от всех спрятался. Вдруг позвонил секретарь Иркутского обкома партии по пропаганде А. Н. Макаров, раньше хорошо ко мне относившийся, и попросил приехать в Иркутск. Я думал, мне от него достанется, а он встречает у самолета с шампанским, наливает в бумажные стаканчики: «Что ты там заперся у родственников? Пovyступай, поговори с людьми. Сорок выступлений потянешь?» Я опешил: «Да вы что, Александр Николаевич, газет столичных не читаете? Меня же предателем называют...» «В Сибири солнце встает на пять часов раньше», — загадочно ответил он. А когда я возвращался в Москву, он при мне позвонил в ЦК Поликарпову и долго расписывал, как хорошо меня принимал рабочий класс, сибиряки.

Мне неудобно об этом вспоминать, но фактов проявления внимания ко мне в то время было множество. Например, когда я, направляясь в Братск, находился на борту парохода «Фридрих Энгельс» (о котором позже написал стихотворение «Граждане, послушайте меня!»), люди подплывали к нему на лодках и разворачивали плакатики: «Привет, Евтушенко!», «Мы вас ждем». На своем опыте я убедился: гонениями власти всегда достигают обратного результата, гонимый человек становится очень популярным в народе.

Не забуду помощи очень многих людей. Когда мне было особенно плохо, ко мне пришел замечательный писатель Юра Казаков, и в руках у него уже были билеты в Вологду. Мы поехали с ним и с Георгием Семеновым на охоту, я отвлекся от московских событий, познакомился с замечательными людьми, написал стихи, ко мне пришло второе дыхание.

Вспоминается и такое. Когда в Союзе писателей было устроено обсуждение «Автобиографии», я в перерыве спустился в буфет и обнаружил, что вокруг меня — вакуум. От меня просто все шарахались. И вдруг образовавшуюся пустоту пересекли два человека. С одной стороны подошел Владимир Фирсов, который сказал буквально следующее: «А помнишь, как я у тебя дома голодный ел борщ? А теперь вот купил своей Люсе апельсины и даже ананас (и он показал на авоську), а твоя песенка спета». Этот случай я воспроизвел с большой степенью документальности в стихотворении «Компот»... А с другой стороны буфета подошел редактор журнала «Москва» Поповкин: «Евгений Александрович, — сказал он громко, чтобы все слышали, — принесите, пожалуйста, к нам в журнал стихи. Мы их напечатаем». И он действительно напечатал их. Поповкина многие поминают как реакционера. А я не могу забыть тех его слов. Кстати, ведь это именно он напечатал в «Москве» «Мастера и Маргариту».

\* \* \*

Компания против Евтушенко в 1963 году состоялась, можно сказать, из нескольких этапов. Первый — дни после мартовской встречи Н. С. Хрущева с творческой интеллигенцией, когда представители

этой самой интеллигенции захлебывались от впечатлений. («Я возвращался со встречи окрыленный, гордый великой правотой нашего времени, нашей партии, воодушевленный служением великому делу коммунизма. И пусть помнят наши враги: какие бы рок-н-роллы с абстрактной мазней они нам ни подсовывали, наш идеологический порох мы, советские литераторы, будем держать сухим». В. Фирсов «Литературная Россия», 15 марта 1963 г.)

Второй этап начался с появлением первых сведений об «Автобиографии». Во всяком случае, на пленуме СП СССР, состоявшемся в последние дни марта и посвященном задачам писательского союза в свете выступления Н. С. Хрущева, «Автобиография» оказалась в центре всего обсуждения, хотя Хрущев, как известно, о ней ничего не сказал.

Наконец, третий этап — когда мишени были уже расставлены и по ним осуществлялась методичная стрельба. Каждое публичное появление Евтушенко, а уж тем более появление в печати его стихов сопровождалось неодобрительными откликами. Один из многочисленных примеров — статья Ивана Кузьмина «Из дальних странствий возвратясь» («Октябрь», 1963, № 12):

«"Вот новый Евгений Евтушенко", — думает читатель, раскрывая журнал "Юность" (№ 9) с циклом стихов поэта ("Опять на станции Зима", "Невеста", "Оленины ноги" и другие). И верно, уже в первом стихотворении автор говорит о "критике крутой, полезной нам в конечном счете"... Если говорить откровенно, новый цикл не очень-то убеждает, что "критика крутая" оказалась поэту полезной... Есть и в новом цикле крепкие поэтические строфы (например, о женщине-матери в первом стихотворении). Но не слишком ли много в них анархичности и эгоцентризма, знакомых нам по прежним книгам Е. Евтушенко?»

Итак, начнем с непосредственных откликов на мартовскую встречу. Хотелось бы продолжить цитирование статьи В. Фирсова «Держать порох сухим!» (название — выражение Н. С. Хрущева):

«...Бог знает откуда, — писал этот молодой поэт, — кажется, с легкой руки Е. Евтушенко, в поэзии появились «мальчики», которые, по утверждению некоторых поэтов, более правы, чем их отцы. Наметился некий тип «мальчика», танцующего рок-н-ролл, поклонника джаза и худших творений Пикассо, но готового — опять же со слов тех же немногих поэтов! — умереть за Советскую власть. Лично я глубоко в этом сомневаюсь. И сомневаюсь не потому, что любить Пикассо — великий грех, а потому, что, приходя в трепет при имени этого художника, он, этот «мальчик», тем самым поплеывает на прекрасные творения реалистической школы русской живописи... Я глубоко убежден, что эти «мальчики» напрочь лишены чувства национальной советской гордости».

В этом выступлении, как и во многих других, «мальчики» обвиняются в несуществующих грехах: никогда, ни одним словом не давали они повода для упреков в плохом отношении к «реалистической школе русской живописи».

В. Фирсов демагогически отмежевывается от тех, кто полагал, что

«любить Пикассо — великий грех». Александр Прокофьев был менее гибок, он рубил правду-матку: «...Абстракционизм — как космополитизм, у него нет отечества. Он проник и проникает к нам, как лазутчик, с чуждых берегов. Он проникает к нам, как диверсант, готовый взорвать изнутри устои нашего искусства. Он чужд всему нашему укладу, всему тому светлому и прекрасному, чем мы живем...» («Правда», 27 марта 1963 г.).

То есть получалось, что если бы не Н. С. Хрущев, грудью вставший на защиту отечественного искусства от всякого рода модернизма, то и наша культура, и все общество в целом, и каждый его член подверглись бы чуть ли не уничтожению. «Вот какую опасность отвела от народа и от тебя, молодой современник, наша партия... Как же не радоваться этому всей душой?» (передовая в «Молодой гвардии», 1963, № 3).

28 марта состоялся пленум СП СССР, на который были вызваны Евтушенко и Вознесенский. Им предстояло выслушать в свой адрес град обвинений от старших собратьев по перу и сверстников, а потом дать объяснения, желательно — покаянные. Из старших товарищей особенно резко выступили С. Михалков, поинтересовавшийся у Евтушенко с трибуны, за сколько сребреников он продался буржуям, А. Софронов, А. Прокофьев, В. Федоров, Г. Марков, Ю. Жуков; из молодых выступали Владимир Фирсов и Чингиз Айтматов. Вел заседание Александр Корнейчук. Он сказал: «Вознесенский, Евтушенко и подобные им молодые люди не понимают, куда их толкают враждебные нашему государству, нашему народу силы. Они не видят этого, не понимают ловкости зарубежных «ловцов душ», и, кто знает, если бы партия не остановила их, они бы могли зайти очень далеко, и тогда бы пришлось говорить совсем в другом тоне. И Евтушенко, и Вознесенский, и некоторые молодые наши художники и скульпторы должны быть благодарны партии, товарищу Хрущеву за то, что им раскрыли глаза, показали, куда они могут зайти, если будут упорствовать в своих ошибках» («Литературная газета», 30 марта 1963 г.). То есть, с одной стороны, молодых ругали, а с другой — все это преподносилось как забота о них. «Ведь мы же за вас боремся!» — воскликнул А. Корнейчук во время пленума («Известия», 29 марта 1963 г.).

«Сейчас, — вдруг понизив голос, говорил только что бушевавший А. Софронов, — кое-кто высказывает опасения: как бы не было перегибов, как бы не «зажали» кого-то и т. д. Да не «зажмут», не надо бояться. У нас Советская власть добрая, партия у нас добрая, человечная. Работать надо честно, добросовестно, тогда все будет в порядке...» Этакий добрый дедушка, сменивший вдруг кнут на пряник.

Достоинно внимания выступление все того же Владимира Фирсова. Поднявшись на трибуну, он начал так:

«Мы не можем не чувствовать ответственности за то, что совершено Е. Евтушенко. Я хочу оценить его поступки по большому комсомольскому счету, по счету тех комсомольцев, для которых святы имена Николая Островского и Олега Кошевого, а не Пастернака и Ахмадулиной.

Мне думается, что немалая вина за поведение Е. Евтушенко ложится на тех, кто на протяжении нескольких лет способствовал незаслуженному восхвалению пяти-шести молодых писателей. Какими только эпитетами не награждались Евтушенко, Ахмадулина, Аксенов! Создавалась видимость, что в литературе больше не существует ничего, что их творчество самое прогрессивное, самое новаторское, даже, как утверждали, самое коммунистическое!» Внимание, зафиксируем эту мысль: популярность молодых поэтов незаслуженно раздута критикой. Далее мы еще вернемся к этому суждению, с помощью которого бездари разных поколений пытались объяснить отсутствие читательского внимания к их собственным сочинениям.

И наконец, самое важное в выступлении В. Фирсова:

«Замечательный советский педагог Макаренко перевоспитывал правонарушителей доверием. И это давало плоды. Но то доверие, которое было оказано многим нашим заблуждающимся молодым литераторам, таких плодов не дало. Перевоспитали ли мы товарищей Аксенова, Евтушенко, Вознесенского постоянными заграничными командировками, введением их в редколлегии, массовыми изданиями? Теперь всем ясно, что не перевоспитали. В это время они сами «воспитывали» читателей, да порой так воспитывали, что нам придется теперь много поработать для ликвидации последствий их воспитания...»

Вы почувствовали железную уверенность оратора в том, что наконец-то время Евтушенко, Вознесенского, Аксенова закончилось и дело воспитания молодежи будет поручено ему, Фирсову («нам придется теперь много поработать...»)? По всей видимости, ему уже решились проявления этого «доверия»: заграничные командировки, редколлегии, тиражи...

А что же «обвиняемые»? Евтушенко на пленуме пытался объяснить. Он привел примеры того, как «Экспресс» исказил его авторский текст. Призвал участников пленума верить не переводу с перевода, где множество ошибок и неточностей, а его собственному тексту. Он попытался даже объяснить значение некоторых выражений, которые не понравились тому или иному выступающему. Так, он не мог согласиться с тем, что антисоветской назвали такую фразу: «К святому древку знамени нашей революции прикасались многие грязные руки. Мы обязаны стереть следы этих рук с древка нашего знамени». Корнейчук взорвался: «Это ложь, клевета, к древку нашего знамени никогда не прикасались грязные руки, они только тянулись к нему, но история каждый раз их отбрасывала». Трудно было полемизировать с подобными демагогическими аргументами.

Накануне пленума Евтушенко звонил помощник Хрущева и от имени главы партии просил покаяться (Хрущев позже отрицал, что такая просьба имела место). Евтушенко попытался: «Я хочу заверить писательский коллектив, что полностью понимаю и осознаю свою ошибку, постараюсь исправить ее всей последующей работой». Однако, как отмечалось в отчете о пленуме («Литературная газета», 30 марта 1963 г.), выступление Евтушенко не удовлетворило участников пленума: в его речи явственно прозвучали и такие ноты, кото-

рые показывают, что Е. Евтушенко не осознал корней своих ошибок — и в случае с публикацией «Автобиографии», и в некоторых других стихах.

\* \* \*

И пошло, и поехало...

Следом за пленумом «большого» Союза писателей состоялся пленум СП РСФСР. «Нет, с такими молодыми людьми мне не по пути, мне не хотелось бы быть с ними бок о бок», — сообщала о своем прозрении Вера Инбер. «Мы, — говорил Сергей Баруздин, — всегда стояли на позициях партийности и народности нашей литературы, всегда правильно понимали вопросы традиций. И наконец, мы не нарушали норм собственного поведения и не вытворяли того, что вытворяли Е. Евтушенко, А. Вознесенский и В. Аксенов как в собственном Отечестве, так и за границей. Мы не утрачивали чувства патриотизма, как это случилось с некоторыми молодыми и немолодыми нашими собратьями по перу» («Литературная Россия», 5 апреля 1963 г.).

И снова выступил В. Федоров. На этот раз он высказал такое подозрение: «Порой мне кажется, что у этих застарелых мальчиков заранее были распределены роли: полностью ошибающийся Вознесенский, полуошибающийся Евтушенко. Впрочем, теперь пальма первенства за Евтушенко. За серебряники, которые Евгений Александрович получил в Париже, его теперь сравнивают с Иваном Александровичем Хлестаковым. По-моему, это не совсем точное сравнение. Мне вспоминается образ из романа «Молодая гвардия» — Евгения Стаховича, двойником которого в жизни был скользкий хлюпик Геннадий Почепцов. Считаю, что поступок Евтушенко пахнет не хлестаковщиной, а стаховщиной» («Литературная Россия», 12 апреля 1963 г.).

Дальше, как говорится, некуда. Впрочем, бывали оценки и похлеще. Например: «Пресмыкаясь перед империалистическими заправилками реакционной прессы, Евтушенко искажает историю советского общества, клеветает на советский народ, бросает тень на советский строй». Ну что взять с автора журнала «Пограничник» (1963, № 10) А. Мигунова! Но когда подобное звучало из уст известнейших писателей, призванных сеять разумное, доброе, вечное, — дискредитировалась сама писательская профессия. Говорят, что в хоре петь проще. В 1963 году в хоре, предавшем анафеме Евтушенко, чьи только голоса не звучали. Дирижеры этого представления стремились привлечь к осуждению людей познаменитее.

Дважды принял участие в этой кампании Юрий Гагарин. В День космонавтики — 12 апреля 1963 г. — за его подписью появилось в «Литературной России» «Слово к писателям»:

«И тут я должен сказать о чувстве Родины... Очень обидно, что у некоторых молодых писателей это чувство притупилось, а шумиха, поднятая вокруг них за рубежом, вскружила их слабые головы. Что можно сказать об «Автобиографии» Евгения Евтушенко, переданной им буржуазному еженедельнику? Позор! Непростительная безответственность!»

Мы не случайно сформулировали осторожно — «за его подписью». Ясно, что не первый космонавт был автором этого выступления. Когда он спустя месяц держал речь на открытии Всесоюзного совещания молодых писателей, говорят, споткнулся, дойдя до абзаца о Евтушенко. Ему стоило некоторого труда произнести:

«Я не понимаю вас, Евгений Евтушенко... Вы писатель, поэт, говорят, талантливый. А вы опубликовали в зарубежной прессе такое о нашей стране и о наших людях, что мне становится стыдно за вас. Неужели чувство гордости и патриотизма, без которых я не мыслю поэтического вдохновения, покинуло вас, лишь только вы пересекли границы Отечества? А ведь без этих чувств человек нищает духом, теряет себя, обкрадывает свое творчество...»

С Гагариным у Евтушенко были хорошие, дружеские отношения. Познакомились на Кубе, потом неоднократно и по разным случаям встречались. Разумеется, участие Гагарина в той кампании ранило молодого поэта больше, чем, скажем, пространные статьи критика Ал. Дымшица, клеймившего Евтушенко в буквальном смысле слова ежедневно («Комсомольская правда», 24 апреля 1963 г.; «Литературная газета», 25 апреля 1963 г.).

В своем выступлении Ю. Гагарин, в частности, упрекнул Евтушенко в том, что тому неизвестна природа электричества. Говорят, через несколько дней физик П. Л. Капица, встретив Гагарина, взял его под руку и при стечении народа сказал: «Юрий Алексеевич, мы все бьемся над загадкой происхождения электричества, а вы, видимо, сделали великое открытие. Вы бы поделились с нами...»

Надо думать, это был не единственный отзыв, который Гагарину пришлось выслушать после своих выступлений. Вряд ли он был доволен тем, что его использовали для нанесения обиды человеку, которому он, в общем-то, симпатизировал. В апреле 1964 года, когда Евтушенко в доме отдыха «Сенеж» дописывал поэму «Братская ГЭС», ему туда позвонил Гагарин и пригласил выступить в Звездном городке на концерте по случаю Дня космонавтики, который должен был транслироваться на всю страну. Таким образом он хотел поддержать опального поэта и восстановить с ним отношения.

Евтушенко приехал 12 апреля в Звездный, с тем чтобы прочесть в концерте отрывок из поэмы «Азбука революции». Волнуясь, он ждал своего выхода, когда к нему подошел растерянный Ю. Б. Левитан и сообщил, что ему запретили объявлять Евтушенко. Участие поэта в концерте отменялось.

Оскорбленный Евтушенко вскочил в машину и помчался в Москву. Не менее его возмущенный Гагарин выслал следом за ним Севастьянова. Короче, отношения были все же налажены...

Еще один персонаж, без которого не обойтись, рассказывая о кампании 1963 года, — С. П. Павлов, тогдашний первый секретарь ЦК ВЛКСМ. И снова нужно сказать несколько слов об истории их взаимоотношений.

В 1962 году накануне открытия фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки группа неофашистов предприняла несколько провокаций в отношении советской делегации. Был подожжен советский клуб,

возле корабля, на котором жила наша делегация, проводились митинги, в делегатов швыряли бутылки, гнилые фрукты, яйца, одной балерине разбили колено. Ночью в каюту к Евтушенко пришел Павлов, кстати, на себе испытавший бесчинства неонацистов, и попросил написать стихотворение, чтобы поднять дух советской делегации. Но стихотворение уже было написано. В семь утра Евтушенко читал его на палубе перед советской делегацией, а к одиннадцати утра оно уже было переведено на многие языки, отпечатано, и участники фестивального марша получили его в руки.

На следующее утро стихотворение напечатала «Комсомольская правда». Поступок Евтушенко получил широкую огласку. Когда делегация вернулась, Павлов сначала на митинге в Ленинградском порту, а потом на митинге в Москве на Комсомольской площади назвал Евтушенко героем фестиваля, проявившим лучшие качества советского человека, и т. п.

И вот минуло лишь несколько месяцев, и в мае 1963 года С. П. Павлов, выступая на Всесоюзном совещании молодых писателей, говорил уже совсем другие вещи:

«Во всяком половодье есть пена. Она присутствовала и в молодой литературе. Особенно в творчестве Евтушенко, Вознесенского, Окуджавы... Стыдно за их позерство и самолюбование. Стыдно за то, что, ослепленные славой, эти молодые люди стали клеветать на самую примитивную приманку. Наши идейные враги — крупные спецы по части приманок. Они сумели найти слабое место у этих молодых литераторов и усиленно подкармливали их сладким и потому страшным ядом — лезтью.

И вот уже талант уступает место бахвальству, желание покрасоваться на обложке зарубежного издания (неважно какого) приводит к фрондерству, брюзжанию, нравоучениям, свою претенциозную деятельность они стали сопровождать «исследованиями», одинаково малограмотными по части как политики, так и эстетики. От всего этого рукой подать до духовного мещанства, угодничества перед зарубежными идеологическими боссами. Как метко сказал Леонид Соболев, «на переднем крае такие устанавливают вместо пулеметного гнезда ресторанный столик для кокетливой беседы за стаканом коктейля»... Обо всем этом уже достаточно много сказано, но мы не можем не вернуться к этому еще раз, хотя бы потому, что эта группа молодых литераторов длительное время вела атаку на сознание нашей молодежи...» («Комсомольская правда», 11 мая 1963 г.).

Видите, как получается, вместо того чтобы залечь за пулеметами на границах нашей страны, они атакуют не идеологического противника, а свою, советскую, молодежь.

Нужно сказать, что метафоры из военного лексикона были тогда в большом ходу. «Держать порох сухим!», «Вести прицельный огонь» — заголовки статей 1963 года, в которых обличались молодые поэты. Георгий Марков, выступая на пленуме СП СССР, сказал: «...То, что произошло с Евтушенко, если говорить всерьез, по-мужски, — а мы здесь в большинстве своем старые солдаты, — это же сдача позиций. Это значит уступить свой окоп врагу... Сибиряки

за это не поблагодарят т. Евтушенко» («Литературная газета», 30 марта 1963 г.).

Что же касается Павлова, то он в своем следующем выступлении — на Пленуме ЦК ВЛКСМ — пошел еще дальше. Потрясая газетой Закавказского военного округа, где поэт сфотографирован в башне танка в форме танкиста (снимок был сделан, когда он находился на военных сборах), Павлов заявил, что он не берет с точностью сказать, в какую сторону будут в случае войны стрелять танки, с башен которых Евтушенко читал свои стихи.

Еще в одном выступлении С. П. Павлов вспомнил, что в свое время «Евтушенко исключали из комсомола за то, что он два года не платил членских взносов» («Комсомольская правда», 11 мая 1963 г.), что выглядело совершенно неправдоподобно: поэт был комсомольцем более чем убежденным, возглавлял как раз в то время комсомольскую организацию московских писателей.

Позже, уже будучи послом СССР в Бирме, Павлов признался побывавшему в этой стране Евтушенко, что организовывал травлю поэта по собственной инициативе, «войдя в раж», чтобы выслужиться. Никто ему указаний на сей счет не давал.

\* \* \*

Не удивительно, что массированный удар был нанесен по Е. Евтушенко именно со страниц «Комсомольской правды» — органа ЦК ВЛКСМ.

«Комсомолка» не раз возвращалась к творчеству популярного молодого поэта и неизменно оценивала его со знаком «минус». Можно назвать статьи А. Туркова «В погоне за дешевым успехом...» (20 сентября 1959 г.), А. Елкина «Мера добра и зла» (18 марта 1960 г.), Ю. Верченко «Поэтическое гусарство и общие места на выворот» (5 января 1961 г.), Ю. Идашкина «Отцы и дети?» (18 января 1963 г.).

10 марта 1963 г. в «Комсомольской правде» была напечатана статья Евг. Наумова «Знаем ли мы молодую поэзию?». Там, в частности, содержалась такая оценка: «Ведь что происходит с Е. Евтушенко? Поэт несомненно большого дарования, он по праву завоевал себе видное место в нашей поэзии. Но критика так переусердствовала, что как будто вовсе перестала замечать других. Вокруг имени Евтушенко поднялась такая суматоха, которая не могла пойти и не пошла на пользу поэту. Очевидно, слишком поверив похвалам и с недоверием отнесясь к раздававшимся критическим голосам, он начал терять некоторые ценные качества своего поэтического дарования...»

Как видим, тут отмечались не только «слабые», но и сильные стороны в творчестве молодого поэта. «Евтушенковская» часть статьи заканчивалась вполне миролюбиво и даже оптимистически: «Думается, что главные достижения поэта еще впереди, у него хватит для этого силы».

Опубликовано это было, повторяем, 10 марта. А в этот день в



«Правде» появился текст выступления Н. С. Хрущева на встрече с творческой интеллигенцией. И тон «Комсомольской правды» сразу изменился. На ее страницах стали публиковаться возмущенные «письма читателей», по всей видимости, сфабрикованные внутри редакции. 29 марта «Комсомолка» напечатала выступление Чингиза Айтматова на пленуме СП СССР (о нем мы особо скажем несколько позже). На следующий день — 30 марта — появилась статья трех руководителей газеты — Г. Оганова, Б. Панкина, В. Чикина «Куда ведет хлестаковщина». Статья эта положила начало новому витку травли (иначе не назовешь), апофеозом которой стал выход в «Библиотеке "Комсомольской правды"» (М., издательство «Правда», 1963, № 7) книжки «Во весь голос», куда кроме статьи упомянутой троицы вошло несколько десятков читательских писем, клеймивших Евтушенко и выражавших согласие с позицией редакции.

Полистаем эту книжку, ставшую ныне библиографической редкостью, несмотря на тираж 113 тысяч экземпляров, превысивший тираж книг поэта того времени.

«Трудно переоценить значение минувших месяцев в духовной, идейной жизни нашего народа, — говорилось в предисловии от редакции. — Декабрьская, а затем мартовская встречи руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, глубокие, страстные выступления Н. С. Хрущева на этих встречах» заставили их, деятелей, по-новому взглянуть на свое творчество. «Печально-поучительны... выступления поэта Е. Евтушенко в буржуазной западной прессе... В то же время исключительно знаменательна реакция широких читательских масс на этот поступок и на само содержание "писаний", опубликованных во французском еженедельнике "Экспресс" и западногерманской газете "Ди цайт"».

Редакцию «Комсомольской правды» не смущало, что, здраво рассуждая, «широкие читательские массы», для того чтобы возмутиться и отреагировать, должны были для начала эти самые «писания» хотя бы прочитать. «Экспресс» и «Ди цайт» вряд ли относились в то время к числу наиболее читаемых «широкими массами» газет.

Статья «Куда ведет хлестаковщина» начиналась хлестко: «Теперь истории литературы известны две автобиографии поэта Евгения Евтушенко. Одна из них написана для Союза писателей, другая — для парижского еженедельника «Экспресс». Эти два документа сильно разнятся. В том числе и размерами: в первом — полторы страницы скромного рукописного текста — «родился, учился, публиковался...», в другом — чуть ли не сто страниц рассуждений, предсказаний, откровений и откровенностей...»

И вот авторы статьи «Куда ведет хлестаковщина» делают попытку доказать, что все написанное Евтушенко на этих страницах — злонамеренный вздор, умышленная клевета на свой народ, свою историю, свою страну. Впрочем, доказательствами они себя не утруждали, используя простой метод: после соответствующей цитаты Евтушенко вместо аргументов находим категорические выводы: «ощунство», «вздор», «глупости».

Например, приводится такой фрагмент: «Я пошел в "Форум" в День Победы. Это был особенный день. Люди смеялись, целовались, плакали. Они полагали, что самое худшее позади и начинается лучшая жизнь...» Следует замечание: «Если бы весь этот вздор был опубликован в нашей стране, то любой успевающий школьник уличил бы автора. Но «исповедь» опубликована в капиталистической стране, в реакционном буржуазном журнале, она написана для читателя, имеющего весьма смутное представление о нашем обществе, его истории и проблемах. Этот читатель может легко принять глупости за откровение, позерство за искренность».

Оспаривались и литературные оценки, например, касающиеся литературы сталинского периода: «...Эти произведения были настолько пустыми, что их трудно было отличить одно от другого»; «Ах, если бы машины умели читать! Они оценили бы стихи, написанные в ту пору»; «Духовная жизнь народа была низведена до уровня описания различных аспектов труда. Так сталь превратилась в главного героя многочисленных романов... Живые существа играли вспомогательную роль в этих романах. Впрочем, они и не были живыми существами...» Следовало возражение: «Не были? А разве не вечно живыми останутся для советских людей герои литературы, учившие нас закалять сталь характеров, идти и побеждать на дорогах труда и борьбы!»

Именно в статье Г. Оганова, Б. Панкина, В. Чикина Евтушенко был впервые противопоставлен Маяковскому (в дальнейшем такое противопоставление станет уже общим местом). Особенно понравилось авторам статьи такое двустишие Маяковского: «У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока...» Евтушенко, по их мнению, забывает об этой особой «советской» гордости, недостаточно «свысока» взирает на буржуев. Поведение Евтушенко — это «вихляние легкомысленной рыбки, уже клюнувшей на червячка западной пропаганды, но еще не почувствовавшей острия и воображающей, что она изумляет обитателей океана грациозной смелостью своих телодвижений. А удильщикам из буржуазных газет и журналов уже не терпится насладиться добычей».

Не менее образно выражаются авторы статьи в финале: «Можно в конце концов набить себе такой синяк, что он останется навсегда несмываемым родимым пятном».

Справедливости ради надо отметить, что Б. Панкин позже изменил свое отношение к творчеству и личности Евтушенко, признав свою неправоту. Так же поступил и критик В. Оскоцкий, в 60-е годы разругавший «Братскую ГЭС», а в 70-е забравший свои слова обратно. Поступки, редкие в литературном мире...

Что же касается авторов 1200 писем, которые, как утверждала редакция, пришли в «Комсомольскую правду» после статьи Оганова, Панкина, Чикина, то нам трудно судить, какая часть из них лила воду на мельницу комсомольского органа. В брошюре, о которой мы говорим, опубликовано только одно письмо в поддержку поэта и десятки — против.

Ежегодно в Большом зале ЦДЛ проводится мероприятие, на котором Московская писательская организация подводит итоги поэтического года. И каждый раз на трибуне происходит парад уязвленных самолюбий: члены писательского союза один за другим жалуются на отсутствие внимания к себе, на то, что несколько поэтов (фамилии называются) «оккупировали» телевидение, «подкупили» критику, а им, рядовым труженикам пера, не дают «пробиться» к читателю. Звучат вопросы: отчего такой-то поэт ежегодно издает книгу стихов, а я уже пять лет не могу издаться? Раз даже была принята резолюция в адрес телевидения с требованием регулярно знакомить зрителей с творчеством лучших поэтов Московской писательской организации (следовал не краткий список отнюдь не лучших поэтов этой самой организации).

Читая периодику 1963 года, мы убедились, что и тогда, в начале шестидесятых, причины стойкой популярности того или иного автора искались в злонамеренности критики, в узости кругозора средств массовой информации, а вовсе не в его творчестве, не в созвучности этого творчества времени.

Случай с Евтушенко — характерный случай. Стартовый сигнал был дан даже раньше мартовской встречи с интеллигенцией. 26 декабря 1962 г. на заседании Идеологической комиссии при ЦК КПСС Л. Ф. Ильичев раздраженно заметил: «...За последнее время некоторые резвые на похвалу критики, да и не только критики, одарили многих молодых поэтов и прозаиков комплиментами на многие годы вперед». Эта мысль тут же получила поддержку, понравилась писательской общественности. Главным образом тем литераторам, у кого молодые поэты отнимали читателя.

Выступая на очередном пленуме СП РСФСР, Л. Соболев развернул замечание Ильичева во впечатляющую картину:

«Кажется, Аркадий Аверченко, говоря о магазине фальшивых драгоценностей фирмы «Тэта», в витринах которого бешено метались на дергающихся рычагах яркие лампы, меланхолично заметил, что при таких условиях «и скромный обломок кирпича засверкать может». Вот такую же хорошо оборудованную витрину молодых талантов создали их духовные отцы и критические кузены безудержным захваливанием — и устным, и печатным, в метании по всем Европам и Америкам. Трезвые голоса тонули в шуме аплодисментов и взаимных восхвалений, и стоило кому-нибудь попытаться приостановить бешеное сверкание рекламного агрегата, чтобы включить спокойный и беспощадный свет критерия идейности, как подымался дружный вопль и детей, и духовных отцов о возрождении методов культа личности. Парадоксально, что ни те, ни другие при этом не замечали, что сами действуют именно этим методом: критической дубинкой, гуляющей по головам инакомыслящих, отказом в приеме в союз и молодых, и пожилых литераторов, стоящих не на их позициях, и другими, проверенными той эпохой способами».

Тут, как видим, не просто творческое, писательское развитие

замечания секретаря ЦК. В пассаже Л. Соболева содержались и рекомендация невыпускания за границу («Европы и Америки»), и упоминание об идейной ущербности молодых авторов («свет критерия идейности»), и попытка уличить в использовании осужденных партий методов («возрождение методов культа личности»). То есть налицо все признаки политического доноса, апелляции к властям.

После мартовской встречи, на которой окончательно были поставлены мишени, нападки на молодежь стали персонифицированными. Николай Грибачев, окрыленный похвалой Хрущева, противопоставившего его стихи творчеству «незрелого» Рождественского, вводит в свою критическую книгу «Полемика» (М., «Советский писатель», 1963) специальную главу «Что я могу сказать о Евгении Евтушенко?». И в этой самой главе заявляет, что в недостатках Евтушенко «повинна... и наша критика, у которой просто не хватило выдержки в столкновении с тогда еще молодым Евгением Евтушенко, — она слишком часто то обмазывала ему губы медом похвал, то пыталась вывалить в дегте и перьях. Молодому поэту при таких условиях нетрудно и сорваться, закусить удила». Сказано сдержанно, с чувством собственного достоинства. Как бы имелось в виду, что уж ему, Грибачеву, Евтушенко никак не соперник.

В иной тональности были выдержаны статьи в комсомольской прессе. «С особым усердием узкой группе деятелей литературы и искусства, в числе которых есть и молодые, еще очень незрелые люди, как, скажем, Е. Евтушенко или А. Вознесенский, начали искусственно создавать популярность, принялись разжигать страсти вокруг каждого, самого пустякового их произведения...» (редакционная статья «Две весны», «Молодая гвардия», 1963, № 3).

Уж не знаем почему, но авторы статей в комсомольской печати, клеймя Евтушенко, редко выступали по одному, а объединялись в двойки и тройки. Сочинение Г. Оганова, Б. Панкина, В. Чикина уже упоминалось.

Приведем другие примеры.

В ленинградской «Смене» (9 апреля 1963 г.) Вячеслав Кузнецов и Владислав Шошин подчеркивали: «Ведь всегда следует помнить, что десять статей, написанных, скажем, о Евтушенко, это не просто десять статей. Это одна статья об одном поэте и девять ненаписанных о других, не менее достойных внимания и критического анализа...» В «Московском комсомольце» (4 апреля 1963 г.) Евгений Сидоров и Борис Евсеев высказались еще более определенно: «Если о творчестве Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной за последние годы были исписаны тонны «критической» бумаги, что немало способствовало их непомерно раздутому самомнению, то о многих их сверстниках газеты и журналы попросту почти не вспоминали. А ведь наша молодая поэзия куда богаче, нежели это кажется некоторым критикам. Наглядное тому подтверждение — стихи Анциферова, Семернина, Кузнецова, Поликарпова...»

Такая критика считалась «конструктивной»: развенчав один ряд писателей, предложить взамен другой. Этот ход должен был вернуть читателю правильные ориентиры, утраченные в момент, когда он, чи-

татель, «погнался за модой», увлекшись стихами Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной.

«Думается, — заявлял со страниц «Литературной России» В. Федоров (12 апреля 1963 г.), — что бумаги, которая была затрачена на хвалебные статьи, посвященные этой поэтической троице, и на сенсационные тиражи их книжек, вполне бы хватило для 12—13 сборников талантливых поэтов, тесно связанных с жизнью». И далее в статье В. Федорова приводится список из 52 имен, в число коих попали А. Софронов, Н. Грибачев, С. Викулов, изданиями в то время совсем не обиженные. «А то ведь искусственное раздувание отдельных имен приводит к таким курьезам: книжка Евтушенко издается тиражом 100 000, Вознесенского — 50 000, а книга старейшего рабочего поэта Павла Беспощадного, который не издавался в Москве 11 лет, вышла тиражом 2000 экземпляров. К сожалению, это не исключение в практике многих издательств».

В. Федоров не ограничился списком 52 «поэтов, связанных с жизнью». Он привел еще список «молодых поэтов», которым по плечу конкурировать с невиданной популярностью Евтушенко и Вознесенского. Это Анатолий Заяц, Владислав Шошин, Иван Лысцов... — в общей сложности 26 «конкурентов»! «Да разве, — не моргнув глазом, восклицает он, — сравнить «Треугольную грушу» А. Вознесенского с поэмами «Суд памяти» Егора Исаева, «Любава» Бориса Ручьева, «Огонек моей юности» Михаила Шестерикова, «Повесть о Гуре и друге его командоре» Бориса Котлярова!»

Александр Прокофьев выступил на пленуме Союза писателей СССР. Его речь была столь яркой, что была напечатана сразу тремя центральными газетами: «Правдой» 27 марта, «Литературной газетой» 28 марта и «Литературной Россией» 29 марта 1963 г. «Мы, — заявил А. Прокофьев, — равнодушно смотрели на многое, чего нельзя было допускать в воспитании молодых, равнодушно смотрели на безудержно восхваляющую критику (вот! — А. М., Ю. Н.), то есть на воспевание их, на их реверансы в сторону Запада, на шумиху вокруг некоторых имен, на интервью, из ряда вон выходящие, на скандальные стихи, на скандальную славу. А ведь в народе недаром говорят: «Учи молодца, когда он поперек лавки лежит, а не когда — вдоль!» ...Что-то надо делать с книготорговой политикой. Книги «новаторов» выпускаются громадными тиражами в 50—100 тысяч экземпляров. Почему? Кто ответит на эти вопросы? Почему на первую книжку Сосноры появилось 14 рецензий — прямо набросились (наивный человек! — А. М., Ю. Н.)! А на книжки тех, кто делал советскую поэзию, рецензий почти не появляется...»

«Московская организация писателей, — вторил ему Анатолий Софронов, — это не Евтушенко, не Ахмадулина, не Вознесенский. Это сотни настоящих даровитых, талантливых литераторов, которые все десятилетия Советской власти были с Советской властью и партией» («Литературная газета», 28 марта 1963 г.).

В интересах Софронова, Прокофьева и других участников кампании 1963 года было противопоставить творчество «осужденных партией» молодых поэтов всей остальной советской поэзии. Дескать,

есть, есть более преданные, более идейно выдержанные, более талантливые поэты. Вот сейчас мы скажем на весь Союз о том, что Евтушенко и Вознесенский плохи, и все сразу увидят, что да, плохие, и тогда, конечно же, нас, не-плохих, вспомнят, и полюбят, и вознесут.

Александр Решетов в «Литературной России» (15 марта 1963 г.) поделил всю историю советской литературы на два этапа: до встречи с Хрущевым и после нее. Об этапе, который эта встреча завершила: «В «гениях» ходили безответственные мальчики, не знающие ни жизни, ни величия реалистических традиций. Замалчивались мастера, талантливые поэты, скромно живущие с народом, самоотверженно работающие на него». Об этапе, который должен начаться: «Не надо нам больше эстрадного шума, но зато надо наконец покончить с групповщиной в литературной среде, с предвзятостью. Дорогу честно и вдохновенно творящим...»

А вот о чем на страницах той же «Литературной России» писал Виктор Полторацкий:

«Вот говорят (всего лишь «говорят»? — А. М., Ю. Н.), что огромным успехом пользуются в Политехническом музее и в МГУ выступления молодых писателей — Вознесенского, Евтушенко, Беллы Ахмадулиной и т. д. Но кто хоть однажды попытался устроить вечер действительно российской поэзии в одном из этих залов? Почему бы не устроить вечер, на котором бы выступили поэты Смоленска, Ярославля, Вологды, Ростова, Воронежа (да мало ли городов на российской земле!) — ведь там есть настоящие поэты. И слушатели бы увидели, к чему идет, куда зовет настоящая российская советская поэзия!»

Но если Полторацкий лишь предположил, что «настоящая российская поэзия» больше понравится слушателям, чем поэзия тогдашних властителей дум, то Вл. Разумневич это прямо-таки утверждает, опираясь якобы на некоторую статистику:

«В преддверии Всесоюзного совещания молодых писателей, которое скоро откроется в Москве, работники одной из библиотек решили провести опрос читателей. Анкета — ее получил каждый посетитель библиотеки — предлагала высказать мнение о творчестве молодых, перечислить наиболее дорогих и близких литературных героев... Стоит заглянуть в читательские ответы на анкету... чтобы понять, как велика разница в оценках, которые давали новым произведениям молодых отдельные наши безответственные критики, поднимавшие великий шум вокруг «Звездного билета» Аксенова, «Треугольной груши» Вознесенского, стихов Евтушенко и Ахмадулиной, и тем, что думают о них читатели. Они не считают произведения подобных авторов завоеванием нашей литературы, их глубоко тревожит и возмущает то, что на нашей расцветающей год от года литературной ниве нет-нет да и встречаются вот такие худосочные сорняки: то это ущербная, унижающая человеческое достоинство советского человека книга прозаика; то это формалистическая эквилибристика поэта, погнавшегося за крикливой западной модой, который и сам не понимает, что и для кого он творит; то это субъек-

тивистские излияния незрелого лирика, возмнившего себя «про-роком» и решившего на целый свет обнародовать свое духовное ничтожество».

Газета «Социалистическая Караганда» (27 апреля 1963 г.) рассказала о диспуте, проведенном студентами Карагандинского пединститута: «Уже тот факт, что имена Е. Евтушенко и Вознесенского звучали не на обычном вечере поэзии, а на диспуте, красноречиво говорит о конце некритического увлечения молодежи их творчеством и наступлении поры переоценки поэтических ценностей... Студентка 4-го курса А. Палькина... отметила, что высокое гражданское горение не всегда можно заметить в стихах Евтушенко... Еще более прямолинейен в своей антигражданской направленности Андрей Вознесенский».

Увы, до сих пор еще кое-кто полагает, что стоит главе партии обнародовать свое мнение по какому-то вопросу, как по всей стране тут же начинается «переоценка ценностей».

То, чем занимались в своих статьях Вл. Разумневич и другие поименованные в этом разделе критики и поэты, называется фальсификацией общественного мнения.

Кстати, статья Вл. Разумневича, как по мановению волшебной палочки, появилась одновременно в десятках молодежных газет по всей стране. На примере громкой истории со статьей Нины Андреевой мы теперь уже хорошо знаем, что это за «волшебная палочка». Нас такие совпадения больше не удивляют.

\* \* \*

Фраза — «Я роман Пастернака не читал, но скажу...» — стала крылатой. В разных вариациях она добралась до 1979 года, когда обсуждали «Метрополь». Пятью годами ранее прокатилась волна обсуждения и осуждения «Архипелага ГУЛАГ». Разумеется, ни «ГУЛАГ», ни «Метрополь» участниками многолюдных обсуждений не были прочитаны, но они высказывались, аплодировали, голосовали...

В 1963 году та же история произошла с «Автобиографией» Евгения Евтушенко, с его зарубежными интервью. «Читая «Шпигель», я обратил внимание на то, что западногерманские журналисты великолепно поняли слабости Евтушенко» (Вас. Федоров, «Литературная газета», 2 июня 1963 г.).

Что ж, возможно, покойный Федоров и был постоянным подписчиком «Шпигеля», теперь это уже не проверишь. А вот рабочие, выступавшие на митингах по всей стране, имели возможность ознакомиться с тем, что опубликовал за границей Евтушенко?

Рабочий механического цеха киевского завода «Точэлектрприбор» Н. И. Кияница: «Стыдно за поэта Е. Евтушенко, который недавно на страницах западногерманской газеты «Ди цайт» искал примирения даже с боннскими реваншистами». Мастер сборочного цеха И. В. Руденко: «Ничем нельзя оправдать Е. Евтушенко, опубликовавшего в буржуазном журнале «Экспресс» свою пасквильную

автобиографию» («Социалистический Донбасс», 4 апреля 1963 г.).

Кроме мнений рабочих ценилась точка зрения фронтовиков. «Тяжело оскорбил Евтушенко бывших фронтовиков. Он, не нюхавший пороха, он, не проливший и капли крови за родную землю» (П. Бажанов, капитан запаса, председатель Сочинского горсовета, «Комсомольская правда», 7 апреля 1963 г.).

Провинциальная пресса словно соревновалась, чьи ярлыки будут красочнее, чей деготь чернее. Оправдывалась известная поговорка «заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет». Деятели на местах придумывали обвинения одно фантастичнее другого. Между тональностью выступления Хрущева (Евтушенко всего лишь «не удержался от соблазна заслужить похвалу») и тоном, в котором были выдержаны выступления местных органов печати, дистанция огромного размера. «Автобиографические излияния Е. Евтушенко — поэта, ослепленного светом прожекторов, оторвавшегося от народа» («Заря Востока», Тбилиси, 10 мая). «Оторвавшись от жизни народа, возомнив себя гением, Е. Евтушенко совершил подлость, некоторыми своими писаниями помогал пропагандистам враждебного нам лагеря» («Советская Сибирь», Новосибирск, 14 апреля)... «Опубликовал в реакционном французском еженедельнике «Экспресс» свою автобиографию, содержащую клевету на социалистический строй, искажающую советскую действительность, допустил в своих писаниях попытки ревизовать марксизм» («Советская Литва», 5 апреля).

Уф, переведем дух. И вернемся все же в литературные сферы. Избиение Евтушенко и Вознесенского, происшедшее в Москве, послужило сигналом для подобных акций, направленных против нового писательского поколения по всей стране. Посмотрите, как искусство вплел собственных недругов в свою статью, разоблачающую «Автобиографию», А. Чепижный, секретарь партийной организации Донецкого отделения Союза писателей:

«На этой гнилой почве, захваливаемые литературными бардами типа Эренбурга, такими критиками, как Борщаговский, и выросли не в меру ретивые аксеновы, вознесенские, драчи, винграновские — «рано созревшие человеки», коим, однако, не хватает элементарной порядочности. На этой гнилой почве, в атмосфере ячества, скандальной славы и прямого авантюризма возросло ренегатство поэта Евтушенко, опубликовавшего в реакционном еженедельнике пасквиль на свою страну, свой народ, своих товарищей, выступавшего с безответственными заявлениями во время заграничных вояжей».

Заканчивается статья партийного литератора Чепижного замечательно: «...Критика недостатков в творчестве сбившихся с правильного пути литераторов резка, но доброжелательна. Наша партия великодушна». Дескать, спасибо, что не сажают...

\* \* \*

В свое время двадцатитрехлетний Евгений Евтушенко написал свое известное стихотворение «Пролог», в котором, в частности, были такие строки:



Границы мне мешают...

Мне неловко  
не знать Буэнос-Айреса,

Нью-Йорка.

Хочу шататься, сколько надо, Лондоном,  
со всеми говорить —

пускай на ломаном.

Мальчишкой,

на автобусе повисшим,  
хочу проехать утренним Парижем!

Когда писались эти строки, поэт действительно еще ни разу не был за рубежом, и — по тем временам — подобные заявления казались весьма эпатажными.

В 1957 году стихотворение вышло в сборнике «Обещание». Сборник обсуждался на секции московских поэтов (см. «Московский литератор» от 14 февраля 1958 г.). Выступавший на обсуждении Владимир Солоухин сказал по поводу процитированных строк следующее: «Нет уж, Евгений Александрович, вы сначала овладейте основами марксизма-ленинизма, а уж потом проситесь за границу». Поставил, так сказать, на место. Перепечатавая, кстати, свое выступление в виде статьи под названием «Без четких позиций» («Литературная газета», 8 апреля 1958 г.), В. Солоухин это свое заявление благоразумно опустил.

Выступая в Ленинграде, Вас. Федоров также обратился к этим стихам, видимо, и его задевшим: «Вот Евтушенко в своих стихах все время просится за границу, а его не пускают. Так давайте его пустим. Пустим Дуньку в Европы, пусть она там опозорится». Представляем, как был доволен своей проницательностью в 1963 году Вас. Федоров: Дуньку в Европы действительно пустили, и она, естественно, опозорилась. Как заметил писатель Михаил Соколов, «...теперь даже и хорошие стихи Евтушенко не хочется читать. Запачкал свои руки заграницей тов. Евтушенко» («Литературная газета», 2 апреля 1963 г.).

Надо сказать, что в кампании 1963 года вопрос о том, а правильно ли сделали некоторые товарищи, выпуская Евтушенко за границу, занимал не последнее место. Тогда считалось, что за рубеж должны ездить отборные кадры, проверенные, идейно выдержанные. Человек не просто ехал за границу — его туда посылали. Разумеется, за некие услуги, в порядке, так сказать, вознаграждения.

«Бываем и мы за рубежом, — писал, обсуждая поведение Евтушенко, Анатолий Софронов, — но не даем и не будем, подобно некоторым, давать гнусных, оскорбительных для нашего общества интервью, которые просто противно читать» («Литературная газета», 28 марта 1963 г.). В том же номере «Литгазеты» С. Михалков замечал: «Так что же удивительного, если едва оперившиеся литературные птенцы, вылетевшие за границу, сбиваемые к тому же с толку матерыми журнальными акулами, начинают нести на весь белый свет несусветную чушь, забывая, что именно эта, порой весьма двусмыс-

ленная ересь, а не их стихи, привлекает жирных зарубежных мух с микрофонами и телеобъективами».

В высказывании Михалкова прозвучала имевшая в то время широкое хождение мысль о том, что не стихами, а чем-то еще привлек Евтушенко внимание «жирных зарубежных мух». Образ вылетевшего за границу птенца, судя по всему, не давал покоя маститому сатирику. Он не ограничился напечатанным в «Известиях» (22 марта 1963 г.) издевательски-грубым стихотворением «Молодому дарованию». 4 июня в «Правде» появилась басня Сергея Михалкова «Синица за границей»:

Бездумной, легкомысленной Синице  
Однажды довелось порхать по загранице.  
Попав в заморскую среду  
И оказавшись на виду  
У иностранных Какаду  
И у Павлинов с пышным опереньем,  
Синица стала с непонятым рвением  
Чернить родной своей лес.  
К Синице тотчас был проявлен интерес:  
В ее родном краю  
Пока что у нее не брали интервью, —  
А здесь вокруг скрипят чужие перья,  
Колибри у нее автографы берут...  
Синичка верещит: «Уверена теперь я,  
Что по достоинству меня оценят тут!»  
От лести у нее «в зубу дыханье сперло»  
И из нее такое вдруг поперло,  
Что даже Попугай — столетний старичок —  
Ей бросил реплику: «Попалась на крючок?!»

Пожалуй, за границу  
Не стоит посылать подобную Синицу!

Как видим, тут содержится уже прямая рекомендация сделать Е. Евтушенко, в качестве наказания, невыездным. Не понятно, правда, кто выведен под видом «Попугая — столетнего старичка». Как свидетельствуют газеты, таких попугаев в 1963 году было немало.

Любопытно выступление на пленуме СП СССР молодого писателя Киргизии Чингиза Айтматова, уже тогда, оказывается, задумывавшегося над судьбами советской литературы за рубежом: «...Наши идейные противники не прочь иной раз подогреть наше болезненное самолюбие, подсюсюкать, а порой и обласкать, создать шумную рекламу. Но на все это мы должны смотреть трезво и с достоинством. И как бы ни было заманчиво оказаться там литературным чудом и кумиром, надо уметь не забывать о наших высших принципах. Слегка потрафить вкусам той публики и тем самым обратить на себя внимание — это не так трудно. Гораздо труднее пробиться туда со своим знаменем правды и убеждений... И если мы, я имею в виду молодых литераторов, хотим по-настоя-

шему выступать на мировой литературной арене, то давайте следовать пути Горького и Маяковского, а не Пастернака».

Выступление Айтматова было, впрочем, посвящено обсуждению поведения не Пастернака, а Евтушенко, Аксенова и Вознесенского. «Да, Евтушенко, Аксенов, Вознесенский, пройдут годы (не вечно же человеку быть молодым), мы тоже состаримся, и что мы тогда скажем последующему поколению, какие художественные образы современников, какие картины жизни своего времени мы оставим потомкам? Вы думаете о том, что мы еще не создали немеркнущих, глубоких, сложных человеческих портретов советских людей 60-х годов? Вы думаете о том, что мы не сделали и толики того, что смогла сделать советская литература в произведениях Горького, Маяковского, Демьяна Бедного, Фурманова, Серафимовича, Блока, Шолохова, Фадеева, Федина, Твардовского, Мухтара Ауэзова и многих других писателей старшего поколения?.. Вы думаете о своей художнической ответственности перед временем?»

Пройдут годы (в этом Айтматов оказался прав). Сам он сблизится с «безответственными» ровесниками. И в 1983 году выступит со статьей, посвященной пятидесятилетию Евтушенко, напишет предисловие к его трехтомнику. Трудно сказать, что заставило Айтматова в тот момент выступить с таким заявлением. Выступление с большой готовностью было перепечатано «Комсомольской правдой» 29 марта 1963 г., спустя три дня появилось в газете «Советская Киргизия». А еще через две недели он стал лауреатом Ленинской премии.

Конечно, современному читателю трудно представить, что в избииении Евтушенко участвовали Ч. Айтматов, Е. Сидоров, С. Баруздин или Б. Панкин. Но ведь было, было это! И ссылки на то, что «так делали все», вряд ли помогут нам объяснить этот факт. Потому что как раз не все. Не было среди участников той кампании ни А. Твардовского, ни П. Антокольского, ни Я. Смелякова, не было М. Светлова, Б. Слуцкого, С. Щипачева, даже К. Симонова. Пусть не выступили в защиту, но ведь и не осуждали...

\* \* \*

Выступая на мартовской встрече, Н. С. Хрущев сделал попытку — и уже не в первый раз — частично обелить Сталина. Упомянув о негативных последствиях культа личности, Никита Сергеевич остановился на его заслугах в создании и укреплении социалистического государства, в разгроме врагов партии — троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, в победе над фашизмом. Репрессии репрессиями, но нельзя забывать и о несомненных заслугах Сталина, заявил он.

Евтушенко как раз относился к людям, которые склонны были «забывать» о несомненных заслугах генералиссимуса. Хрущев, правда, ругал за такого рода «забывчивость» главным образом Эренбурга, но когда братья-писатели взялись за уничтожение Евтушенко, они припомнили ему и его антисталинские стихи и выступления.

Борис Рюриков, выступая на писательском пленуме, назидательно говорил: «Партия видит в деятельности Сталина и его слабые, и сильные стороны. О двух сторонах этой деятельности неоднократно говорил Н. С. Хрущев. Но вот Евтушенко описывает в «Экспрессе» дни похорон Сталина: «В эти дни я увидел Сталина, кровавый хаос его похорон — это и был Сталин». Это напечатано в марте 1963 года и это заставляет вспомнить писания буржуазных газет после XX съезда. Зачем же советскому поэту подделываться под тон разных малопочтенных джентльменов?.. Мы не можем безответственно зачеркивать или отдавать врагам великие ценности, созданные советским народом» («Литературная газета», 30 марта 1963 г.).

И если Б. Рюриков еще мог сослаться на то, что опубликованная стенограмма в чем-то исказила его мысль, то Ал. Михайлов, опубликовавший в «Вопросах литературы» № 9 теоретическую статью под совсем нетеоретическим названием «Вести прицельный огонь!», наверняка продумал в ней каждое слово. Наш теоретик-снайпер писал:

«Н. С. Хрущев совершенно справедливо обратил внимание на то, что некоторые представители творческой интеллигенции сделали неправильные выводы из той работы, которую партия провела по преодолению вредных последствий культа личности Сталина. Он говорил об ошибочных мотивах в произведениях отдельных авторов, которые все внимание сосредоточили на фактах беззакония, произвола, злоупотребления властью. Но разве это было главным в жизни советского общества в тот период? Разве построение социализма и укрепление мощи государства, укрепление дружбы народов и рост сознания наших людей не определяли развития советского общества?»

Партийная критика культа личности и его последствий носит глубокий позитивный характер, и именно это обстоятельство необходимо учитывать каждому художнику, который берет на себя нелегкую задачу образного постижения существенных сторон этого чрезвычайно сложного явления...

Молодые поэты нередко обращаются к той драматической теме, пытаясь связать ее с настоящим. Далеко не всегда это получается у них удачно. Тому есть определенные причины. Так, несколько лет назад Е. Евтушенко написал стихотворение «Считайте меня коммунистом!». Стихотворение неудачное, так как в нем не было главного — четкой идейной позиции; в своем обличении оно было лишено социальной конкретности».

Но звучало в 1963 году и совершенно фантастическое обвинение: молодые поэты лишь «выдают себя» за антисталинистов. Об этом говорил, в частности, в своем докладе на пленуме СП СССР Л. Соколов. Об этом же заявил, выступая на IV Всесоюзном совещании молодых писателей, первый секретарь ЦК ВЛКСМ С. П. Павлов: «Выдавая себя за критиков догматических извращений марксизма, они на деле извращали марксизм. Претендуя на роль просветителей молодежи, они сплошь и рядом демонстрировали непроходимое невежество. Выдавая себя за разоблачителей культа личности, эти

молодые литераторы без зазрения совести предлагали в качестве культа свои личности».

Из всех прозвучавших в 1963 году обвинений это — в неискренности антисталинских стихов — было самым несправедливым.

\* \* \*

Тогда Евтушенко был удобной мишенью. Название статьи Ал. Михайлова представляется очень точным: «Вести прицельный огонь!». Очень удобно вести прицельный огонь, когда мишени расставлены руководителем партии и правительства. Можно сделать вид, что стихи Евтушенко не только после кремлевской встречи, а вообще он всегда не любил. Можно с преувеличенной принципиальностью наброситься не только на гражданский пафос, но и на художественный строй стихов.

После речи Н. С. Хрущева в стихах Евтушенко вдруг обнаружилось множество художественных просчетов.

В той же статье Ал. Михайлова подробно разбирается стихотворение Е. Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет...». И разбирается с позиций именно литературных, а не вульгарно-социологических. Но поскольку разбору предшествуют бесконечные ссылки на Никиту Сергеевича, выводу, к которому приходит критик — «Конфликт измельчен...» — как-то не очень доверяешь. Уж слишком явно вписывается притворно-объективистский разбор в ту кампанию гонений, которая была развернута вокруг Евтушенко в те месяцы. Видимо, стоило подождать нашему критику с обнародованием своего мнения до лучших времен.

Особенно досталось стихам, опубликованным непосредственно перед встречей Хрущева с интеллигенцией. Это была подборка в первом номере журнала «Москва». Почти все рецензенты выделили в ней небольшое стихотворение «Считают, что живу я жизнью серой...», в котором поэт высказывает свое, подлинно демократическое понимание понятия «народ» (стихотворение написано им, кстати, еще в 1957 г.): «Меня не убедить, как ни уламывай, что он лишь тот, кто сеет и кует. А вот идет на пальчиках Уланова, и это тоже для меня народ!»

Уже наутро после речи Хрущева — 9 марта 1963 г. — «Комсомольская правда» опубликовала реплику киевского литератора А. Михалевича, в которой критически оценивалось это стихотворение. Поэт, по мнению автора реплики, «обидно скользит по поверхности серьезной и вечно новой темы: поэт и народ. И не только скользит — оступается». Зловеще, не правда ли?

Спустя две недели на страницах «Литературной России» выступил С. Викулов: «...Некоторые наши молодые поэты запальчиво бросают: танцующая на пальчиках Уланова — тоже народ! Да, Уланова — тоже народ. Но, как говорил Козьма Прутков, смотри в корень. Прежде чем Уланова стала Улановой — народ совершил революцию, предоставил возможность развиваться ее замечательному таланту. Об этом нельзя забывать. И не гнушаться теми, кто

создает своим нелегким трудом хлеб насущный, предлагая ему взамен новаторства срифмованные головоломки, равнодушные, лишённые смысла поделки абстракционистов». Что касается абстракционистов, то тут, надо думать, Евтушенко припомнили его попытку защитить их во время декабрьской встречи с Хрущевым.

Стихотворение «Считают, что живу я жизнью серой...» вызвало «возмущение» не только поэтов и критиков, то есть участников живого литературного процесса. Заволновалась и академическая общественность. В сборнике «Роль современной литературы и искусства в формировании человека коммунистического общества» В. В. Новиков писал: «...Вызвало возмущение общественности опубликованное в № 1 журнала «Москва» за 1963 год стихотворение Евгения Евтушенко, посвященное теме «поэт и народ». С нарочитым позерством Е. Евтушенко в этом стихотворении противопоставляет друг другу работников искусства и рабочих и крестьян, «сеющих», «кующих» и «танцующих», а также тех, кто требует выражать интересы народа, и тех, кто эти интересы должен выражать». На самом деле Евтушенко полемизирует в стихотворении с таким противопоставлением, а вовсе не отстаивает его. Но Василию Васильевичу некогда углубляться в такие тонкости. Главное для него — доказать, что в стихотворении содержится «прямое глумление над самыми святыми и самыми заветными понятиями для советского народа».

Не будем уходить за пределы академической сферы. Откроем теперь № 3 за 1963 год серьезного журнала «Русская литература», выпускаемого Пушкинским домом в Ленинграде. Читаем статью В. Тимофеевой «Наследие Маяковского и некоторые вопросы современной поэзии». «Некоторые вопросы» — это почти сплошь ругань в адрес Евгения Евтушенко.

Разбирается, скажем, стихотворение «Я кошелек. Лежу я на дороге...»: «Поэтическая метафора в конечном счете привела к оправданию социальной пассивности. Образ, неверный в своей идейной основе (ведь деньги могут служить для различных целей, в том числе и самых неблагоприятных), обусловил и совершенно неправильное осмысление роли поэта в нашем обществе». Это стихотворение — не случайная неудача: «...И в других произведениях наряду со словами о высокой ответственности поэта нет-нет да и встречаешь те же нотки социальной инертности, идейной неопределенности. Странно, например, читать растерянные признания поэта в стихотворении «Я шатаюсь в толкучке столичной...», датированном тем же годом, что и стихотворения «Празднуйте Первое мая», «Песни революции», где стрелка идейного компаса не мечется, как во время магнитной бури, и поэту, казалось бы, ясно, в чем его гражданский долг, как использовать дарованный природой талант. Идут годы, в творчестве поэта появляются новые темы, он много пишет о гражданственности, о революционных традициях, а прежние нотки душевной неопределенности, пассивной бездеятельности все-таки пробиваются в его стихах». Далее автор статьи в академическом журнале повторяет уже знакомые нам оценки «Автобиографии», с тем чтобы, все более разогревая себя, закончить рассуждения на такой ноте:

«Шумная популярность Евгения Евтушенко во многом шла от спекулятивного обращения к некоторым важным проблемам современной жизни, а не от глубины таланта, поэтического мастерства. Это признает даже расхваливающая поэта зарубежная пресса, и в данной статье, говоря о современном звучании наследия Маяковского, мы вспомнили имя Евтушенко лишь потому, что в стихах, в поведении этого поэта особенно наглядно проявились отступления от идейно-эстетических завоеваний Маяковского».

Итак, рабочие охвачены, коллеги по перу высказались, произнесли свое веское слово ветераны, бурно осудила молодежь. Донесли отклики из-за границы [«Ему еще надо учиться («Нойес Дойчланд» о поэте Евтушенко)»//Неделя, 7—13 апреля 1963 г.; Ширмер Ф., Ширмер Х. Стало тяжело на сердце. Открытое письмо двух западногерманских рабочих поэту Е. Евтушенко//Известия, 7 мая 1963 г.]. Теперь вот и литературоведческая наука вынесла свое суждение. Осталось только увековечить проступок Евтушенко в энциклопедиях. Что и было сделано.

Приводим полностью статью из Энциклопедического словаря в двух томах (М., «Советская энциклопедия», 1963, т. 1):

«ЕВТУШЕНКО Евгений Александрович (р. 1933), русский советский поэт. Сб. стихотворений: «Третий снег» (1955), «Шоссе энтузиастов» (1956), «Яблоко» (1960), «Москва товарная» (1960), «Взмах руки», «Нежность» (1962). Лучшие стихи Е. проникнуты гражданским пафосом («Хотят ли русские войны», 1962; «Наследники Сталина», 1963; цикл стихов о кубинской революции, 1960—62). В 1963 опубликована в зап. бурж. печати написанную в духе саморекламы и бахвальства «Автобиографию», содержащую ошибки идеологического характера, что было осуждено сов. общественностью».

И еще одна интересная особенность той давней кампании. Евтушенко инкриминировались не только политические ошибки, не только литературные промахи. Были публикации, в которых разбирался его, так сказать, моральный облик, бытовое поведение. Не хочется отводить в нашей статье место, чтобы повторять обвинения такого рода. Ограничимся лишь одним примером — фрагментом из статьи Татьяны Тэсс «Золотое слово» («Известия», 18 октября 1963 г.). Большой мастер моральной темы писала:

«Самоуверенность неминуемо наказывается, и всегда достаточно больно. Когда в Ленинграде проходило заседание Европейского сообщества писателей, посвященное проблемам романа, в городе появился Евгений Евтушенко, которого, поскольку он поэт, никто не приглашал на это заседание. Этот молодой человек приехал в Ленинград, видимо, с единственной целью — «похлопать по плечу» иных литераторов из западных стран и тем самым продемонстрировать всем другим, насколько он известен в мире. Писатели рассказали мне поучительную историю, которая произошла с Евтушенко, когда он оказался в гостинице, где жили французские и немецкие писатели. Он встретился там с известным западногерманским поэтом Гансом Энциенбергером (а как этот поэт попал на совещание по роману? —

А. М., Ю. Н.). Не знаю, понял ли сразу Евтушенко, почему холодно встретил его Ганс Энциенбергер, но ларчик, как мне рассказывали товарищи, открылся довольно просто. Ганс Энциенбергер сказал Евтушенко примерно следующее: «Я уважаю людей, чья самоуверенность находится в рамках их возможностей. Вы рассказывали мне в Германии, господин Евтушенко, что наш поэт Рильке чуть ли не был вашим учителем, что вы воспитаны на его стихах. Но здесь, в Советском Союзе, я узнал, что Рильке переводился на русский язык очень немного, да и давно, а вы ведь не знаете немецкого языка, и как же он может быть вашим учителем?»

Разве нужны комментарии к этому небольшому, но разящему случаю?»

Мы же пассаж Т. Тэсс все же прокомментируем.

Райнер Мария Рильке публиковался в русских журналах начиная с 1899 года. В 1912 году вышла книга его прозы, а в 1913 и 1914 годах — две книги лирики («Книга часов» в переводе Ю. Анисимова и «Жизнь Марии» в переводе В. Маккавейского). Уже в советское время (1919 г.) в переводе А. Биска вышло «Собрание стихотворений» Рильке. Его переводили также В. Эльснер, Г. Забежинский. Прекрасные переводы Рильке опубликовал Борис Пастернак. В начале шестидесятых годов в журналах печатались переводы Р. М. Рильке, выполненные Т. Сильман, С. Петровым, К. Богатыревым... Почему Евтушенко не могли быть известны все эти переводы?

По сути дела, каждый шаг Евтушенко в тот год отслеживался. Не потому ли он неделями отсиживался, не выходя на улицу, в своей квартире, а потом месяцами пропал на Севере, в Сибири? Подальше от собратьев по перу, оказавшихся столь пристрастными и жестокими, подальше от идеологических учреждений, от органов печати, от многолюдных негодующих собраний...

\* \* \*

В обстановке тотальной травли, в которую были включены все органы печати, все категории населения, иное мнение о творчестве Евгения Евтушенко просто не могло прозвучать. Но оно прозвучало. Это было не просто иное мнение, это было мнение человека, пытающегося взять поэта под защиту, объяснить несправедливость нападок на него.

И хотя прозвучал этот голос со страниц новокузнецкой многотиражки «Металлургстрой» и мало кем был услышан, мы должны все-таки оценить мужество отважившегося на этот отчаянный и, как теперь выяснилось, уникальный поступок поэта Владимира Леоновича.

Как и В. Тимофеева, поводом для разговора о Евтушенко В. Леонович выбрал отмечавшееся 19 июля 1963 года семидесятилетие В. Маяковского. Этой дате, собственно, и посвящена его статья, опубликованная в многотиражке «Металлургстрой» с продолжением 17, 19 и 27 июля. В этой газете молодой поэт работал, в ней часто появлялись его стихи.



Опустим то, что в статье касалось Маяковского. Начав с драмы классика нашей поэзии, автор, говоря о возможных причинах его гибели, без труда перебрасывает мостик в сегодняшний день:

«Пример Маяковского — увы, единственный! — учит нас в о в р е м я быть чуткими к нашим пророкам (поэт постольку поэт, поскольку пророк), учитывать уникальную душевную конструкцию каждого. Наверное, самые простые истины всего труднее усвоить: и по сей день такие умудренные, образованные литераторы, как В. Федоров, А. Гарнакерьян и т. п., идут по стопам тех, кто в свое время травил Маяковского. Они клеветают на прекрасных наших поэтов, которых вежливо поправила партия. Единственным извинением в их пользу может быть лишь недопонимание ситуации, подобной той, что была в басне о медведе и пустынноике». В. Леонович вступает в полемику с критиками, точнее, хулителями Евтушенко, он напоминает им о том, что это поэт-первопроходец, убежденный пропагандист революционной идеи, говорит о свойствах его характера и души.

«Разведчики грядущего (это, кстати, название первой, 1952 года, книги Евтушенко) нащупывают те линии, по которым развивается человеческий дух, но многие из нас — сегодняшних не способны понять нас — завтрашних и причину непонятности ищут во вчерашнем дне. Отсюда — букеты обвинений самых фантастических, рецидивы травли, о которой я уже упоминал. Отсюда приписывание талантливейшему поэту негодных целей и побуждений. Как будто из мелкого побуждения может выйти хоть крупица поэзии! Как будто с негодной целью художник говорит всему миру о его несовершенствах, о его нелепых кордонах, о бесчеловечности, накапливающей оружие против мира, исследует его недуги. Как будто, призывая людей сблизиться и понять друг друга до того, как раздадутся взрывы, поэт зовет к классовому примирению!.. Эти и многие другие «китайские» нелепости грузно лягут на совесть их авторов, когда они поймут свою принципиальную ошибку: не может быть человек, беззаветно работающий на коммунизм, поражающий современников... смелостью тем и форм, отчетливостью и широтой взглядов, — не может этот человек быть нечестным».

Далее Леонович приводит полностью стихотворение Евтушенко «Я не сдаюсь...» и дает ему оценку, которая перерастает в позицию соучастия, защиты от несправедливых нападок: «Такие стихи не может написать дурной человек... Остается в силе старая истина: не может дерево хорошее приносить плоды плохие, а дерево плохое — хороши».

Автор статьи защищает не только Е. Евтушенко, он поднимает вопрос о терпимости, о бережном отношении к художнику, о партийном руководстве искусством. «Представим на минуту, что вместо этого словечка («Гм-гм». — А. М., Ю. Н.) Ленин говорит: «Ерунда! Мазня» и т. п. Сколько бы мы сразу потеряли! Говорил бы не Ленин, а человек несравненно более узкий, не желающий разбираться в сложном явлении искусства, доверяющий лишь своему вкусу, лишь своим эстетическим критериям. Говорил бы не революционер, а

догматик...» Всем было ясно: догматиком назвал В. Леонович в своей статье Н. С. Хрущева.

Разумеется, за таким выступлением должно было последовать наказание. Оно не заставило себя долго ждать. Уже 28 июля в газете «Кузнецкий рабочий» появилась статья Ю. Баландина «О премудром «теоретике» из одной многотиражки». Название статьи не оставляло В. Леоновичу никаких надежд на снисхождение. «Кузнецкий рабочий» не просто откликнулся на «сюрприз, преподнесенный многотиражной газетой читателям стройки Запсиба», — статья Леоновича разбиралась. Но как! Автор, оказывается, «выплеснул наружу то, что до сих пор усердно хранил где-то на задворках души», обнажив при этом свои самые низменные качества — трусость (ведь не выступил же со своим «сюрпризом» на недавнем совещании творческой интеллигенции Новокузнецка), недобросовестность, использование служебного положения в личных целях («воспользовался нетребовательностью приятелей из многотиражки») и т. д.

В. Леонович, как выражается автор «Кузнецкого рабочего», «размалевывает мысли», «путано рассуждает», «подбоченясь, разглагольствует», «докатывается до утверждения»; в статье содержатся «кощунственные комментарии», «вопиющие бестактности», «теоретизирование», «развязный тон», короче — «дальше некуда».

Попутно достается «известному недавним своим грехопадением» Е. Евтушенко. «Кумир ваш, — пишет, обращаясь к Леоновичу, Ю. Баландин, — по неустойчивости своей попался на удочку реакционной буржуазной прессы». «Автобиография» его — «незадачливое творение», ее публикация — «выходка», Леонович же, осмелившийся взять под защиту автора, совершил просто-таки антиобщественный, постыдный поступок.

8 августа провинившаяся многотиражка публикует под рубрикой «В горькоме КПСС» сообщение «Об ошибках, допущенных в многотиражной газете “Металлургстрой”». В нем констатировалось, что редакцией газеты была опубликована «политически вредная, противоречая указаниям партии по вопросам литературы и искусства статья В. Леоновича» — «пример беспринципности и безответственности некоторых работников редакции “Металлургстроя”». «Непомерно раздутая, написанная заумным, малопонятным языком, эта статья посвящена не столько творчеству Маяковского, сколько защите поэта Е. Евтушенко, известного антипатриотическими поступками, получившими резкую отповедь советской общественности».

За опубликование аполитичной, демагогической статьи, за подмену принципиальности в работе приятельскими отношениями редактор газеты В. Гловов получил партийное взыскание (строгий выговор) и был отстранен от занимаемой должности, досталось также зам. секретаря парткома треста Кузнецкметаллургстрой, секретарям Заводского райкома КПСС. «Приняты также другие меры помощи газете».

Что же В. Леонович? Он был уволен, чудом избежал записи в трудовую книжку о профнепригодности, уехал из Новокузнецка.

Нам же хочется завершить свои заметки строками из стихотворения «Картинка детства», в котором поэт вспоминает виденное некогда на базаре избиеие толпой одного человека. Есть в нем такое трехстишие:

И если сотня, воя оголтело,  
кого-то бьет, — пусть даже и за дело! —  
сто первым я не буду никогда!

Из событий 1963 года Евгений Евтушенко извлек именно этот урок: никогда, ни разу в своей бурной писательской жизни не принимал он участия в «проработке», «обсуждении», наказании других литераторов. Хорошо бы и нам всем последовать его примеру.

*Виктор ЕРОФЕЕВ*

---

## **Поминки по советской литературе**

---

По-моему, советской литературе приходит конец. Возможно даже, что она уже остывающий труп, крупноголовый идеологический покойник, тихо и словно сконфуженно испутивший дух под канонаду гласности и перестройки. Когда палят пушки, музы, как мухи,дохнут. Настал черед и этой музы. Что же, я буду последним человеком, который будет плакать на ее похоронах, но я с удовольствием скажу надгробное слово.

Замечательный автор романа «Мы» Евгений Замятин заметил в 1920 году, что, если у нас в стране не будет свободы слова, у русской литературы останется одно только будущее — ее прошлое. Теперь с осторожной надеждой можно сказать, что русская литература, если ей суждено возродиться, в качестве своего прошлого последних лет будет иметь в основном только будущее.

Есть русская поэзия и проза советского периода, как есть поэзия и проза других народов, населяющих СССР, но говорить о советской литературе как об объединившей все это в единое целое — значит предаваться иллюзиям. Писателям многие годы ради выживания приходилось идти на компромиссы как с совестью, так, что не менее разрушительно, со своей поэтикой. Одни приспособлялись, другие продавались (что не спасало ни тех, ни других от рулетки террора), третьи вешались, но горечь всех этих терзаний, вкупе с цензурным выламыванием рук, ударами в глаз и в пах, едва ли послужила надежным цементом для вавилонской башни словесности.

Башня не из слоновой кости, а из костей российских писателей была возведена не на совокупности компромиссов, а на диктате социального заказа, требовавшего от литературы не столько верного, сколько слепого служения генеральной линии, зигзагообразность которой выглядела как дьявольская насмешка над самыми проверенными, как испытание уже не твердости убеждений, а человеческой природы на подлость.

Эта литература есть порождение соцреалистической концепции, помноженной на слабость человеческой личности писателя, мечтающего о куске хлеба, славе и статус-кво с властями, помазанниками если не божества, то вселенской идеи. Сила власти и слабость человеческой природы, социальные комплексы русской литературы, по мнению пронизательного философа начала XX века Василия Розанова, главной виновницы революции, и разгул само собой разумеющегося пореволюционного хамства, воплотившегося в утопии «культурной революции», наконец, восточное манихейство Сталина — эти и ряд других слагаемых легли в основу советского литературного строительства, и когда отпали строительные «леса» 20-х годов, было от чего ахнуть.

Величественная башня советской соцреалистической литературы, воздвигаемая на века по сталинско-горьковскому проекту, барочная и многоквартирная, населенная алексеями толстыми, фадеевыми, павленками, гладковыми и гайдарами — всех не перечесать, несмотря на кажущуюся халтурность (слишком много дешевого гипса), действительно пережила несколько десятилетий, репродуцируясь к тому же в иных смежных социалистических культурах.

Когда сейчас думаешь о жизнестойкости, выносливости этой литературы, поражаешься удивительному сочетанию ее реальности и фантомности. Она была реальна в силу своей бесноватой фантомности, фантомна — в силу своей неуклюжей реальности.

Она была легко, казалось бы, разоблачаемой *извне* идеологической фикцией, которую можно было проткнуть иглой иронии — и она лопнет, как воздушный шар, но, сколько бы ее ни протыкали, она не лопалась, потому что была именно фикцией, которой *извне* порой даже поклонялись или служили, как Арагон. И эта фикция обеспечивалась, как самые что ни на есть реальные бумажные деньги, всем запасом государственности.

Теперь все это рушится. Здание трещит по швам, воздушный шар лопається, золотое обеспечение исчерпалось, настало банкротство. А ведь еще вчера все так ладно взаимосвязывалось: писатели — помощники партии, искусство принадлежит народу.

Эта литература не успела умереть, а уже думаешь: да существовала ли она вообще? Скоро любопытные туристы-литературоведы потянутся на ее руины — кстати, занимательная экскурсия.

Соцреализм — это культурная эманация тоталитаризма, это бешенство литературы в замкнутом пространстве, это садомазохистский комплекс писателя-атеиста, продающего душу, в существование которой он не верит.

На Западе говорят: дозволенные сверху свободы — не свободы,

половинчатые реформы — не спасение. Но тоталитаризм гибнет не тогда, когда приходит нормальная демократия, а несколько раньше, когда он осознается *таковым* общественным мнением. Для демократии этого недостаточно, но это уже достаточно для того, чтобы нанести непоправимый удар по соцреализму. По нему звонит нынче колокол.

В последние годы своей жизни, отойдя от сталинского шока, советская литература существовала (а по инерции ее последователи — что называется *life after life* — существуют и сейчас) в трех основных измерениях. Каждое из них оказалось охвачено кризисом.

Я говорю об официозной, деревенской и либеральной литературе, понимая при этом условность их подразделения, поскольку порою эти измерения пересекались и, кроме того, каждый мало-мальски способный художник обладает, как известно, личностным измерением и потому не укладывается в схему. Однако схематизм почти всегда оказывается основой аналитического взгляда, а те утраты, которые он приносит, могут окупиться четкостью общей картины.

Официозная литература имеет до сих пор сталинскую традицию и опирается на принципы «партийности», утвердившиеся в 30—40-е годы. Сущность этой литературы заключается в пламенном устремлении к внелитературным задачам, созданию «нового человека», который сводится к одномерной общественной функции. Социалистический реализм учил видеть действительность в ее революционном порыве, поэтому отрицал реальность за счет будущего, был ориентирован на преодоление настоящего, насыщен звонкими обещаниями и безграничной классовой ненавистью.

В брежневский период соцреализм подвергся той же коррупции, что и общество в целом. Если в сталинское время писатель служил соцреализму, то в брежневское соцреализм стал служить интересам писателя. Автор пользовался соцреализмом прежде всего потому, чтобы утвердить не идею, а самоутвердиться. Внешне это было не столь заметно, но внутренне подрывало самую идею бескорыстного служения и, по сути дела, способствовало той *деградации* всей системы, которая была необходима для того, чтобы общество в конце концов взялось за изменение своей модели. Так в старческом лоне брежневизма зарождались предпосылки для перестройки.

Вопрос о том, насколько официальный брежневский писатель типа Г. Маркова верил в то, что писал, был, по сути дела, неуместен, ибо выглядел неприлично. Такое не только не обсуждалось — такое не думалось. Общественная шизофрения создала особый тип писателя, который стал выразителем государственного мышления за рабочим столом и поклонником общества потребления у себя на даче. Какое это отношение имеет к литературе? Лишь то, и немаловажное, что официозная литература прочитывалась сотнями тысяч читателей, способствовала формированию их вкусов и вела к манипуляции их сознанием. В условиях закрытого общества, когда каждый имеет ровно столько прав, сколько он получил благодаря своему общественному положению, литературная номенклатура нередко спекулировала на запретных и полужапетных темах. Эта, как ее еще называют,

*секретарская* литература писалась влиятельными секретарями Союза писателей и потому была защищена от нападков как цензуры, так и критики.

Среди тем-табу — Сталин (тема, которая развивалась, к примеру, в исторических романах А. Чаковского), особенности русского национального характера (здесь официозная литература сближалась с консервативным флангом деревенской литературы), коллективизация, диссидентское движение, эмиграция, проблемы молодежи и т. д. Нет нужды говорить о том, что все эти темы сознательно извращались, что читатель сознательно вводился в заблуждение. Но когда эти темы на страницах подцензурной печати оказывались монополией официозной литературы наравне с пикантной темой зарубежной деятельности советской разведки или афганской войны, — массовый читатель, испытывавший информационный голод, кидался с неподдельным энтузиазмом на «секретарские» книги и получал удовлетворение от самого приобщения к заповедной и жгучей проблематике, расплачиваясь за это кашей в собственной голове. Тем самым официозная литература если и не выполняла до конца задачу коммунистического воспитания читателя, то с успехом сбивала его с толку и оболванивала.

С начала перестройки официозная литература растерялась. Ей кажется, что происходит какой-то партийный маневр, смысл которого она не в состоянии распознать. Но проходит время, и удар приходится по ней самой. Ее потери оказываются настолько значительными, что она утрачивает свой *raison d'être*.

Прежде всего она лишается своей идеологической роли и неприкосновенности. Порождение закрытого общества, официозная литература может существовать лишь в условиях герметичной среды. Однако осмелевшая либеральная критика начинает ее зачастую просто высмеивать, указывая на ее беспомощность, стереотипность, тупость.

Официозная литература становится непримиримой противницей перемен. Наиболее ярко это сопротивление видно в выступлениях Ю. Бондарева, который сравнивает новые силы в литературе с фашистскими ордами, напавшими на Советский Союз в 1941 году, что в устах бывшего фронтовика звучит самым отчаянным обвинением.

В связи со своим собственным крахом официозная литература могла бы поставить вопрос о настоящей *шекспировской* трагедии, происшедшей с частью пожилого поколения, которое к семидесяти годам осознает бессмысленность своего земного существования, отданного ложным идеалам при полном неверии в метафизические ценности. Именно в этом шекспировском ключе прочитываются многие «антиперестроечные» письма читателей, публикуемые на страницах консервативных журналов.

Однако официозная литература слишком слаба для отражения подлинных конфликтов и предпочитает вести борьбу политическими интригами, используя свои старые связи. Кое-кто из официозных писателей не прочь и «перекраситься», но боится, что ему не подадут

руки. Либеральная общественность сама выталкивает конформистов в оппозицию.

Таким образом, официозная литература оказывается в совершенно несвойственной для нее роли оппозиционного движения, роли, на которую она не способна, будучи по сути своей абсолютно беспринципной и опираясь в своей деятельности лишь на чужой авторитет. Однако она готова искать новые пути, сближаясь с националистическим течением, к которому, впрочем, и ранее втайне благоволила. Ее существование в националистическом лагере выглядит достаточно смехотворно (ведь она вроде бы воспевала интернационализм!), но нельзя, посмеиваясь над ее нынешними misadventures, забывать о том, что если процесс реформ будет сорван, то более ревностных идеологов контрреформации, чем «секретарские» литераторы, трудно будет вообразить.

Правда, остается путь покаяния, но по нему пошли лишь единичные и не самые представительные «официалы». Другие же предлагают, скорее, версию самооправдания, объясняя свое участие в травлях инакомыслящих писателей — от Пастернака до участников альманаха «Метрополь» — тем, что они выполняли «приказ».

Расслоение и деградация официозной литературы, в сущности, не слишком много значат для дальнейшего развития литературы, поскольку среди официальных писателей практически нет талантливых (остроумное пародирование соцреалистической эстетики становится популярным среди молодых писателей-концептуалистов), но их крах ведет к ошутимым переменам в литературно-общественной иерархии ценностей.

Деградация деревенской литературы чувствительнее для дела литературы, поскольку речь идет о более одаренных и социально более достойных писателях.

Деревенская литература сложилась в послесталинские годы и описала чудовищное положение в русской деревне, подвергнувшейся беспощадной коллективизации, несчастьям военного и послевоенного времени. Она создала, порой не без блеска, портреты деревенских чудаков и доморощенных философов, носителей народной мудрости, участвовала в процессе развития национального самосознания. Центральной фигурой в ней стал образ женщины-праведницы (например, в рассказе Солженицына «Матренин двор», близком к деревенской литературе), которая, несмотря на все тяготы жизни, остается верна своим религиозным инстинктам.

В 70-е годы деревенская литература добилась того, что в лице Астафьева, Белова и Распутина могла существовать в известной мере самостоятельно, исповедуя «патриотизм». Именно патриотизм деревенской литературы приглянулся официозу, однако он не был достаточно казенным, и нередко случались недоразумения. Тем не менее ее стремились принорочить для идеологических нужд, взять в союзницы в борьбе с Западом, засыпать государственными премиями и орденами. Не всегда это удавалось: деревенская литература имела свои религиозные или даже политические «фанаберии», смело участвовала в экологическом движении.

Со временем дело, однако, стало меняться. Это изменение началось еще до перестройки, но с ее наступлением усугубилось. Прозападническое развитие советского общества, спонтанное, не санкционируемое, но весьма определенное, способствовало тому, что в стране возникла общественная база для реформ, привело ко все нарастающему конфликту между деревенской литературой и обществом.

Деревенская литература стала больше разоблачать, проклинать, чем возвеличивать. У нее появились три заклятых врага.

Первым, как ни странно, стала женщина. Если раньше, в ипостаси матери-праведницы, она была положительной героиней, то теперь, в образе чувственной и даже развратной жены, она выглядит, в духе старой православной доктрины, «сатанинским» семенем. Именно женщина в погоне за призрачными удовольствиями жизни оказывается (в стиле откровенного мужского шовинизма) разрушительницей русской семьи, растлительницей слабохарактерных мужчин.

Второй враг — молодежь и связанная с ней субкультура. У деревенских писателей совершенно зоологическую ненависть вызывает рок-н-ролл, *духовный*, по их определению, СПИД. Аналогичную злобу вызывают у них и аэробика, которую они в простоте душевной почитают истинной порнографией, да и вообще любые западные веяния, калечащие невинную в своей первозданной красе русскую душу. В деревенской литературе, как в архаичном фольклоре, проходит решительное размежевание между «своими» и «чужими» (третий враг): «свои» и «чужие» одеваются, едят и мыслят по-иному и несовместимы на онтологическом уровне.

«Чужими» оказываются также евреи и вообще инородцы. Это у деревенщиков щекотливая тема, они развивают ее под сурдинку, туманно, уклончиво, но неустанно, как и в декларациях общества «Память». Не случайно один из московских либеральных критиков, обозревая новый роман Белова, взорвался: «Ответьте прямо: нужно ли все это понимать так, что автор «Хроники» придерживается той самой концепции... согласно которой «мировое зло» реализует себя через существование некоего тайного всемирного жидо-масонского заговора?..»

Во всяком случае, «деревенщики» всерьез обеспокоены еврейским влиянием на русскую историческую судьбу. Их «помраченное» сознание определено историческим желанием переложить ответственность за национальные беды на «чужих», найти врага и в ненависти к нему сублимировать национальные комплексы.

Короче, деревенская литература, скорее, не тематическое, а мировоззренческое понятие. В России, как и в других странах с большим сельским населением (Канаде, Польше и др.), она традиционно заражена мессианским духом, странным сочетанием комплекса национального превосходства, народной и религиозной исключительности с комплексом неполноценности. Вот и наша деревенская литература находится на оси сентиментально-лирической и апокалиптической прозы. Ее язык перегружен диалектизмами, но в то же время высокопатетичен и порой вызывает зубную боль даже тогда,



когда описываются подлинные трагедии революции и коллективизации.

«Деревенщики», кажется, отказываются от «советских» ценностей, но меня их апокалиптический тон угнетает своей безвкусицей.

Спасение для них предстает в гуманной, романтической, монархическо-религиозной грезе теократического порядка, на смену соцреалистическим фантазиям приходит идея, в которой ненависть торжествует над любовью, и не случайна сегодняшняя деградация этой литературы: как подсказывает мировой литературный опыт, литература, укушенная ненавистью, неизбежно саморазрушается, отпугивая или изумляя неподвзятую читателя.

Серьезной проблемой русской литературы всегда был *гиперморализм*, болезнь предельного морального давления на читателя. Эта болезнь историческая и, стало быть, хроническая, ее можно найти уже у классиков XIX века Достоевского и Толстого, но ее зачастую воспринимали как отличительную черту русской словесности, — и верно, для зарубежного читателя это занимательно, это что-то *другое*. По-моему, это *другое* при чрезмерной развитости концепции социальной ангажированности слишком часто разворачивало русскую литературу от эстетических задач в область однозначного проповедничества. Литература зачастую мерилась степенью остроты и социальной значимости проблем. Я не говорю, что социального реализма не должно быть, пусть будет все, но представить себе национальную литературу лишь как литературу социального направления — это же каторга и тоска!

Деревенская и либеральная литература, каждая по-своему, обуреваема *гиперморализмом*.

Либеральная литература, детище хрущевской оттепели, была и остается, что называется, *честным* направлением, она возводит порядочность в собственно литературную категорию и тем самым долгое время была привлекательна для читателя, изголодавшегося по правде.

Главным намерением либеральной литературы было желание сказать как можно больше правды — в противостояние цензуре, которая эту правду не пропускала. Цензура оказала здесь свое формообразующее влияние, она развратила либеральную литературу борьбой с собой и привила ей тягу к навязчивой аллюзивности, она же развратила и читателя, который приходил в восторг всякий раз, когда подзревал у писателя «фигу в кармане». Писатель стал специализироваться на «фигах» и отучался думать...

Либеральная литература очень обрадовалась перестройке и сыграла в ее начале ту самую роль, которую она давно мечтала сыграть, — роль социального прокурора, судящего общество по законам морали и здравого смысла. Но радость вышла недальновидной: перестройка на этот раз, в отличие от хрущевской оттепели, оказалась для либеральной литературы слишком бездонной, в этом колодце стали тонуть многие произведения, еще вчера казавшиеся поразительно смелыми.

Интересно, что большое количество диссидентской литературы пришло именно из либеральной словесности, переоценившей послесталинскую мягкость цензуры, то есть многие произведения оказа-

лись диссидентскими случайно. Но лишившись в западном «тамиздате» цензурных ограничений, они — значительное их большинство — задохнулись от обилия кислорода. Либералы должны были, по логике вещей, благословлять комфортабельную несвободу, самые умные из них так и поступали.

Теперь же отечественная свобода, какой бы неполной она ни была, быстро состарила «смелые» произведения, что видно на примере романа Рыбакова «Дети Арбата» или либеральной драматургии Шатрова.

Огромный пласт литературы, замысленной как либеральная, погиб, унеся с собой многолетний труд многочисленных писателей. Я помню драматический момент, когда проваливались один за другим поэты, впервые вышедшие в московском клубе на свободную эстраду, с тем чтобы прочесть свои потаенные либеральные стихи, написанные при Брежневе. Поэты оказались ненужными молодежной аудитории, ироническими аплодисментами сгонявшей их со сцены.

«Поэт в России больше, чем поэт», — сказал Евтушенко, желая тем самым воспеть положение поэта в России и не понимая, видно, того, что поэт в таком положении оказывается *меньше*, чем поэт, поскольку происходит его вырождение. В России литератор вообще был призван исполнять сразу несколько должностей одновременно: быть и священником, и прокурором, и социологом, и экспертом по вопросам любви и брака, и экономистом, и мистиком. Он был настолько всем, что нередко оказывался *никем* именно как литератор, не чувствуя особенности художественного языка и образного парадоксального мышления. Он нанимал стиль, как *gent-a-sag*, лишь бы только добрать-ся до цели своего социального назначения.

Оттого-то у нас до сих пор подозрительно относятся к иронии, видя в ней нарушительницу серьезного взгляда на литературу как общественного просветителя, оттого-то игровой элемент в искусстве раздражает функционеров от литературы не меньше, чем политическая крамола Солженицына. Сегодня *литературная* альтернатива кажется мне особенно существенной.

Социально прямолинейная литература сопротивления в либеральной и диссидентской ипостасях выполнила свою общественную миссию, которую, увы, пришлось взять на себя литературе в период закрытого государства. В *постутопическом* обществе пора наконец вернуться к литературе.

Новой, будущей литературе, которая придет на смену умершей, поможет опыт Набокова, Джойса, Замятина, Платонова, Добычина, Обзериутов, создателей «русского абсурда», возрождение которых происходит сейчас в СССР. Этот опыт включает в себя обращение к слову как к самозначащей реальности. Слово — самоценность, материально значимая вещь. В романе важно не столько создать определенный человеческий образ, характер, а, опираясь на эти традиционные литературные представления, создать то, о чем я бы просто сказал — *проза*.

Сейчас возникает «другая», «альтернативная» литература, которая противостоит «старой» литературе прежде всего готовностью к диало-

гу с любой, пусть самой удаленной во времени и пространстве, культурой для создания полисемантической, полистилистической структуры с безусловной опорой на опыт русской философии начала XX века, на экзистенциальный опыт мирового искусства, на философско-антропологические открытия XX века, вообще оставшиеся за бортом советской культуры, на адаптацию к ситуации свободного самовыражения и отказ от спекулятивной публицистичности.

Нам как воздух нужен диалог с различными культурами, в культурном изоляционизме мы вновь потеряем предоставленный нам ныне шанс преодолеть наш вольный или невольный провинциализм и заскорузлость.

Конец литературы, обремененной социальной ангажированностью официозного или диссидентского толка, означает не конец, а возможность возрождения национальных литератур на территории Советского Союза, в том числе и русской литературы. Ростки «альтернативной» литературы, какими бы скромными они пока ни были, обнадеживают.

Итак, это счастливые похороны, совпадающие по времени с похоронами социально-политического маразма, похороны, которые дают надежду на то, что в России, традиционно богатой талантами, появится новая литература, которая будет не больше, но и не меньше, чем *литература*.

**Апрель***Леонид КОСТЮКОВ***19,89**

Рассказ

В феврале Валерия Васильевича Романова повесткой вызвали в райисполком по вопросу улучшения жилищных условий. Вызовы делились на уточнения и сдвиги в очереди. Уточнение было никакой новостью, сдвиг — средней. Теоретически возможны были еще хорошая и плохая новости — собственно ордер на квартиру и исключение из очереди, но Валерий Васильевич старался не думать о крайностях.

— Ну как? — спросила его жена по возвращении домой.

— Средне, — ответил Валерий Васильевич и начал есть суп, чтобы скрыть расстройство.

Его и его семью слегка (года на два) подвинули, сделав льготу ветеранам тыла.

— Что поделать, старик, — сказал назавтра начальник Валерия Васильевича, Борис Иванович. — Мы в долгу перед ветеранами тыла, и это не слова. Не будь их, не было бы всего этого.

Он обвел широким жестом хаотическое пространство, состоявшее из кульманов, голов и световых пятен. Вообще Борис Иванович сочувствовал Валерию Васильевичу и обещал помочь в случае чего.

Валерий Васильевич Романов жил с женой, четырнадцатилетней дочерью и отцом в комнате в коммуналке. Подробности, правда, были с плюсом: комната была светлая, просторная, коммуналка с одной только соседкой, в центре.

— Не узнал, где теперь дают? — спросила Романова жена, Вероника Андреевна.

Романов вздрогнул: он сам думал о квартире, а ведь со дня последнего вызова прошло уже более трех суток.

— Спросил.

— Где?

— В Северном Измайлове.

Через пять лет все равно будут давать не там, так что вопрос был праздный, примерочный. Валерий Васильевич и Вероника Андреевна сидели на коммунальной кухне, искусственно затягивая ужин, потому что в комнате все уже спали, там оставалось только лечь и замереть. Не то чтобы Валерию Васильевичу и Веронике Андреевне не хотелось спать, но не каждый же день соблюдать режим. Они поговорили еще немного о разном, Вероника Андреевна предложила сделать перестановку мебели; Романов отказался.

Через несколько дней Романов, придя домой, застал на лице отца выражение этакой просветленности и неподкупности, всегда его (Валерия Васильевича) раздражавшее. Очевидно, кто-то склонял Василия Ивановича пойти вразрез с его убеждениями.

На кухне соседка, Зоя Александровна, варила себе кофе, часто смахивая слезы.

— Что, Зоя Александровна, — спросил Валерий Васильевич с осторожной веселостью, — не сошлись во взглядах?

— Знаете, Валера, — Зоя Александровна совершенно не расположена была шутить, — всему должен быть предел.

— Несомненно.

— Как можно говорить, что при нем был порядок! Это же был палач, Валера, просто палач!

— Зоя Александровна, — Валерий Васильевич поднял ладонь, как бы пытаясь в воздухе еще перехватить ее слова, — меня не надо агитировать, я уже ваш. А папашу моего не переделывать. Стоит ли нервы портить?

— Кому?

— Вам. И ему.

— Вот, — удовлетворенно и в то же время горестно произнесла Зоя Александровна, снимая кофе с плиты, — угробили двадцать миллионов, а теперь не хотим нервы портить, вспоминать.

— Да он-то не гробил.

— Ах, Валера, если бы еще лет двадцать хотя бы прожил Владимир Ильич...

— Да, — сказал Романов, не желая связываться.

На следующий день Василий Иванович тяжело расшибся при выходе из троллейбуса. Задняя площадка оказалась под током (такое бывает), люди наступали на нее, падали, матюгались и вставали. А вот Василий Иванович матюгнулся и не встал. Он ударился поясницей все о ту же троллейбусную ступень; его подняли и поставили на ноги, даже не отряхнули, он сам дошел до дому, сам вызвал врача, а потом буквально одновременно вернулись все — Валерий, Вероника, Зоя, дочь Надежда — и теперь пытались разобрать латинские закорючки на бумажном листке.

— Вышел бы с передней, — буркнул Валерий Васильевич. — Видел же — падает народ.

— Все видели, — мрачно ответил отец, — и все падали.

Что верно, то верно.

— Могу помереть, — сказал вдруг Василий Иванович совершенно неуместным тоном, как бы перечисляя умения: могу полы циклевать, могу столярное дело...

— Не надо, — машинально ответил Валерий Васильевич.

Конечно, ему было жаль отца. Кроме того, было раздражение на Зою Александровну: ведь если действительно все в организме взаимосвязано, так и вчерашнее расстройство отца косвенно привело к сегодняшнему падению. А кроме того, Валерий Васильевич был инженером, стало быть, человеком, привыкшим к автоматическому расчету, и его мозги отщелкнули такую мыслишку: если бы отец, не дай Бог, умер, у них бы сразу стало больше пяти метров на человека. Мыслишка, прямо скажем, мелкая, но ее частично извиняло то, что она тоже наказывала отцу жить, а не умирать. Она, эта мыслишка, была вроде как плохой человек, голосующий за хорошее начинание. И как ведь бывает: сперва голос посчитают с удовольствием, а потом и человека этого пригласят в само начинание, иначе будет неудобно.

Простое это арифметическое рассуждение, что 19:4 меньше 5, а 19:3 больше 5, совершенно завладело сознанием Валерия Васильевича. Как бы он ни желал долгих лет жизни своему отцу, он не Бог и даже не врач. И мало-помалу Валерий Васильевич пришел к такому решению: неплохо было бы подстраховаться, завести еще одного ребенка.

Была одна тонкость: два года назад на ребенка намекнула Вероника Андреевна, даже больше чем намекнула, но Валерий Васильевич ее переубедил — ребенку физически негде было бы жить по крайней мере шесть лет. Пришлось делать аборт. А сейчас ничего объективно не изменилось, даже шесть лет остались шестью годами. Валерий Васильевич не знал, как и сказать о ребенке.

Выручил шурин: заехал с бутылкой хорошего вина. Валерий Васильевич выпил немного и сказал: «Толя, хочешь племянника?» Подурачки, конечно, прозвучало, но это была правильная дурасть: что возьмешь с дурака — из этой серии. Вероника не возразила, вообще вроде как не расслышала, но расслышала. Единственно что — она не была похожа на молодую мать, была похожа на мать семиклассницы, она и была матерью семиклассницы. Кроме того, в романовских квартирных условиях не так-то просто было зачать ребенка, но тут Валерий Васильевич оказался на высоте — достал ключи от какой-то пустой квартиры, они приехали туда в середине дня, отпросившись у своих начальников, как любовники, а потом любили друг друга (они вообще любили друг друга), а потом долго еще отдыхали просто так, бродили по чужой двухкомнатной квартире, всей в перекрещивающихся весенних лучах — из окон, из зеркал, а потом, в положенный срок, Веронику Андреевну начало подташнивать, все сработало, все произошло; еще немного, и отец сможет делать что ему заблагорассудится.

Вынимая из почтового ящика очередной вызов в райисполком, Валерий Васильевич почувствовал, как сердце забилося явственнее, круче. Нервы стали никуда. Он сформулировал для себя, что не переживет очередного сдвига, но тут же забраковал этот тезис как истеричный. Он опротестует этот сдвиг — слово пришло удачное, как бы решающее проблему.

— Сдвигаете? — спросил он умеренно-грозно. (Скрытый вызов в ответ на их вызов заключался еще и в том, что Валерий Васильевич не снял куртку, только расстегнул; девица не обратила внимания на этот его поступок.)

— Нет, — сказала девица. — Небольшое уточнение.

У Валерия Васильевича отлегло от сердца — он так и подумал о себе — в третьем лице, потом подумал, что начал думать штампами и что дело не в этом.

— Мы, знаете, — продолжала девица, — начали использовать ЭВМ.

— Что ж, давно пора.

— И она выдала уточненные данные. У вас выходит площадь комнаты 20,5.

— Как? — сказал Валерий Васильевич.

— Очень просто. — Девица пожала плечами.

— Но позвольте... ЭВМ ведь только обрабатывает информацию, откуда она может взять новые данные?

— Мы ввели данные из поэтажных планов застроек, — четко ответила девица.

И Валерий Васильевич понял, что это все всерьез.

— И что?

— Ну... вы лишаетесь права на очередь.

— И что же мне — подыхать?

— Почему — подыхать? Обратитесь, например, в бюро обмена.

Они, не сговариваясь, не стали обсуждать этот вариант.

— А как же отдельная квартира к двухтысячному году? — спросил Романов, понимая, что разговор становится неконструктивным, отчаяваясь. — Каждая советская семья...

— Это уже демагогия, — совершенно верно заметила девица.

— Да... А если бы нас было пятеро?

— Считайте сами.

— А нас восстановят в очереди?

— Нет.

— Что же делать? — сказал Романов.

— Не знаю, — посуровела девица, наверное, решив, что Романов намекает на нарушение законности. — Ничего нельзя поделать. Можно, если хотите, обмерить еще раз.

— Хочу, — сказал Романов.

Контрольный обмер назначили на завтра. Валерий Васильевич вызвал шурина Анатолия, они вдвоем отодвинули шкафы от стен. Жить в комнате стало невозможно. Тогда они вынесли какие-то мелочи,

ящики, табуретки на кухню, а старую тумбочку уволокли к Зое Александровне.

— Если все будет в порядке, подарю вам, — обещал Валерий Васильевич. — Впрочем, если нет, тем более можно подарить.

К вечеру всё сдвинули, все вместе пили чай на кухне. Вообще говоря, измерить можно было сейчас, заранее, но ничего нельзя было изменить. Мерить никто не предложил. Спали среди шкафов, как в лесу, плохо.

Назавтра пришли два веселых парня-обмерщика с рулеткой.

— Гляди, Коль, — сказал один их них второму, — разгар рабочего дня, а все дома. Хотел бы так жить?

— Ну, — ответил тот.

Позвали Зою Александровну как понятую. Парни мерили кое-как, косо.

— Прямо веди, — наставлял их Валерий Васильевич, — параллельно полу.

— Какая тебе разница, — живо ответил первый парень, не Коля. — Так даже больше выйдет. Каждому ведь охота пожить в большой квартире.

Валерия Васильевича буквально затрясло.

— Спокойно, Валера, спокойно, — сказала Вероника Андреевна.

— Видите ли, молодые люди, — сказал Валерий Васильевич спокойно, — мне лично нужно как раз меньше.

— В чем проблема? — парень без имени чуть не уронил рулетку. — Ты нам поставь только, мужик, мы тебе намерим сколько надо.

Тут Романов пожалел, что пригласил соседку — старуха была принципиальная.

— Мерьте как есть, — сказал он (в крайнем случае можно будет догнать ребят и договориться — и пунктиром: а вдруг провокация? нет, невероятно).

Они промерили длину и ширину, записали данные на листке, все расписались, потом достали Надькин калькулятор, проверили его на таблице умножения, потом занесли по очереди оба числа — и умножили.

«Первая цифра, — пронеслось в мозгу Валерия Васильевича быстрее, чем сработала электроника, — важна только первая цифра, впрочем, если даже 2, еще ничего не потеряно...»

Он увидел итог: первая цифра — 1. Посмотрел дальше — ответ вышел до десятитысячных. Округлили до сотых, расписались. Хотя радости никто явно не выражал, парни почувствовали, что бутылка накрылась, немного увяли. Площадь вышла 19,89. Романов сходил с парнями в райисполком, восстановил свои неутраченные права. Там ко всему случившемуся отнеслись флегматично: нет так нет. Когда Валерий Васильевич вернулся домой, мебель уже была расставлена — так, как хотела Вероника Андреевна. Получилось действительно лучше, светлее. Назавтра Вероника Андреевна почувствовала боль внизу живота, не смогла встать. Романов отзвонил на работу себе и ей, потом вызвал «скорую», потом выскочил, поймал такси, подъехал к дому, выволок жену, поехали, буквально возле дома разминувшись со



«скорой», приехали в больницу, посидели в очереди, потом Вероника Андреевна зашла, потом вышел врач и сообщил Романову: выкидыш.

— Опасности для жизни нет? — спросил Романов.

— Для какой жизни?

— Ее, какой же еще?

— Нет, — благодушно сказал врач. — Кровь потеряет, отдохнет несколько дней у нас, и выпишем.

Так и случилось. Когда Веронику Андреевну выписали, Валерий Васильевич встретил ее почему-то с цветами, они пошли в кафе, болтали, целовались, домой пришли к вечеру. Слишком много крови потеряли за последние месяцы, что правда, то правда.

У Василия Ивановича начались какие-то боли. Вызвали врача, приехал какой-то новый вялый врач, все осматривал Василия Ивановича, скучнел (но не мрачнел), потом постепенно иссяк, вымыл руки почему-то перед уходом, подождал у входной Валерия Васильевича.

— Ну что вам сказать... — начал он неохотно. — Ваш отец воевал?

— Нет... не успел.

— Сколько же ему лет?

— Шестьдесят.

Врач покачал головой:

— И не сидел?

— Нет, не сидел.

— А кем работал?

— Финансистом.

— И не сидел?

— Вы уже спрашивали.

— Да, — врач сделал неопределенный жест рукой, — все равно жизнь нелегка. Ничего конкретного у вашего отца лично я не нахожу. Впрочем, сделайте на всякий случай анализы, я сейчас выпишу направления. Но это вряд ли.

В мае вышел новый сдвиг — вне очереди пошли герои афганской войны. Еще в райисполкоме Романов счел своим долгом возмутиться, ему не без ехидства посулили очную ставку с афганцами: там, дескать, в духе гласности выразите свои претензии. Впрочем, это все были шутки.

— Что поделать? — сказал начальник, Борис Иванович. — Хорошо, что хоть кто-то живой оттуда вернулся.

— Странное дело, — ввернул кто-то, — война, кто-то вернулся, кто-то не вернулся, а квартир не хватает.

Все это были разговоры.

— Понимаешь, — объяснил Романову шурин Анатолий, — очень выгодная льгота для государства — пускать кого-то вне очереди. С одной стороны, все для народа, с другой стороны, ни копейки расходов.

Шурин занимал промежуточное социальное положение — был инженером, но без высшего образования, все учился где-то на заочном и потому исключительно верно обо всем судил — с тонкостью интеллигента, но с народной прямоотой и окончательностью, что ли.

— Где дают? — спросила Вероника, снимая напряжение.

— В Косино, — ответил Валерий Васильевич. Напряжение не снялось: Косино было за Кольцевой автострадой, сразу за ней и близко от метро «Ждановская», и официально считалось Москвой — но все-таки за. Для Романовых это было важно. И ведь это сейчас дают в Косино — а что будет через семь лет? страшно подумать.

У Василия Ивановича оказался рак. Случай, правда, операбельный. Романовых похвалили за своевременное обращение к медикам. Василия Ивановича увезли в больницу.

Скучая по дедушке, Надя стала все чаще заходить к Зое Александровне, беседовать с ней о литературе. Однажды, вернувшись с работы раньше Вероники, Валерий Васильевич очень уж не захотел идти в пустую, темную комнату и стукнулся к Зое. Его, конечно же, пустили.

Он не был здесь с детства — не считая запарки с тумбочкой, еще каких-то пустяковых минутных забегов и просьб. Ничего не изменилось за последние двадцать лет, слегка постарело вместе с хозяйкой. Пожелтело фото в овальной рамке: Зоя Александровна с мужем, репрессированным большевиком. Судьба покойного мужа полностью сформировала гражданскую позицию Зои Александровны — позицию XX съезда КПСС.

Зоя Александровна надела очки и приобрела очень рассудительный вид. Валерий Васильевич прислушался к разговору: речь шла о Трифонове, которого он любил. Валерию Васильевичу стало покойно и хорошо — на минуту, а потом его стал раздражать безапелляционный тон Зои Александровны, и он ничего не мог с собой поделать. Надо было встать и уйти, но неудобно, сам напросился. Да что это, психоз, что ли?!

Обсуждался «Обмен».

— В том-то и дело, Наденька, — мягко говорила Зоя Александровна, — что поступок героя повести формально ненаказуем. Ни с каких логических позиций ему и никому не докажешь, что так не поступают. И автор никому ничего не доказывает — он просто показывает нам этот жизненный пласт, и у нас остается осадок. Вот этот самый осадок, Наденька, он и есть литература. Именно ради этого и стоит писать — чтобы доказать то, чего не докажешь иначе.

Если бы Романов взялся говорить о трифоновском «Обмене», он сказал бы примерно то же.

— Не совсем с вами согласен, Зоя Александровна, — произнес он неожиданно для себя.

— Видишь ли, Валера, — ровно, не меняя интонации, сказала Зоя Александровна, — я бы не хотела спорить с тобой на абстрактном уровне. Речь идет о конкретном тексте.

— Почему абстрактно? — опешил Валерий Васильевич. — Я хотел как раз о тексте.

— А ты читал Трифонова?

— Черт! А почему же я не читал Трифонова?

— Ну извини, Валера, — так же ровно сказала Зоя Александровна. — Говори.

Романов забыл, что хотел сказать. Он вытер лоб ладонью.

— Во-первых, можно и на абстрактном уровне возразить, — сказал Романов и почувствовал, что краснеет. — Что доказывает Гоголь своим «Вием», например?

— Давай о Трифонове, Валера, — сухо сказала Зоя Александровна. — Если хочешь, я потом объясню тебе «Вия».

А ведь Зоя Александровна никогда не была школьной учительницей литературы, она просто много читала.

— Ладно. — Романов вспомнил сюжет «Обмена». — Допустим, я прочитал «Обмен» и усвоил его сверхидею. Допустим, мы с отцом живем в разных квартирах. Допустим, он заболел раком — и не как сейчас, не так, что можно еще прооперировать и спасти, а... намертво. В больнице его не держат — бесперспективен. Он лежит дома, на окраине, в отдельной квартире. И я вместо того, чтобы съехаться с ним и ухаживать за ним, — что греха таить — улучшить жилищные условия для своей семьи, — вместо этого, повторяю, начитавшись Трифонова, езжу каждый день к отцу, оставив все хозяйство на Веронику. Но самое интересное, что отец все равно помирает, несмотря на мою чистую совесть, с той только разницей, что его площадь отходит не к его родным, а к так называемому государству, которое тут же передает ее предприимчивому партработнику.

— Или просто семье, стоящей на очереди в райисполкоме, — подхватила Зоя Александровна.

— Да бросьте, — отмахнулся Валерий Васильевич. Запал его исчез.

— Ну и что вам, Валера, дала эта повесть? — сказала старуха, перейдя на вы. — Зачем вы ее читали?

— Сам не знаю, Зоя Александровна, — ответил Романов, извинился и ушел к себе, в пустую комнату. Скоро, впрочем, пришла Вероника Андреевна, и они стали ужинать.

Василий Иванович хорошо перенес операцию, его обещали выпить через месяц.

Шел июнь. Однажды ночью Валерий Васильевич проснулся от какого-то неуловимого, ускользающего кошмара. Комната в холодном лунном (или фонарном) свете. Надежда спала за углом шкафа. За стеной храпела Зоя Александровна. Рядом лежала Вероника — Валерий Васильевич не видел ее лица, — и тут неожиданно быстро, целеустремленно он овладел ею, едва проснувшейся. Валерий Васильевич, уставший сверх всякой меры, запыхавшийся, наоборот, никак не мог заснуть. Он встал, сходил на кухню, выпил стакан теплой кипяченой воды из чайника. Его тошнило от слабости. Он подумал, что

все произошло: Вероника снова будет беременна, и у них будет сын.

Накануне возвращения отца из больницы Романовы провели уборку, приготовили курицу с яблоками, вымыли полы, расставили по вазам букетики цветов. Валерий Васильевич улучил на кухне Зоя Александровну.

— Зоя Александровна, — сказал он деликатно, — у меня будет к вам небольшая просьба.

— Да, конечно, Валера, слушаю.

— Завтра папа выпишется из больницы, но он еще очень слаб, у него могут быть осложнения.

— Бог мой! Валера, к чему эти предисловия? Говорите сразу, все, что в моих силах, я, конечно, сделаю.

Валерий Васильевич сглотнул слюну.

— Если можно, не ругайте Сталина, хотя бы на первых порах.

Зоя Александровна замкнулась лицом. Валерий Васильевич почувствовал, что надо бы закруглить беседу.

— Ладно? — спросил он.

— А как вы сами думаете, Валера?

— О чем?

— Ладно это или нет?

— Ну, Сталин, безусловно, подонок, но если бы речь шла о жизни живого человека, я бы, наверное, смог удержаться.

— Да, Валера. Вроде бы логично. Но вот интересно: почему вы все время пытаетесь повлиять на меня, а не на вашего отца? Вроде бы он вам ближе, и стоите вы на моей позиции, с ним бы и спорить. А вы спорите со мной.

— Вы умнее, — сказал Валерий Васильевич, с трудом проглотив «все-таки».

— Ах, Валера, — скорбно покачала головой старуха, — если бы Владимир Ильич...

Сейчас в гостях у Романовых был шурин Анатолий. Маловероятно, что он мог слышать кухонный спор, но все же именно его присутствие ударило Валерию Васильевичу в голову.

— Что вы все хвалите Ленина? — спросил он злобно. — Сталина развенчал двадцатый съезд, Ленина, допустим, тридцатый развенчает. И сразу он станет у вас супостатом, антихристом и так далее. Разницы ведь, по сути, не много — Ленин тоже жизнь не ставил ни в грош. Перипетии классовой борьбы. — Зоя Александровна молчала. — На слово «культ» нас уже научили делать стойку, и то не всех, а на слово «красный террор» еще не научили. Суть-то одна.

Они помолчали.

— Как же только язык повернулся? — медленно произнесла наконец Зоя Александровна, обращаясь не к Валерию Васильевичу. — До какого же кощунства можно дойти?!

— В чем же вы видите кощунство? — спросил Валерий Васильевич с нервной улыбкой, старуха только слабо отмахивалась, как

от вони. — У вас супруг пострадал от Сталина, а если бы его разорвали на кусочки в ЧК или пристрелили в гражданскую войну, что бы вы тогда сказали?

Старуха побледнела, даже при слабом кухонном освещении это было заметно. Сзади послышались шаги, подошел шурин Анатолий.

— Извините, — сказал он предельно вежливо, — слышал ваш спор, решил вот обратиться только с одним вопросом. — Он вполголоса уточнил у Романова имя-отчество соседки. — Зоя Александровна, как вы считаете, Владимир Ильич в семнадцатом году знал, куда все приведет?

— Нет, — отрезала старуха.

— Но хотя бы предполагал?

— Нет.

— Но, извините, как же можно затевать такую крупную авантюру и даже не предполагать, куда она может привести?

Старуха открыла рот и просто вдохнула воздух, потом сказала:

— Фашисты.

И ушла.

Валерий и Анатолий пошли в свою комнату. Было неуютно. Как-то уместили чай на письменном столе. Вероника выскочила за хлебом. Надя ушла к подруге. Смеркалось.

— Слушай, — сказал вдруг Анатолий, — квартира, продукты, ну, все это пустяки. А вот если бы Веронику или, скажем, Лену пришли и забрали, мы с тобой стерпели бы?

— Мы бы надеялись, — сказал Романов, подумав.

— А если бы их пытали? Неужели бы ты не пальнул в ответ?

— Пальнул бы, наверное. Где оружие достать?

— Ну, это ерунда. У уголовников; сделать, в конце концов. Мы ведь инженеры. Мимо него на демонстрациях шли толпы народа. И никто не стрелял.

— Там, наверное, отбор был, осмотр.

— Но это же все ерунда, Валера. Если бы каждый десятый хотя бы попытался отомстить за любимого человека... Представляешь, подписываешь список из ста человек — десять покушений, гибнут министры, охранники. И ведь не трусливый был народ, выиграл войну.

— Так почему же, Толя, этого не было?

— Не знаю, — сказал шурин серьезно. — Не любили друг друга?

В конце лета, когда отец только начал вставать и ходить за хлебом и молочком, около шести вечера раздался звонок в дверь. Валерий Васильевич открыл — за дверью стояла грудастая женщина и при ней еще одна, совершенно бесцветная, никакая.

— Из райисполкома, — лаконично представилась грудастая. — Вы Романов Валерий Васильевич?

— Я...

— Вот тут по документам еще проживает ваш отец, Василий Иванович, где он сейчас?

— Дома. Папа, к тебе! — крикнул Валерий Васильевич.

Отец, кряхтя, стал подниматься, натягивать тренировочные штаны, но комиссия из райисполкома только заглянула в комнату, заспешила и ушла.

— Проверяли, — гордо сказал отец, — жив я или помер.

Вечером Лена, жена Анатолия, в телефонном разговоре подтвердила догадку отца.

— Что творят, Валера, — рассказывала она, — у одной мать умерла, а она не хоронит и не хоронит, занавесочку застегнула, не знаю уж, как там насчет запаха, а очереди дождалась, ей там немного осталось.

Она рассказывала, тут скрипнул замок, открылась входная дверь. Вошла Вероника. Она была у врача.

— Ну как? — спросил Валерий Васильевич, прикрыв трубку ладонью.

— Беременная, — кивнула она, — семь недель.

— Ты рада?

— Не знаю...

Валерий Васильевич сходил на консультацию к юристу. Тот никак его не обнадежил: если ребенок родится хотя бы на день позже того, как умрет отец, из очереди они выскочат. Юрист уточнил: тут речь идет о датах регистрации в официальных документах — смерти и прописки ребенка, то есть надо ребенка назвать и прописать. Впрочем, отец шел на поправку.

Осенью ему стало хуже. Врач сказал о нем: угасает, скоро начнутся боли. Срок определил несколько месяцев.

Романов шел по улице и плакал. Не то чтобы он очень уж любил отца, он вырос с матерью, отца прописал уже после смерти матери, но очень уж бездарно прошла жизнь отца: не выучился толком, не оставил ничего после себя, кроме идиотских, никому не нужных отчетов, ел досыта, но дрянь, не воевал, не сидел, не думал, верил в какую-то ерунду — и все это для того, чтобы упасть из троллейбуса и заболеть раком? В свете этой абсолютной бессмысленности жизнь вообще представлялась Романову более или менее бессмысленной. Сейчас ему предстояло взять себя в руки и прийти домой с какой-нибудь полуоптимистической ложью. К чести Романова, мысль о пяти метрах на человека не уместилась в его голове в этот день. Она вернулась позже, дня через четыре.

Зоя Александровна перестала здороваться с Валерием Васильевичем, но литературные вечера с Надеждой продолжались. Теперь темой для бесед стали Диккенс и Бальзак, крупномасштабники. Валерий Васильевич прохладно относился к Бальзаку и Диккенсу, в их многотомье видел полуфабрикат, считал их не гениями выработки, а недоработчиками — чем так гнать, надо было подумать, помолчать и сказать короче. «Бритва Оккама»: не надо умножать сущности. Но это к слову.

Однажды в ноябре Валерий Васильевич, придя домой с работы,

нашел свою дочь Надю на кухне. Надя плакала, слезы так и текли. У Валерия Васильевича закололо в груди — все, что он делал, показалось ему праздной, напрасной суетой: кому это нужно, если Надя плачет? Он бросился к ней, не сняв плаща, обнял, прижал ее голову к себе, как в детстве.

— Фу, — улыгнулась она сквозь слезы, — мокрый.

— Почему домой не идешь?

— Там дедушка спит.

— А почему плачешь? Что случилось? Надя!

— Да ничего особенного, — она вытерла слезы. Но Валерий Васильевич не отставал, и вот что он услышал.

Наде не понравились Бальзак с Диккенсом, они, на ее взгляд, в общем и целом ничего не поняли, слишком много внимания уделяли деньгам, вещам, а человеческие отношения возникали у них как исключение. Слишком просто выходило: ждешь, например, отцовского наследства, стало быть, желаешь отцу смерти. Все не так.

— Конечно, не так, — вставил Валерий Васильевич. — Почитай Достоевского.

А Зоя Александровна посоветовала почитать Маркса, а на закуску привела пример из жизни: вот Валерий Васильевич заботится о своем отце, а все почему? потому что отец, как затычка, держит очередь на квартиру. Та же материальная основа.

— Вот сволочь, — сказал Валерий Васильевич с душой.

И по тому, как посмотрела Надя, понял, что сказал ровно то, что должен был сказать, что вся конструкция Зои Александровны рухнула, но в то же время Валерий Васильевич подумал, что это все эмоции, а у старухи была какая-никакая логика, и решил ответить на логику логикой.

— Вот как ты думаешь, Надя, — спросил он, — я желаю смерти самой Зое Александровне?

— Конечно, нет.

— Конечно, нет. А по ее логике выходит, что должен желать. Ведь если она (не дай Бог) умрет, ее комнату отдадут нам и нам не будет нужна никакая очередь. Ведь даже мысли об этом нет. Он говорил правду, и Надя это поняла.

В декабре произошло страшное землетрясение в Армении. Люди всего мира отозвались, помогли кто чем мог. Валерий Васильевич и Вероника Андреевна отчислили (вместе со своими сослуживцами) по семь рублей, хотели послать теплые вещи, но лишних теплых вещей не нашли. В январе Валерия Васильевича вызвали в райисполком.

— Маленький сдвиг, — сказала ему все та же девица, — в Фонд пострадавших от землетрясения в Армении.

— Как? — тупо спросил Валерий Васильевич.

— Так. Ряд квартир отойдет армянам.

— Пойдите, но это же Москва, при чем тут армяне?

— Свои-то дома у них рухнули. Вот мы и идем навстречу.  
— Ну и идите, стройте сверх плана.  
— Это вы говорите об инициативе строителей. А я вам говорю об инициативе нашего отдела.

— То есть мой сдвиг в очереди — это ваша помощь армянам?  
— Это наша работа, — терпеливо объяснила девица, — мы работали в выходные дни, оформили все необходимые документы. Это наша работа. Строители строят, мы оформляем.

— Но вы отработали пару выходных, а мы будем ждать лишний год. Что же это, к черту, за почин? Надо было хотя бы нас спросить.

— Не знаю, не знаю, — сказала девица.

— Где ваше начальство?

Начальство утешило Валерия Васильевича, что сдвиг совсем небольшой и строители обяжутся наверстать.

— Где теперь дают? — спросила Вероника Андреевна, выслушав весь этот бред.

— В Мытищах.

— Валера, но ведь нам еще лет пять назад предлагали меняться на Мытищи.

— Да, — проворчал Валерий Васильевич, — кто мог знать, что теперь это будет Москвой. Может, это только армянам дают в Мытищах?

Стояли белые зимние дни, что сверху, что снизу — одно и то же. Василий Иванович почти не выходил из комнаты, как, впрочем, и Зоя Александровна. Тем более странно, что они все же встретились в коммунальном коридоре, успели наскоро обсудить нашу отечественную историю, и вот Василий Иванович вошел в комнату с выражением просветленности и неподкупности на лице, лег прямо в тренировочном в постель и укрылся одеялом. Руки его дрожали, это было заметно под одеялом. Валерий Васильевич вышел и постучался к соседке.

— Зоя Александровна, можно вас на минутку?

Они не разговаривали, поэтому стук в дверь и пустая, проходная фраза сами по себе обретали статус поступка.

— В чем дело? — пробормотала старуха, выходя. На ней был какой-то игривый халат в розовый горошек; халат отбзвался в Валерии Васильевиче мгновенной стоячей волной ненависти. Он жестко взял соседку за локоть и подвел к коммунальному телефону, стоявшему на специальной тумбочке в коридоре.

— Наберите, пожалуйста, 02, — попросил Валерий Васильевич. Зоя Александровна подчинилась. Романов взял трубку и положил ее на тумбочку. Трубка тихо и недовольно сказала «Алло».

— Вот, — так же тихо сказал Валерий Васильевич, — в присутствии сержанта я вас, Зоя Александровна, предупреждаю: если вы еще раз позволите себе дурно сказать об отце народов Иосифе Виссарионовиче Сталине, я... не знаю, что с вами сделаю. — Трубка заворчала. — Все. Можете идти.



Старуха повесила трубку и ушла. Глядя на ее узкую, согнутую спину, Валерий Васильевич подумал почему-то о тумбочке под телефоном, которую они покупали вместе с Зоей Александровной, выбирали, везли, хвастались перед гостями...

В конце января у отца начались боли. Он очень хорошо их терпел — странно, поскольку жизнь его ничему подобному не учила, не было никаких экстремалей. Время от времени приходила сестра, делала уколы. Однажды отец подозвал Валерия Васильевича и сказал:

— Валера, сколько еще осталось?

— О чем ты, папа?

— О ребенке... об очереди...

— Не больше двух месяцев, — сказал Валерий Васильевич, глядя в пол. Ему показалось неуместным валять дурака.

— Могу не выдержать, — сказал отец просто.

— Как знаешь, — ответил Валерий Васильевич. Если бы отец умер сейчас, сегодня, он не стал бы его удерживать. Не было сил.

В феврале отца увезли в больницу, Веронику Андреевну — загодя в роддом. Романов боялся, что не устроит их, но устроил достаточно легко — перестройка подействовала. Теперь они остались втроем в квартире — отдельно Валерий Васильевич с Надей, отдельно Зоя Александровна. Надя готовила еду — мог бы, конечно, и Валерий Васильевич, но Надя сама напросилась, ей это нравилось, хотя и неважно получалось.

Пятнадцатого числа Романов, войдя в свою комнату, обнаружил там Надькину шубу и портфель, самой Надьки не было. Вдруг раздались шаги в коридоре и Надин голос: «Папа! Папа!» Романов рванулся в коридор.

— В чем дело? Ну, успокойся, успокойся...

Сквозь слезы Надя рассказала, что Зое Александровне стало плохо с сердцем, а телефон не работает...

— Как не работает?! — Романов, слушая, вертел трубку, давил на рычажки — телефон не работал...

— Так выскочила бы, — сказал Романов с досадой.

— А с кем ее оставить?

— Да какая у тебя польза? — неуверенно сказал Романов, догадываясь между тем, что пользы нет, а оставлять нельзя.

Он уже был около входной двери (благо не успел раздеться), когда услышал слабый голос Зои Александровны.

— Что?! — переспросил он, догадываясь о смысле.

— Она говорит, что ты не вызовешь, — торопливо передала Надя.

— Идиотка! — ругнулся Романов и выскочил вон.

На обратном пути от автомата он снова вспомнил слабый голос

старухи и еще раз выругался: «Идиоты!» — имея в виду Маркса и Бальзака.

У Зои Александровны оказался небольшой инфаркт. Ее госпитализировали. Романов и Надя остались вдвоем.

Он ходил на работу, за продуктами, в больницу к отцу и в роддом к жене. К Зое Александровне ходила Надя. У Вероники вроде бы все пока что было в порядке, отец жил, ослабленный и успокоенный морфием, и мысль об очереди снова появилась, прошла на свое место.

Теперь Романов ежедневно говорил с отцом — это было мучительно, потому что говорить было не о чем. Развивать в спокойном разговоре отцовские взгляды — это получилась бы такая комедия, что и отец различил бы фальшь. Вспоминать детство — отец ушел, когда Валерию было меньше трех лет. Вспомнилась какая-то чушь: голубое небо, высокие дома, банты (?), крепкие отцовские руки — да и это, скорее всего, была литературщина, не были бухгалтерские руки особенно крепкими. Однажды Валерий Васильевич, поколебавшись, спросил:

— А почему ты ушел от мамы?

Отец подумал и сформулировал:

— Я обманул ее и ушел к другой женщине, а она потом обманула меня.

Что тут еще сказать?

Это был единственный живой эпизод, дальше пошла речь о спорте, но они болели за разные команды — оба за московское «Динамо», но в разные годы, так что снова ничего не получилось.

Еще они пересказывали и обсуждали телевизионные фильмы последних лет.

Надежды на выздоровление не было никакой; надежда на очередь оставалась. Валерий Васильевич сходил в загс, объяснил там ситуацию, изложил просьбу: зарегистрировать ребенка прямо в роддоме, выездная регистрация. Там подумали — и согласились, а почему бы и нет. Потом предстояло смотаться на такси к ДЭЗу и прописаться. Больница, в свою очередь, держала прямую связь с тем же ДЭЗом насчет смерти и выписки. ДЭЗ сообщал в райисполком, здесь вся цепочка уже была отлажена и действовала.

Валерий Васильевич позвонил приятелю, который жил на одной лестничной площадке с милиционером, справился насчет рации: очень удобно было бы достать рацию на пару дней и поддерживать связь между больницей и роддомом. Шурин Анатолий вызвался подежурить у сестры. Милиционер обещал помочь.

На несколько дней Надежда переехала к Толе и тете Лене. Романов забегал в пустую двухкомнатную квартиру в центре города, складывал на полу в прихожей одни сумки, хватал другие и бежал дальше. Изредка пил слабый горячий чай, чтобы не заболеть.

На работе у Романова пошла речь о свободной квартире, кому-то срочно понадобилась свободная квартира на несколько дней —

и Романов открыл было рот, но вовремя закрыл. Его квартирное положение всем было известно, его могли посчитать за проходимца.

Двадцать четвертого февраля, как раз в те короткие минуты, когда Романов был дома, раздался звонок в дверь. Романов открыл — там стоял мужчина средних лет в черной кожаной куртке и темных очках.

— Ложкин, — представился мужчина. — Центральное телевидение, информационно-показательная программа «Люк». Мы заинтересовались вашей ситуацией.

— Чем именно?

— Согласованностью сроков, — ответил Ложкин.

— Чего вы хотите?

— Сюжет нас заинтересовал. Если не возражаете, отснимем, потом — чем черт не шутит? — может, и в эфир выйдем.

— Мне кажется, — сказал Романов с достоинством, — что все это не для телевидения.

— Мне кажется, — парировал Ложкин с большим достоинством, — что об этом лучше судить специалистам.

Романов пожал плечами, повернулся и пошел в глубь квартиры. Ложкин догнал его и взял за плечо.

— Что еще?

— Морду бить не надо. Посудите лучше сами: вам придется много брать за свой счет, уйдут деньги, вы, вероятно, не богач. А у нас твердая ставка — восемь пятьдесят всем действующим лицам, включая ребенка.

Романов никогда не считал себя небогатым — он получал, сколько все. Жилищные условия у него были ниже среднего, это да. Кроме того, у Бориса Ивановича не надо было брать за свой счет, он был своим мужиком. И тут режиссер выдвинул решающий довод:

— А кроме того, Валерий Васильевич, представьте себе на минуту, что не все у вас будет гладко и легко — потом, после грядущих событий. Могут ведь, наверное, и сдвинуть в очереди, и квартиру дать не там. А тут очередной наш выпуск: а как там Валерий Романов? Как же, помним, помним... Ах, вот оно как... Гласность — страшная сила, Валерий Васильевич.

— Как ваше имя-отчество? — спросил Романов.

— Евгений Геннадьевич.

— В конце концов, Евгений Геннадьевич, весь этот вопрос касается не только и не столько меня. — Он повторил удачный оборот: — Не только и не столько.

— Вас понял, — сказал Ложкин.

Василий Иванович долго не спорил. Он только спросил:

— А как Валерий?

— Согласился, — обобщил Ложкин.

Вероника Андреевна тоже не возражала. Она поинтересовалась, не может ли телевидение помочь с квартирой. Ложкин рассмеялся, словно она пошутила изящно и легко, и несколько туманно ответил:

— Милая моя, если бы даже я стоял в очереди, я бы там стоял. Шли дни. Отцу поставили капельницу.

— Может быть, не возиться теперь с рацией? — спросил однажды Валерий Васильевич у Ложкина, который заходил время от времени в больницу. Тот энергично отказал.

— Понимаете, — пояснил Ложкин, — должна быть чистота объекта, чистота жанра. Нас как бы нет. Ну, например, с велогонкой может идти автомобиль с оператором, но он не должен брать велосипедистов на буксир.

Приятель Романова честно сказал своему соседу, что не исключена возможность телесъемки. Тот плюнул и ответил, что ему на все плевать. «Если мы не будем помогать хорошим людям, — рассудил милиционер, — зачем мы вообще тогда нужны?» Он выписал рацию на три дня по официальным каналам.

Первого марта у Вероники начались схватки. Анатолий выехал в роддом. В операционной уже устанавливали осветительную аппаратуру. В больнице — тоже. Валерий и Анатолий проверили связь по рации.

— Сколько он еще протянет? — спросил Валерий Васильевич у врача. Тот помедлил с ответом, напоказ презирая Валерия Васильевича за весь этот фарс.

— Может быть, час, может быть, два, — ответил он наконец. И тут — с неожиданной злобой, будто его прорвало: — Вы сын ему или нет? Дайте ему умереть спокойно.

У Валерия Васильевича потемнело в глазах — от ярости и недосыпания.

— А как же борьба до конца? — спросил он. — Клятва Гиппократа?

— А мне не по душе клятва Гиппократа, — ответил врач.

— Я не собираюсь оправдываться перед вами, — сказал Романов сухо. — Можете думать обо мне все что вам угодно. Как можно протянуть его жизнь еще на пару часов?

— Поговорите с ним, — сказал врач, подумав. — Только... вас предупреждали, что его нельзя нервировать, беспокоить?

— Да, — сказал Романов уже на ходу.

— Пойдите. Сейчас нужно как раз наоборот. Растормошите его, раздергайте. Он вроде как уже ушел наполовину — верните его, если сможете.

— Отец, отец, — бормотал Романов, — не уходи сейчас, потяни еще немного.

— Мотор! — скомандовал Ложкин. Горели юпитеры так, что исчезли все тени. Романов подумал, что все это не с ним происходит.

— Отец! — крикнул он. — Ты слышишь меня?

Взгляд отца из сощуренных, слезящихся от яркого света глаз зафиксировался на Романове.

— Слышу, — прошептал отец.

— Ты всю жизнь жил для счастья внуков, — Романов обращался к отцу с тем же примерно ощущением, с каким герои фантастических произведений, наверное, обращаются к разумной биомассе с чужой планеты, держа какую-то нить, линию. — Сейчас от тебя только это и требуется — жить для счастья внуков. Жить для счастья внуков, — повторил Романов еще раз, слово за словом.

Мимо него, стараясь не смотреть в объектив, просочилась медицинская сестра со шприцем.

— Сейчас, — бормотала она, — укольчик...

— Нет, — прохрипел отец. Валерий Васильевич понимал его сейчас, как никогда не понимал. Старик решил держаться, но сам, без химии. От укольчика он мог тихо помереть, выпустить штурвал.

— Не надо укола, — спокойно сказал Валерий Васильевич. Медсестра ушла.

В роддоме к Анатолию подошел патлатый паренек в вареных джинсах.

— Вы Романов? — спросил паренек.

— Да, — ответил Анатолий, не вдаваясь в детали.

— Там доктор протестует насчет телесъемки. Мне-то что, я могу и уйти.

Доктор отказался наотрез принимать роды в телетрансляции.

— Молодой человек, — сказал он, — можно кое-чего не понимать в жизни, но надо хотя бы понимать, что ты этого не понимаешь.

— Старо, — сказал шурин Анатолий, — где-то мной читано. Извините, спорить с вами не уполномочен.

Он быстро прошел к заведующей роддомом.

— Роды под водой видели по телевизору? — спросил он с порога.

— У нас нет таких условий, — моментально ответила заведующая.

— Это тоже жаль, — сказал Анатолий. — Но вопрос не в этом. Все, что можно снимать под водой, можно снимать и на суше.

— Наверное. А что, кто-то возражает?

— Ваш сотрудник.

— Ну, уговорите его. Скажите, что я не против.

— Вы знаете, — душевно сказал Анатолий, — сама постановка кажется мне неправильной. Если бы телевидение показывало только тех, кто сам не прочь показаться, сами понимаете, мы многого бы не увидели. Право на съемку — неотъемлемое право журналиста. И не надо никого упрашивать.

— Но он может отказаться оперировать.

— Так замените его. Что, нечем заменить?

— Почему нечем? — Заведующая не то чтоб опасалась, но сильно сдерживалась вблизи телевидения. — Я заменю.

— Валерий, — сказал Анатолий в рацию, — все в порядке. Такси вызвано. Представители загса на месте. Роды вот-вот начнутся. Как у тебя?

— Неважно, — ответил Валерий, — отец умирает.

Отец страшно дышал, затрудненно, жутко. Валерий поддерживал его голову руками.

— Еще час, — быстро говорил он. — Еще час!

Медсестра посмотрела на старика, потом на Валерия Васильевича, потом покачала головой. Ложкин бесшумно сновал между двумя операторами, чуть подправляя кадры.

Отец застонал, сперва тихо, потом сильнее, громче.

— НЕ СНИМАТЬ! — заорал Романов.

Один из операторов перестал снимать. Ложкин сильно ударил его по руке — но он перестал. Второй снимал, поглядывая на Ложкина.

— Отец! Папа! Послушай меня один раз! — Романов слегка тряс старика, тот, словно удивившись, перестал стонать и посмотрел вполне осмысленно.

— Слушай: все, во что ты верил, все расплозлось, как слизь, как гной... Твой Сталин — простой подонок. Твой коммунизм никто давно уже не строит. Над такими, как ты, смеются зверушки в мультфильмах. У тебя есть только одно — выжить. Выжить сейчас, еще немного. Ты понял меня?

Отец прикрыл глаза на секунду: «Да».

— Будешь жить?

«Да».

Тут заговорил Анатолий в рации: «Валерий, ребенок родился, все на месте, мальчик. Зовут Евгений. Я уже в такси, едем в ДЭЗ. Скажи отцу: осталось не больше десяти минут. Скажи телегруппе, пусть включают монитор. Отбой».

«Десять минут, — усвоил Валерий Васильевич. — Десять минут. Что еще?»

Мимо него прошла медсестра — та, что была со шприцем, но без шприца, взяла старика за запястье.

— Пульса нет, — сказала она через голову Валерия Васильевича.

— Адреналин, — сказал Валерий Васильевич.

— Зря стараетесь, Валерий Васильевич, — ответил доктор из-за спины. — На данный момент он мертв. Я звоню в райисполком. Если даже он воскреснет, в очереди вас уже не восстановят. Ку-ку.

— Перережь телефонный провод, — спокойно сказал Ложкин свободному оператору. — Погуляйте пока, Валерий Васильевич, я все улажу.

Валерий Васильевич встал, с трудом разогнув затекшие колени, отступил от слепящего света. Проекторы были укреплены на многозвенных металлических перекрытиях, уходящих вверх, в темноту. Собственно палаты не было, было пространство, пяточок, залитый светом. Валерий Васильевич отошел метров на пятьдесят, видимо, в соседний павильон, поискал, на что можно присесть.

— Не подскажите, на что можно тут присесть? — обратился он к группе людей, еле заметных в полумраке, но те не ответили: стало очевидно, что они не то что плохо заметны, а такие и есть — абрисы, тени. Валерию Васильевичу как чертежнику это было хорошо знакомо.

— Дубль второй! — орал в световом пятне Ложкин. Отец поднялся на локти, кто-то начал белить ему щеки.

«Отец жив», — подумал Романов.

«Это не отец», — подумал он потом.

Условности... Его, оказывается, так занимали условности. Он нашел удобную планку среди перекрытий, сел на нее, как васнецовская Аленушка, подпер голову рукой и задремал — но тут же встрепенулся: нельзя было дремать.

— Валера, — терпеливо обращался к нему по рации Анатолий, — как связь?

— Нормально, — ответил Романов.

— Включи монитор.

— Включите монитор, — сказал Романов.

— Включи, — хмуро одобрил Ложкин.

На цветном экране появился красный ребенок на чьих-то ладонях, без звука.

— Смотри, отец, — сказал Валерий, — это твой внук. Все на месте. Евгений.

Оформив Евгения в ДЭЗе, дав полный отбой, Анатолий вернулся в роддом. Он решил пока не говорить Валерию о сложностях, о щипцах, о том, что въедливые работники загса не удовлетворились мнением Анатолия об имени ребенка, пришлось тормозить Веронику. Все это мелочи, главное — они выиграли. Сегодня выиграли.

В коридоре Анатолий остановил нянечку.

— Я вас удивлю, — сказал он. — Сейчас у меня родился племянник, Евгений Романов, так вот, он мне нужен живым и здоровым. Вот вам пятерка, скажите, если мало, не стесняйтесь.

— Все сделаем, — сурово ответила нянечка, отодвигая пятерку. — У нас за всеми уход.

— Здесь есть телегруппа, — сказал Анатолий. — Ей все это расскажете. А я сам роддомовский. Возьмите, прошу вас.

Он шел дальше по коридору, не зная точно, куда — операция кончилась, миссия его, в общем, тоже. К нему подскочила девочка-журналистка из телегруппы.

— Один только вопрос, — зачирикала она. — Евгений — не в честь деда?

— Нет, — ответил Анатолий. — Деда зовут Василием. Евгений — в честь нашего замечательного режиссера Ложкина.

— Я серьезно, — обиделась девочка.

— Серьезно? Мы ведь не знали, кто родится — мальчик или девочка. Евгений — удобное имя, там осталось только пару закорючек поставить, и все. Хотите, свяжемся со счастливым отцом?

— Конечно.

— Валера, как у тебя там?

— Папа умер. А так все по-старому.

Когда Вероника выписывалась из роддома, ее встречали Анатолий и Надя. Было 6 марта 1989 года, понедельник, ясный голубоватый день.

— А где Валера? — спросила Вероника, передавая брату кулек с Женечкой и принимая цветы.

— Сейчас будет. Его вызвали в райисполком.

И действительно, Валерий подкатил буквально через пять минут, с цветами, все влезли в такси и поехали к Романовым.

— Ну как там, Валера? — спросила Вероника. — Не выкинули нас?

— Нет, — беспечно ответил Валерий, легко поворачиваясь с переднего сиденья. — Так, сдвинули чуть-чуть.

— А они нас в ящике видели?

— Так не было нас еще. Ложкин обещал к концу месяца пустить, сказал: так смонтирую, что полгорода сдохнет.

Они посмеялись — забавный он, Ложкин.

— Сдвинули, Валера, — вспомнила Вероника. — А в честь кого?

— Пустили ветеранов лагерей.

— Это святое дело, — сказал Анатолий.

— Конечно, — подтвердил Валерий, — смешно другое. Я, когда услышал о сдвиге, настроился крупно возражать. А тут — ветераны лагерей, вроде и сказать нечего. Но я нашелся, говорю: когда будете пускать без очереди ветеранов охраны, учтите, я буду против.

Все с готовностью засмеялись, но Валерий вскинул ладонь — не всё.

— А она отвечает: опоздали, товарищ Романов, они еще год назад вне очереди пошли, в числе ветеранов тыла.

Тут уж грохнули так грохнули. Анатолий, правда, сказал: «Вот суки», — но тоже сквозь смех и даже с некоторым уважением.

— А где дают, Валера? Не спросил?

— В Солнцева, — гордо ответил Романов.

— Как в Солнцева? — переспросила Вероника. — Это ведь не дальше Мытищ.

— Ближе, — сказал Романов с достоинством.

— Мама, — встряла Надежда, — я слышала, сейчас вообще такая тенденция — застраивать старые районы.

— Так лет через шесть в Кремле будете жить, — незамысловато пошутил Анатолий, и снова все засмеялись.

А Валерий, обернувшись, свесив локоть, пристально смотрел на сверток. Там лежал его сын, рожденный для счастливой жизни.



*Литературно-публицистическое  
издание*

**АЛЬМАНАХ «АПРЕЛЬ»**

Выпуск второй

Редактор *Е. Б. Аузан*

Оформление художника *А. Ю. Литвиненко*

Художественный редактор *Н. Д. Смольникова*

Технический редактор *Т. С. Орешкова*

Корректор *А. В. Федина*

н/к

Сдано в набор 04.01.90. Подписано в печать 15.06.90.  
А-13380. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офс. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,0. Усл. кр.-отт. 19,25. Уч.-изд. л. 24,77. Тираж 100 000 экз. Заказ № 767. Цена 4 руб. Изд. № 2.

Советско-британское издательство «Интер—Версо»  
107078, Москва, Садовая-Спаская, 20.

Издательство «Международные отношения»  
107078, Москва, Садовая-Спаская, 20

Ярославский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР.  
150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.